

Ю  
ЮРИЙ КОРНЕЦ 2 Избранное



# ЮРИЙ КОРИНЕЦ



*Избранное*

—••• в двух томах •••—

*том*

**2**

*Москва*

*«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»*

*1982*

P2  
K66

Художник  
Б. Чупрыгин

К 4803010102—363 542—82  
М101(03)82

© Состав. Оформление.  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1982 г



# *ПРИВЕТ ОТ ВЕРНЕРА*

*Роман*







*Светлой памяти родителей  
посвящаю*

## **ПРОЛОГ В НЕСКОЛЬКИХ СЛОВАХ**

**О ЧЕМ ЭТА КНИГА:** о первом детстве, первой любви и дружбе.

**ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:** я сам, мои родители — русские коммунисты; девочка Гизи, ее родители — немецкие коммунисты; мой друг Вовка, его отец и мачеха, Памятник Воровскому,

овчарка Дик, русские белогвардейцы, сердитый немецкий Дед-Мороз, другие взрослые, дети, собаки и лошади.

**ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ:** двадцатые годы нашего века, то есть много лет тому назад, с экскурсом в сегодняшний день.

**МЕСТО ДЕЙСТВИЯ:** Москва и Берлин.

## В ТУМАНЕ

**В**ы когда-нибудь видели город в тумане? Это очень красиво! Хотя не все видно. Один дом, например, видно, а другие нет. Или ты идешь в тумане по дороге. Где-нибудь в деревне. И вдруг из тумана выезжает лошадь, запряженная в телегу. И ты видишь только лошадь и на ней дугу, оглобли и сбрую, а телегу и седока не видишь. Потому что они в тумане... Вот такая вещь — туман! Он все старается спрятать. Особенно прошлое. Меня, например, когда я был маленьким. И все же я себя вижу. Вижу смутно, как в тумане. Я смутно вижу пеструю Москву и серебристый Берлин такими, какими они были в то далекое время. И немецкого Деда-Мороза с розгами в руке. И наш Памятник Воровскому.

Еще в этом тумане плавают разноцветные мыльные пузыри. Они тихо, беззвучно лопаются и опадают каплями белой пены...

Это книга о первом детстве. Потому что у человека есть и второе детство, и третье — там все четче, там глубже тень и ярче свет. А первое детство — это раннее утро, когда человек входит в мир еще робкими шагами.

Обо всем я буду рассказывать словами того, далекого мальчика, которым я когда-то был. А иногда в рассказ буду вмешиваться я-сегодняшний. Особенно там, где я что-нибудь плохо помню. И там, где будут экскурсии в будущее, то есть в сегодняшний день. Тем более, что я-прошлый и я-сегодняшний — это, в сущности, одно и то же... Итак, слушайте!

## НАШ ДОМ

**Н**аш дом высокий — шесть этажей! Вы смеетесь? Вы говорите, что это совсем невысоко? Нечего вам смеяться! Я же описываю свое первое детство, которое было очень давно. Сейчас наш дом, конечно, кажется невысоким, потому что сейчас есть дома и в сто этажей. А когда я был маленьким, наш дом считался очень высоким.

В далеком детстве что-то странное происходит с размерами. Давно когда-то покинул я этот дом на Кузнецком мосту — дом, в котором родился. Но я часто вспоминал о нем, и в воспоминаниях он всегда казался мне очень большим, просто огромным. Много лет вспоминал я этот дом и все не мог на него взглянуть, потому что юность моя протекала в дальних краях. И когда я наконец вернулся в Москву и снова увидел этот дом, он показался мне странно маленьким! Он вдруг словно съезжился. Он стал намного меньше, чем тот, который возвышался в моих воспоминаниях, намного меньше, чем тот, *который стоял в детстве!* Но дом-то один и тот же! Никто его не отрезал, как можно отрезать пирог. Вот в этом смысле я и говорю, что с размерами в этом первом детстве происходят странные вещи: эти размеры со временем в памяти как бы растягиваются! Становятся больше. Не потому ли так происходит, что сами мы растем и растет все вокруг? И детство как бы растет вместе с нами? Или потому, что мы видим свое детство в тумане, а в тумане все расстояния и размеры увеличиваются? Не знаю! Знаю только, что там, в тумане детства, наш дом стоит очень высокий!

Он стоит, как буква «П» с крылышками внизу, вот так: П — видите? Кружочек в середине двора — это Памятник Воровскому. А точкой в углу я отметил наше окно. Оно самое верхнее, в углу под крышей. Там у нас одна комната в коммунальной



квартире. Нас в комнате трое: отец, мама и я. А в других комнатах вокруг живут соседи.

Но это все не столь интересно. Интереснее, что наш дом называется дом Наркоминдела. Все наши жильцы работают в Наркоминделе. Взрослые, конечно. А дети не работают. Дети играют. Дома и во дворе. И ходят в школу. Но они тоже наркоминдельцы. И Памятник Воровскому наркоминделец. Потому он здесь и стоит.

Вы спрашиваете, что такое Наркоминдел? Это Народный Комиссариат иностранных дел. Мы все занимаемся иностранными делами. Разными странами. И ездим за границу. Я тоже поеду за границу — когда-нибудь! Но и это не самое интересное. Самое интересное то, что наш дом — интернациональный! Вот какое слово я вам сказал! Значительное слово! Интернациональный дом — это значит дом, в котором живут люди разных национальностей. Ведь бывает, что в доме живут одни только русские. Или только англичане — где-нибудь в Лондоне. А бывает, что в доме живут сразу и русские, и евреи, и немцы, и татары, и латыши. Такой дом и называют интернациональным. Дом моего детства именно такой дом.

## ПАМЯТНИК ВОРОВСКОМУ

Сейчас, когда мне уже много лет, я сижу и смотрю в свое прошлое — в разноцветный туман. Он очень, очень густой, и разглядеть в нем что-нибудь трудно. Я долго смотрю. Наконец туман рассеивается, я вижу наш дом и двор. Зимнее утро.

Мы одни во дворе: я и Памятник Воровскому. Он всегда здесь стоит и никуда не уходит. Потому что он каменный. Это он раньше ходил, когда был человеком. А потом его убили враги. И тогда он стал Памятником и поселился у нас во дворе.

Это очень хорошо, когда во дворе живет Памятник! С ним вы никогда не потеряетесь. Мама сказала, что можно уйти в город и там потеряться. И тогда к вам подойдет милиционер и спросит: «Мальчик, ты где живешь?» И вы ответите: «Я живу у Памятника Воровскому». И все сразу становится ясным. А без Памятника надо называть улицу и номер дома... Улиц, домов, номеров страшно много, в них можно запутаться. А Памятник Воровскому один. Потому так удобно жить рядом с ним.

Я смотрю на него, задрав голову. А он смотрит на меня сверху вниз. Ночью выпало много снега, и Памятник Воровскому стоит весь белый. Ему холодно, он легко одет — в пиджаке и брюках, без шапки. У него такой вид, как будто он хочет куда-то уйти. Но он не может уйти. Он — Памятник.

А еще ему надоели птицы — воробьи и голуби. Они облепили его со всех сторон и сидят нахохлившись. Если бы Памятник мог схватить какую-нибудь птицу за хвост! Или хотя бы двинуть плечом. Но памятники не шевелятся, в том-то и беда! Потому он такой грустный.

— Эй вы, воробьишки! — кричу я. — Слезайте оттуда! Что вам, карнизов не хватает? Хулиганы какие!

Но птицы не обращают на меня никакого внимания. А может, они просто спят, запорошенные снегом.

Я бегаю и прыгаю вокруг Памятника, размахивая шапкой, и вдруг вижу во дворе какую-то девочку. Я не заметил, как она появилась. Раньше я ее никогда не видел. Интересная девочка. Тоненькая такая, как цветок колокольчик! Только одета она странно. Я-то одет не странно: я в валенках, шубе и шапке-ушанке. А на девочке желтое кожаное пальтишко, желтая шапочка с помпонами и высокие желтые ботинки, зашнурованные до колен. Я никогда не видел таких ботинок!

Девочка смотрит на меня очень внимательно. Ну и пусть! Некогда мне ею заниматься.

Я опять кричу на птиц. Жаль, что все камни под снегом. Я беру дворниковскую лопату в углу двора и разгребаю снег: развиваю бурную деятельность. Я всегда развиваю бурную деятель-

ность, так мама говорит. А девочка все стоит и смотрит. Наконец -- ура! — я нахожу несколько обломанных кирпичей. Сейчас мы им покажем, этим птицам!

Я размахиваюсь и кидаю камень. Но он летит мимо. Я опять кидаю. И опять мимо. И девочка все это видит. Тогда я хорошенько прицеливаюсь в одного жирного голубя и опять швыряю... и попадаю прямо в этого голубя! Голубь кувыркнулся и полетел. За ним все птицы. Они взвиваются прямо тучей. И тут кто-то хватает меня за воротник...

Это дворник Ахмет в белом переднике с бляхой. Наш дворник очень высокий, здоровый.

— Ах как плохо! — качает головой Ахмет; у него черные глаза и острые скулы. — Такой хороший мальчик, а хулиганишь! Зачем? Где мама?

— Мама дома, — отвечаю я. — Я не хулиганю. Это птицы хулиганят. Я их гоню...

— Ай-ай, нехорошо! — говорит Ахмет. — Аллах все видит! Все видит аллах! Он меня послал... идем к маме...

Он берет меня за руку и ведет в парадное. Все это, конечно, очень неприятно. Тем более, что я не виноват. Памятник-то это понимает. А дворник не понимает. И аллах не понимает...

Я еще раз оглядываюсь: птиц на Памятнике нет. Победа все-таки!

И тут я вижу, что *та девочка* показывает мне язык... длинный, острый, красный язык!

## ЯБЛОКИ НА ГОЛОВЕ

**К**огда дворник Ахмет привел меня к маме, она сказала:

— Спасибо вам. Я с Юрой поговорю.

И дворник ушел. Он, конечно, подумал, что мама будет меня

ругать. Или даже бить. Ничего подобного! Меня вообще никогда не бьют. И не ругают. Со мной *разговаривают*. И мама со мной поговорила. Она сказала, что не надо сшибать птиц с Памятника. Никто не поймет моих добрых намерений. Потому что со стороны это выглядит некрасиво.

А вообще-то мама со мной согласилась, что это плохо, когда на Памятнике птицы сидят. Отучить бы их от этого. Но как? Вот в чем вопрос!

Потом мы с мамой идем на Кузнецкий мост. На самом деле это вовсе не мост и никаких кузнецов там нет. Это наша улица. Мама сказала, что кузнецы жили здесь когда-то очень давно. Наша улица горбатая. Она спускается глубоко вниз, туда, где когда-то действительно был мост через речку Неглинку. Сейчас вместо реки тоже улица — улица Неглинка, и моста давным-давно нет. Никто даже не помнит, когда он был. А река течет в трубе под Москвой. Теперь вы понимаете, почему наша улица называется Кузнецкий мост?

Я бы мог прокатиться по всему Кузнецкому на санках или самокате до самой Неглинки! Но мама сказала, что это опасно. Я могу попасть под лошадь или сшибить прохожего. Поэтому я просто иду с мамой вниз пешком. У меня там одно важное дело: я должен получить подарок. Дело в том, что у меня есть один друг, продавец Ваня. Мы покупаем у него яблоки. Он их носит на голове. Как? Очень просто!

У Вани есть такой матерчатый бублик: он скручен из разных тряпок, а сверху обшит ситцем — синим в белый горошек... Этот бублик Ваня кладет себе на голову. А на бублик ставится деревянный лоток. С яблоками, например. Или не с яблоками. В общем, с любой поклажей. И так ее носят на голове, и поклажа не падает. Это очень удобно — так носить поклажу, потому что руки остаются свободными. Если встретишь знакомого, можно с ним за руку поздороваться. А то как бы вы поздоровались, если руки заняты? Пришлось бы сначала ставить груз на землю, а потом уже здороваться. А это очень неудобно. А так, с грузом на голове, удобно...

Так что мы идем с мамой вниз по Кузнецкому к определенной цели — к моему продавцу Ване. Без цели я не люблю гулять. А если идешь к цели, то гулять интересно. Особенно с мамой: идешь и беседуешь! С мамой беседовать хорошо, потому что на всякий вопрос она знает ответ. Вот я ее и спрашиваю:

— Почему аллах все видит?

— Откуда ты взял? — удивляется мама. — Кто тебе это сказал?

— Ахмет, — говорю я. — Аллах подглядел, как я гоняю птиц, и сказал Ахмету... а он пожаловался тебе!

Мама смеется:

— Ох и хитрый этот Ахмет! Ничего не видел аллах! Его и нет вовсе! Дворник все это выдумал.

— Почему?

— Чтобы ты не шалил.

— А кто — аллах?

— Аллах — это бог. Но его нет.

«Какой хитрый этот дворник! — думаю я. — И странно: почему есть аллах, когда его нет? Почему у него тогда имя? Почему?»

Я иду и думаю, а вокруг так красиво. Падает пушистый снег, и тепло. Народу много. И лошадей. И саней. Все это едет и ходит вверх и вниз, туда и сюда. И магазинов много. И торговцев — прямо на улице. У нас очень веселая улица!

— А у нас во дворе какая-то новая девочка появилась, — говорю я маме. — Кто она?

— Немка, — говорит мама. — Она со своей мамой приехала из Германии. И будет жить у нас.

— В нашем доме?

— В нашем доме. Даже в нашей квартире.

— А почему она немка?

— Потому что у нее такая национальность. Вот ты, например, русский. У тебя русская национальность. Дворник Ахмет — татарин. А наш сосед Зусман — еврей. Все это люди разных национальностей. На земле много разных национальностей.

— А как зовут эту... немку?  
 — Ее зовут Гизи...  
 — Она показала мне язык!  
 — Это плохо,— говорит мама.— Наверное, ты ее обидел?  
 — Я с ней даже не разговаривал!  
 — Это недоразумение,— говорит мама.— Подожди, скоро ты с ней познакомишься.

Я иду и думаю: «Почему эта Гизи немка, а я русский? И почему дворник — татарин? Почему? Странно все-таки! И почему мы все не одной национальности?»

— А вон твой Ваня! — говорит вдруг мама.

Я вижу вдали продавца Ваню. Он несет на голове яблоки. Они высоко плывут над толпой — красные, веселые яблоки. Целая гора! Они так хорошо уложены на лотке, что ни одно не падает, хотя Ваня идет быстро. Он идет и размахивает руками. Не пустыми руками! Вот у него что-то в правой руке — это лоток! Маленький, гладко оструганный лоток из желтого свежего дерева. Это лоток для меня! А в левой руке синий матерчатый бублик... Тоже для меня!

— Доброго здоровьица! — говорит Ваня.— А я шел к вам... Вот тебе, Юра, лоток...

Я беру лоток и бублик, задыхаясь от счастья. Я шепчу «спасибо» и смотрю на Ваню... но ничего не вижу — опять в памяти туман. Я только помню, что от Вани пахнет яблоками... сеном... и дегтем...

## ПРОИСШЕСТВИЕ НА КУХНЕ

**В**ы видите, вон там, далеко-далеко в тумане, стоит маленький мальчик с яблоками на голове? Маленький кудрявый мальчик, похожий на девочку. Он стоит в коротких штанах до колен, в красном свитере, с синим

бубликом на голове, на котором лежит лоток с яблоками, — видите? Этот мальчик — я.

Я стою в темном коридоре нашей квартиры. Коридор у нас изогнутый — буквой «Г». В одном конце коридора парадная дверь, а в другом — кухня, и из кухни еще одна дверь — так называемый «черный ход». В середине этой буквы «Г», в углу, — наша комната, а направо и налево комнаты соседей. Я стою и думаю: куда мне сначала пойти продавать свои яблоки? Я их, конечно, продаю понарошку. Просто я так играю. Я продаю не на деньги, а на фантики. Фантики — это бумажки из-под конфет. Это большая ценность — фантики! В них можно играть. А сейчас я играю в продавца.

К кому же мне пойти? Можно к Усам. Это такой человек — Усы. Его так зовут, потому что у него пушистые усы. Он мой друг. И его собака-овчарка — мой друг. Ее зовут Дик.

А еще можно пойти к рыжему Вовке. Вовка тоже мой друг. Он очень передовой человек — Вовка, он пионер и ходит в пятый класс. И здорово рисует. Как настоящий художник. Фамилия его Зусман, и его отец, портной, тоже Зусман. А Вовкина мать не Зусман — она Жарикова. Странно, правда? Но это вовсе не странно, потому что Вовкина мать не настоящая мать — она мачеха. Настоящая Вовкина мать умерла давно, а это новая мать, то есть мачеха! О, она очень строгая! Она курит. Но строгая она не потому, что курит, а вообще. Даже мужа своего, Вовкиного отца, она называет по фамилии: Зусман. Хотя у него тоже есть имя и отчество, как у всех людей. А Вовку она то и дело называет «товарищ пионер». Эту Жарикову я боюсь. Ее все боятся. Все называют ее за глаза Жарикова, а в глаза Анна Пална.

А еще можно пойти к Ляпкиным. Этих Ляпкиных трое: Сама Ляпкина, Большой Ляпкин и Маленький Ляпкин. Вовка иногда зовет их Ляпкины-Сопелкины, потому что они все толстые и сопят.

Но нет, лучше я пойду на кухню! Там я сразу могу убить много зайцев... Вы знаете, что значит убить много зайцев? Никаких зайцев на кухне нет, и вовсе я не хочу их там убить. Я хочу

увидеть на кухне жильцов. Там иногда можно увидеть сразу всех жильцов. Или почти всех. Я бы мог своим лотком на голове поразить сразу почти всех! Вот это и значит: убить много зайцев. Это так говорится.

Из кухни раздается сильный шум: гудение примусов, бульканье воды, звяканье посуды. Значит, там кто-то есть! И я иду на кухню...

Все вы знаете, как сейчас выглядит кухня: белая газовая плита в одном углу, белая раковина и мусоропровод в другом, белый буфет в середине. Это одна стена. Белый холодильник в третьем углу, стиральная машина в четвертом, в середине стол — это вторая стена. Третья стена — окно во всю стену. В четвертой стене дверь в коридор. Ну, еще несколько стульев на разноцветном полу. Вот и вся кухня. Чисто и красиво. И тихо. Но это так сейчас, а раньше было совсем по-другому.

Представьте-ка себе, что сразу включены десять приемников, которые не музыку передают, а рев и гудение. Это будет очень неприятный шум! Но происходит он вовсе не от приемников, а от *примусов*. Примусы — это, конечно, не приемники. Они ничего не принимают и не передают. Они варят. Газовая плита варит тихо и скромно. А примус не отличался скромностью. Он очень громко шумел, он коптил — кастрюли от него становились черными. Но больше варить было не на чем. Разве что на керосинке, но она тоже коптила. И всем дышала в лицо своим керосином. Примус и керосинка были тогда в почете, потому что деваться от них просто некуда было.

Если поставить рядом десять таких примусов, представляете, какое будет сумасшествие? Вы спросите: почему десять? Потому что раньше в одной квартире жило очень много народу — по десять семей! Раньше, в моем детстве, каждая семья жила в одной комнате, а иногда и две семьи в одной комнате. Каждая семья имела один, а то и два примуса, и все эти примусы стояли в общей кухне на маленьких колченогих столиках вдоль стен. И ревели.

Сейчас мы не представляем себе кухни без белого цвета.



А раньше в кухне не было ничего белого. Разве что тарелки да чашки. А так все было темным. И цвета были всегда какие-то неприятные, насколько я помню. Грязно-зеленые стены, серый потолок, коричневый пол. Так уж водилось в моем детстве, сам не знаю почему. Сейчас любят яркие краски, а раньше почему-то любили тусклые. И все это освещалось голой пыльной лампочкой под потолком. Вы спрашиваете: почему голой? Потому что на кухнях обычно не было абажуров. Кухня была общая, и никому не хотелось ею особенно заниматься. Но это еще не все.

Вместо стульев стояли табуретки, на этих табуретках сидели и даже готовили. Потому что иногда негде было поставить стол.

И стирали тоже на табуретках — в корыте. А белье кипятили на примусах. Представляете себе: орут примусы, над бельем вздымаются клубы пара, тут же кипят борщи и шипят котлеты... Вот какой неуютной была коммунальная кухня! Сумасшедший дом какой-то! В этом сумасшедшем доме, конечно, не было никаких холодильников. Продукты хранили зимой за окном на веревочках, а летом вообще не хранили. Да и нечего было порой хранить... Такая была жизнь. Но относились все к этой жизни довольно спокойно, потому что другой жизни себе просто не мыслили. А если и мыслили, то только еще худшую: голод. Все еще помнили этот голод, разруху, гражданскую войну — все было свежо в памяти. Особенно у взрослых.

Вот в такую кухню я шел по коридору... много лет назад, с лотком яблок на голове.

Войдя в кухню, я увидел там сразу двух зайцев, то есть, простите, двух жильцов. Этих двух зайцев, вернее зайчих, я своим видом не убил. Скорее, они меня убили. В худшее общество я попасть просто не мог! Угадайте-ка, кто там был? Никак не угадаете! Там была Гизи со своей мамой. Я сразу растерялся и прирос к месту. Почему я не мог попасть в худшее общество, спрашиваете вы? Вы, наверное, думаете, что Гизина мама плохая? Не угадали! Вовсе я не хочу сказать, что Гизина мама плохая. Может быть, вы думаете: потому это худшее общество, что Гизи показала мне у Памятника язык? Вы думаете, мне не нравится

Гизи? И вовсе не поэтому! Чепуха это — язык! Я сам не раз показывал язык! Не в этом дело. Ну, так и быть, я вам скажу, в чем дело, — по секрету скажу! Теперь-то можно сказать, после стольких лет, да и то под секретом, а *тогда* этого нельзя было сказать даже под секретом. Дело в том, что Гизи мне *нравится*... ну вот, вот я вам и сказал. Ну, так что же? — скажете вы. Почему она тогда «худшее общество»? Потому что, если бы *она* мне не нравилась, было бы куда легче! Тогда бы я ее не стеснялся. Вот Ляпкин Маленький мне совсем не нравится, но я его и не стесняюсь. А Гизи я стесняюсь. Именно потому, что она мне нравится. Когда я вижу Гизи, я сразу становлюсь неловким. Мне тогда все мешает, даже мои собственные руки! И ноги мне мешают, и голова! Я сам себе мешаю. А она мне не мешает. Нисколько! Даже наоборот: мне хочется с ней играть, но я не знаю, как начать. Я ничего не имею против, что она будет рядом — пожалуйста! Пусть всегда будет рядом, всю жизнь! Не в этом дело. Все дело в том, как быть рядом с ней мне! Вот что сложно! Уже прошло несколько дней, как они с мамой приехали и поселились в нашей квартире, а я все никак не мог с ней познакомиться! Потому-то я сразу и прирос к месту, когда увидел ее на кухне.

Гизина мама стирала в большом корыте, а Гизи ей помогала. Девочки любят стирать, вы же знаете. По всей кухне стоял пар, три примуса рыдали во все свои медные огненные глотки, на них кипело белье и грелась вода в больших цинковых баках, потому что в те годы не было горячей воды, только холодная, и Гизи наливала эту холодную воду из крана в кастрюльку, а потом в корыто, а Гизина мама, вся красная, со слипшейся на лбу прядью волос, с засученными на красных руках рукавами, в переднике, терла в корыте белье.

Когда я вошел, Гизина мама кивнула мне, улыбнувшись. А Гизи не кивнула, хотя она меня тоже видела, не могла не видеть, как я стоял со своими яблоками на голове. Гизи тоже была в переднике с белым бантом в черных волосах; волосы у Гизи гладкие, как воронье крыло. Глаза черные, большие. А щеки

бледные, с розовым румянцем. Когда она улыбается, у нее на щеках появляются ямочки. Но сейчас она не улыбалась. Она ходила по кухне с маленькой кастрюлькой в руках — от умывальника к корыту и обратно. Наливала маме воду. Она высоко поднимала свой прямой аккуратный носик и ходила на цыпочках. Как будто она не стирала, а танцевала.

Вы замечали, как двигаются девочки? Особенно стройные девочки, тоненькие? Они двигаются совсем не так, как мальчишки. Мы с вами — я имею в виду мальчишек и мужчин — ходим просто, не думая о том, *как* мы ходим. А девочки думают. И женщины тоже. Вот вы на улице к ним приглядитесь. Они все время ходят так, как будто смотрят на себя со стороны. Как будто в зеркало смотрят на себя, в то время когда ходят. И голову они держат так, как будто смотрятся в зеркало. Хотя никакого зеркала перед ними нет. Конечно, не все они так ходят. Некоторые ходят просто, как мы, а некоторые даже очень обычно переваливаются с ноги на ногу, как утки. Или катят себе, как танк. Но эти девочки неинтересные. На них и смотреть не стоит. А на интересных всегда стоит смотреть — как они ходят, как двигаются, как что-нибудь пальцами берут. У них тогда такой вид, как будто они страшно воображают, хотя на самом деле они и не воображают. Просто они так двигаются, и все тут. Они очень музыкально двигаются, как будто под музыку, под песню какую-нибудь. У них все поет, в их движениях, — поворот головы, руки, ноги... Вы не замечали? Я замечал! Я еще давно это замечал, еще много лет назад, и особенно я это замечал на Гизи.

Почему это так, как вы думаете? Да потому, что девочки *совсем другие существа!* Совсем-совсем другие, нежели мы с вами! В девочках есть тайна! Это я вам точно говорю. Эта тайна нам и нравится. Многие писатели думали над этой тайной, многие-многие люди, не то что я один, — все человечество над этим думает уже тысячи лет, и всегда будет думать, и никогда не разгадает! Может быть, конечно, и разгадает, но я просто себе не представляю, как оно это разгадает! А потом вот что: если человечество эту тайну разгадает, сразу станет хуже. Пропадет

весь интерес этой загадки. Волнение пропадет. Вот мы всегда хотим все узнать, разгадать все тайны, а ведь мы никогда не думаем над тем, что тайна — ведь это тоже хорошо! Есть такие тайны, которые всегда хочется разгадать, но никогда не хочется, чтобы они разгадались! Пусть эти тайны будут всю жизнь! Я стоял на пороге в кухню и смотрел на Гизи, как она пританцовывала с кастрюлькой в руках, а мысли вихрем проносились в моей голове.

И тут Гизина мама сказала:

— Na, Jura, was ist denn? (Это значит: «Ну, Юра, в чем дело?»)

Она это по-немецки сказала, но я все понял, потому что хорошо знал немецкий: я с мамой дома занимался и уже хорошо говорил. Не хуже, чем по-русски.

Гизина мама перестала стирать и смотрела на меня с улыбкой, имея в виду яблоки на моей голове.

А я сделал шаг вперед, чтобы красиво пройти по кухне со своим лотком, и сказал:

— Ich verkaufe Apfel! (Это значит: «Я продаю яблоки!»)

И тут вдруг случилось самое страшное: я поскользнулся на мыльном пятне, потерял равновесие, лоток качнулся, полетел на пол с грохотом, и яблоки рассыпались по кухне! Они весело катились в разные стороны по забрызганным мыльной водой коричневым доскам — веселые розовые яблоки!

А мне было невесело! Очень невесело мне было! Позор!

Гизи, не глядя на меня, что-то фыркнула себе под нос. Я нагнулся, чтобы поднять лоток, и почувствовал, как уши у меня становятся горячими, вся голова становится горячей, — почувствовал, что краснею.

Гизина мама что-то сказала, но я не расслышал, потому что окончательно смутился; я расслышал только слова «Schnell! Schnell!» (что значит: «Быстро! Быстро!»), и Гизи быстро кинулась подбирать яблоки. Она это делала серьезно, безо всякой улыбки, даже немножко сердито, поднимая вверх аккуратный носик, прыгая по забрызганной кухне и беря яблоки двумя паль-

цами — большим и указательным, а остальные пальцы она отставляла в сторону, как будто боялась испачкаться об мои яблоки, хотя у нее-то руки как раз и были в мыльной пене! А может, она не хотела испачкать пеной мои яблоки?

Я сгорал от стыда! Я хотел их поразить, как я ловко хожу с лотком на голове, а на деле поразил совсем другим — своей неуклюжестью! Весь красный, ползал я по полу, собирая свои несчастные яблоки. А тут еще вот чего не хватало: доставая яблоко из-под стола, я столкнулся с Гизи — головой об ее голову! Ее волосы зашекотали мне нос, и я чуть не засмеялся, хотя мне вовсе не хотелось смеяться. Я схватил свой лоток с яблоками и побежал назад в темный коридор.

Пробежав по коридору, я остановился, прислонившись спиной к стене, с лотком яблок в руках, и так стоял один в темном коридоре, вспоминая, как мы стукнулись с Гизи головами, и вдруг я услышал из-за двери, возле которой стоял, звон гитары и песню — женский голос:

Увяли грезы,  
И плачут розы,  
На сердце грустно  
И пустота...

Это пела Ляпкина! Сама Ляпкина в своей комнате пела романс.

## ЛЯПКИНА

**Л**япкина пела очень красиво. С кошачьими переливами. Но не как кошка, а как кот. Не удивляйтесь: у нас на черной лестнице много котов и кошек, уж в их-то голосах я разбираюсь!

Черная лестница — это лестница, которая ведет на улицу из кухни. Раньше почти во всех городских домах были черные лест-

ницы. Не для котов, конечно. Эти лестницы были для прислуги, потому что с парадного хода ходили только господа. Или бары. А прислуга ходила с черного хода. Разные горничные, повара, няньки, дворники. Они не имели права ходить по парадной лестнице, а только по черной. А еще они с черного хода выносили мусор. Господа ведь сами не выносили мусор. Наш дом был именно такой дом — раньше в нем жили богатые господа. А потом стали жить мы, наркоминдельцы. Нам этот черный ход стал ни к чему. Мы только мусор через него выносили. Но мы могли бы и через парадный ход выносить мусор — ничего бы с нами не случилось. Сегодня, когда я пишу эти строки, вы тоже можете увидеть такие черные лестницы в старых домах. Пойдите куда-нибудь на Арбат, в старомосковские дома, и вы увидите такие лестницы. Черными они назывались потому, что всегда были грязными. На этих лестницах всегда валялись тряпки, ящики, жестянки — разный хлам. И стояли мусорные ведра перед каждой дверью. И всегда там пахло кошками.

Там водилось страшно много кошек! Это я хорошо помню. Мы с Вовкой иногда играли на черной лестнице (хотя мама мне не разрешала) и нагладелись там замечательных кошек. Эти кошки были черными, рыжими, серыми, белыми, даже голубыми, в пятнах и без пятен. Они были худыми и грязными. А глаза у них горели желтым и зеленым огнем. Вовка не раз хотел нарисовать этих кошек, но ему Жарикова запрещала. Она говорила, что это отвратительно будет выглядеть. А Вовка отвечал, что в живописи ничего не может выглядеть отвратительным: смотря как нарисовать! Конечно, если ты нарисуешь плохо, не точно, то это и будет отвратительно выглядеть. А если нарисовать хорошо, главное, точно по рисунку и по цвету, — допустим, точно нарисовать грязную осеннюю улицу со старыми домами или даже кучу мусора, — может получиться прекрасная картина! Также и про чернолестничных кошек Вовка говорил: представьте себе черную лестницу вечером, синие окна, и всюду на ступеньках, перилах и подоконниках сидят разноцветные кошки! Конечно, серовато-разноцветные, потому что вечер. Или ночь.

И потому, что они грязные. Зато как горят во тьме их желтые и зеленые глаза! Тут и там, тут и там, словно зловещие светляки! Неужто некрасиво? По-моему, красиво! И Вовка так говорит.

Вот эти кошки часто устраивали всему дому концерты, пели на разные голоса, особенно в марте месяце. Март у них почему-то музыкальный месяц, тогда они поют дни и ночи напролет, потому что у них тогда концертный сезон. Они тогда не только на лестнице поют, но и на крыше, особенно в полнолуние. Луна очень на них влияет в музыкальном смысле... Я же вам говорил, что мы жили на самом верхнем, шестом, этаже, под самой крышей, и нам кошачьи концерты всегда были особенно хорошо слышны. Там пел один такой кот — он баритоном пел! Он был совсем дикий; мы с Вовкой его не раз гоняли — огромного, черного, дикого кота с зелеными глазами! Он совсем одичал, потому что у него давно не было хозяина. Он жил сам по себе, в окружении своих бесчисленных кошек. Как какой-нибудь кошачий царь. Может быть, он и взаправду кошачий царь, кто его знает! Бездомный царь, застрявший на нашей лестнице после революции! И никого не хотевший признавать. Но пел он замечательно! Как какой-нибудь баритон из театра «Ла Скала», вот как он пел. «Ла Скала» — это самый лучший в мире оперный театр, итальянский. У нас дома были пластинки, которые отец привез из Италии. Мама их часто прокручивала на граммофоне. Она любила слушать итальянских певцов. И я тоже любил. Так вот, этот кот пел, как будто он итальянский баритон. Мы с мамой всегда узнавали его голос, когда он пел на крыше в полнолуние. Конечно, Ляпкина его тоже слышала. Не могла не слышать. Может, она ему и подражала. Бессознательно, конечно. Сознательно она бы постеснялась подражать. А бессознательно мы часто кому-нибудь подражаем, даже сами того не замечая. Да, еще я должен вам сказать, что Ляпкина сама немножко похожа на рыжую кошку, хотя у нее и баритон. И глаза у нее большие, зеленые, как у кошки... Но не в этом дело.

Дело в том, что, когда я услышал пение, я вдруг решил туда пойти. Просто так, для очистки совести, как любил говорить

Зусман. Это значит: для самооправдания. После моего конфуза на кухне. Должен же я кого-нибудь убить своим лотком на голове! Уж Ляпкина Маленького я наверняка убью! В переносном смысле, конечно...

Я постучал и открыл дверь.

Ляпкина полулежала на диване в окружении разноцветных подушек с бахромой и кисточками по краям, в зеленом шелковом халате. В руках она держала гитару с большим розовым бантом на грифе. Ляпкин Маленький сидел на полу, на толстом коврике, соорудив из кубиков какую-то башню.

Комната у Ляпкиных большая, но вся заставлена шкафами, тумбочками, креслами, столом, буфетом, диваном и огромным черным роялем. Я остановился в замешательстве: как тут пройти с лотком?

— Юрочка! С новостью! — воскликнула Ляпкина. — Что это у тебя на голове за новость? Проходи, проходи, дорогуша! Только не задень статуэтки! Вот сюда... осторожнее: ваза! Это очень дорогая ваза! Делай шаг сюда... зеркало! Ляля, пропусти Юрочку! (Она звала Ляпкина Маленького «Ляля», хотя у него было совсем другое имя.) Ставь свой лоток сюда, на рояль... Ну, рассказывай, рассказывай! Послушаем, Ляля, Юрочкину новость!

Ляпкин Маленький застыл с кубиками в руках и с открытым ртом. Он всегда открывал рот, когда удивлялся. Я с удовольствием отметил, что он был поражен до крайности.

— Это я яблоки продаю! — сказал я важно, ставя лоток на рояль.

— Яблоки продаешь! — всплеснула руками Ляпкина. — Вот молодец!

— Я их на фантики продаю! — сказал я еще более важно и независимо. — Три фантика — яблоко!

— На фантики! — опять восторженно охнула Ляпкина. — Ужас, какая прелесть! — Она притянула меня к себе и поцеловала, глядя на меня зелеными глазами.

— У вас есть фантики? — спросил я нарочно, хотя прекрас-



но видел большую вазу с конфетами на буфете, которую я чуть не задел лотком.

— Фантики? Это бумажки от конфет? Пустых нет, Юрочка! — с сожалением посмотрела на вазу Ляпкина. — Вот будут, тогда я тебе дам!

— Мам! — капризно протянул наконец Ляпкин Маленький. — Я хочу фантики!

— Фантики же Юре нужны, Ляля! — недовольно сказала Ляпкина. — Он их меняет на яблоки...

— Продаю, — поправил я.

— Ну да! — спохватилась Ляпкина. — Он продает на фантики, понимаешь?

— Я хочу-у-у, — затанул Ляпкин Маленький.

— Ну ладно, ладно! — Ляпкина встала с дивана и взяла из вазы одну конфету. — Так и быть, один фантик! Отдашь, Юрочка, яблоко за один фантик?

— Отдам, — сказал я.

— Ну вот и прекрасно! Просто прелесть ты, Юрочка! — Она развернула конфету, положила ее обратно в вазу, а бумажку отдала Ляпкину Маленькому.

Ляля взял бумажку, с удовольствием рассматривая ее.

— Ну, теперь дай Юре фантик, а он даст тебе яблоко! — сказала Ляпкина. — Юрочка, дай ему яблоко!

Я протянул яблоко, и Ляля взял его в другую руку, не выпуская фантика.

— Ну, что же ты, Ляля?

— Я фантик тоже хочу! — сказал Ляпкин Маленький.

— Отдай сейчас же фантик Юрочке! — крикнула Ляпкина, топнув ногой.

Мне стало как-то неловко.

— Не отдам, — сказал Ляпкин Маленький.

— Ляля! — крикнула Ляпкина.

— Не хочу-у-у, — затанул Ляпкин Маленький, на глазах у него выступили слезы.

— Ну ладно, ладно! — испугалась Ляпкина. — Бог с ним, он

сегодня не в настроении! Тебе ведь не жалко фантика, Юрочка? — Она заискивающе смотрела на меня зелеными глазами.

— Не жалко! — сказал я. Мне было немножко жаль, что не получилось игры.

— Ах ты прелесть, Юрочка! Это ты чудесно придумал — продавать яблоки! Ты надежда мамина, правда, Юрочка? Иди сюда, я тебя поцелую!

Ляпкина взяла меня за голову и несколько раз поцеловала в лоб.

— Прелесть ты, умница! Я тебе потом приготовлю несколько фантиков, после чая, когда бумажки останутся... Ладно?

— Ладно! — буркнул я.

— Я теперь буду собирать тебе фантики, прелесть моя!

— Спасибо!

— Мам! Я хочу конфету! — сказал Ляпкин Маленький.

— Боже мой! Да ты только что ел!

— Хочу-у-у,— опять затянул Ляпкин Маленький.

— Ну ладно, ладно! Только сначала спой! Ты знаешь, Юра, как мы поем? Мы прелестно поем!

— Я знаю,— кивнул я.

— Я не хочу! — сказал Ляпкин Маленький.

— Тогда не получишь конфету! Споешь — получишь! Выбирай! — закончила Ляпкина.

— Ладно! — сказал Ляпкин Маленький, глядя на конфету.

— Ну, ты моя прелесть, Лялечка! Тютюленька ты моя! Ты не знаешь, Юрочка, как мы поем! Ну, Ляля!

Ляпкина взяла гитару, откинувшись на подушках, и нежно перебрала струны. Ляпкин Маленький встал, заложил за спину руки и, посмотрев на меня с победным выражением, начал с места в карьер:

Последний нонешний денечек

Гуляю с вами я, друзья-а-а!

Ляпкин Маленький сделал паузу, с шумом втянув воздух, потом заорал:

Заплачет маменька моя-а-а!  
Отец найдет себе друго-а-а!  
А мама Лялю никогда-а-а!

— Ах ты моя прелесть, Лялечка! — воскликнула Ляпкина. — Вот тебе конфета! Ты видишь, Юрочка, как мы поем?

Я кивнул.

«Хорошая она, добрая! — подумал я. — Она мне потом даст много фантиков! Это она сейчас из-за Ляльки не дает, боится, что он съест все конфеты...»

— Ну, я пойду, — сказал я.

— Куда же ты, ангел? — спросила Ляпкина.

— Так, — сказал я, а сам решил пойти к Усам...

## УСЫ

**Ч**еловека, к которому я захожу в этой главе, все в квартире звали **Усы**. Фамилию его я не помню. Я и его-то не очень хорошо помню. Когда я вспоминаю этого человека, я вижу туман времени и в этом тумане большие, добрые усы. Что они добрые, я помню точно.

Лучше всех об этом человеке сказала Гизи. Тут я немного забегаю вперед. Потому что она это немного позже сказала. Но это не важно. Важно, *как* она это сказала. Гизи сказала об Усах по-немецки: «*Er hat ein Eichhörnchen geschnupft*». (Это значит: «Он белочку нюхал».) Это такая поговорка, такое присловье. Его всегда говорят немцы о человеке, у которого очень пушистые усы. И тут есть один секрет, который немцы раскрыли: если уса-тый человек понюхает белочку, его усы сразу станут чрезвычайно пушистыми. Ведь белочка очень пушистая, вспомните ее хвост! Белочка и передает человеку свою пушистость. Как это получается, я не знаю. Это уж тайна природы, которую сумели

раскрыть немцы. Попробуйте понюхать белочку, и вы сами в этом убедитесь. Если, конечно, у вас есть усы.

Гизи знала много народных немецких выражений и всегда ими меня удивляла. Потому что они очень интересно звучат, особенно в нашей русской жизни. Конечно, многие поговорки и пословицы у разных народов схожи, а многие даже одинаковы, но есть поговорки оригинальные, присущие только одному какому-нибудь народу. Вот эти поговорки и представляют ценность. Их даже можно коллекционировать. Правда, некоторые из них непереводамы. Но те, которые переводимы, могут очень обогатить вашу речь. Ведь здорово Гизи сказала об усах, правда? О, она еще не то знает, вот вы увидите! Но сейчас я не об этом...

Сейчас я стою в коридоре и стучу к Усам.

— Да! — раздается из-за двери.

— Ой! — Я открыл дверь и испугался.

Усы сидел на кровати лохматый, с заспанным видом. И усы у него какие-то заспанные.

— Заходи, милый, заходи! — кивает Усы.

Я осторожно вхожу, неся на голове свои яблоки.

— Я думал, вас дома нет... я на всякий случай постучал... а вы дома...

— Всю ночь работал, — говорит Усы. — Сейчас опять пойду. Заходи, милый Юра!

— Спасибо. Я на минутку... А где ваша собака?

— С Фатимой гуляет. Что у тебя на голове? Никак, яблоки?

— Я продаю. Вот, купите!

— Торгуешь? Как нэпман?

— Да нет, я так!

— Знаю, знаю! Ты большевик!

— Большевик... Я на фантики продаю! И фантик сам могу дать, если у вас нет: вот, берите и покупайте...

— Ого! Ну что ж, большевики тоже должны учиться торговать, правда?

— Правда...

— Ставь лоток на стол, милый Юра.

Я ставлю.

— А у вас тоже наган есть, как у отца?

— А как же? — Он достал из-под подушки наган.

— А зачем вы его под подушкой прячете?

— Привычка! Давай чай пить?

— Я пил...

— Садись, милый! Садись! — Он пододвигает мне стул, наливает чаю в стакан, пододвигает конфеты.

— Сколько у вас фантиков! — киваю я на конфеты.

— Фантики есть! Можешь снять обертки!

— Мне немножко...

— Бери, бери. — Усы начинает разворачивать конфеты, откладывая передо мной фантики. — Почем ты яблоки-то продаешь?

— Три фантика — яблоко!

— Это слишком дешево, милый Юра! Давай сюда одно яблоко и бери все фантики!

Передо мной быстро растет гора фантиков. «Вот здорово! — думаю я. — Вовка-то удивится! Сразу столько фантиков! Другие годами копят!»

Открывается дверь, и в комнату влетает Дик. Он снизу серый, а сверху черный. И уши торчат. Дик сразу кидается ко мне и лижет меня. Нос у него холодный и мокрый, как ледышка.

— Дик! Сидеть! — приказывает Усы.

И Дик садится, склонив голову набок.

Фатима стоит в дверях. Это жена нашего дворника Ахмета. Она иногда гуляет с Диком, когда Усам некогда. И готовит — ему и Дику. Потому что Усы холостяк.

— Веселая Дик! Так бегала, так бегала! — смеется Фатима. Она всегда смеется.

— Садись с нами, Фатима! — говорит Усы.

— Время нет! А ты хорошо спала? — смеется Фатима.

— Отменно! — говорит Усы.

— Обедала?

— Обедать буду потом.

— Ну ладна! Моя пошла двор подметать!

— А Князь как же? — это Усы так ее мужа зовет, Ахмета.

— Князь пошла на базар! — смеется Фатима. — Т тебе что нужно?

— Ничего, спасибо, Фатима!

И Фатима уходит, тихо прикрыв за собой дверь.

— А Дик будет конфеты есть? — спрашиваю я.

— Будет... Дик, ап! — коротко говорит Усы, бросая вверх конфету.

Дик хватает ее, громко клацнув челюстями. Зубы у Дика огромные, как у крокодила. И конфету он проглатывает сразу, на лету. Как фокусник.

— А яблоки?

— И яблоки будет! Породистые собаки очень любят яблоки. И виноград.

Усы берет яблоко. Дик смотрит на хозяина, поводя ушами, напряженно переступая передними лапами.

— Гав! — Это он требует яблоко.

— Дайте я брошу!

— Пожалуйста, милый Юра! Бросай вверх!

Я бросаю, волнуясь, и яблоко летит немного в сторону. Но Дик подпрыгивает и хватает его: два удара челюстями — и яблока нет! Здорово!

— А если б он родился человеком? — спрашиваю я.

— Было бы прекрасно! — говорит Усы. — Тогда бы он мог говорить.

— Как — говорить?

— Как мы с тобой, милый Юра.

— А если б собакой?

— Он и есть собака! Говорить не может. Хотя сказать у него есть что.

Дик смотрит на нас внимательно. Как будто у него действительно есть что сказать.

— А что у него есть сказать?

— Мало ли что! У него и своих историй много. Собачьих. И моих он знает достаточно.

— Каких — ваших?

— Разных! Я люблю с ним поговорить, — улыбается Усы. — С ним хорошо говорить.

— Почему хорошо?

— Потому что мне ответов не нужно. Придешь иногда с работы, говоришь с ним, говоришь... а он слушает. И никаких ответов не нужно!

— А мне хочется ответов! — говорю я. — Собачьих!

— Ну что ж! — разводит руками Усы. — Тебе хочется, а мне нет! Мне с ним и так хорошо.

— А если б вы хотели собачьих ответов?

— Тогда б я, наверно, моложе был...

— А сейчас вы не моложе и все знаете?

— Все не все, а кое-что знаю, милый Юра...

Так мы сидим и беседуем. А Дик нас слушает. У Усов в комнате хорошо — мало вещей. Только железная кровать, подстилка для Дика, да стол, да два стула. Есть где разыграться, не то что у Ляпкиных. Комната-то большая!

И картин совсем нет — только Ленина портрет над столом да фотография Усов в форме, с погонами. Это когда Усы в царской армии служил. Ну, а в семнадцатом году он погоны снял, потому что пришла Революция. Революция всегда снимает старые погоны...

Мы сидим и беседуем, прихлебывая чай. Все москвичи любят беседовать, прихлебывая чай. Я ведь тоже москвич! И Усы москвич! А потом я уйду, потому что Усам надо на работу. В Наркоминдел.

Я уйду с полными карманами конфет и фантиков. Теперь я обеспечен фантиками на целый год. Конфетами-то я не обеспечен, потому что я их съем! А фантики я же не съем! Я в них буду с Вовкой играть. И с Ляпкиным. Вот такие дела. И я иду к Вовке.

## ЗУСМАН И ЖАРИКОВА

**К**огда я вхожу, Вовкин отец сидит на столе и чертит мелком по сукну. Вы не удивляйтесь, что он сидит на столе,— портные всегда сидят на столе, поджав ноги, так им удобнее шить. Вовкин отец замечательный портной, он особый портной: он шьет только для мужчин и только для наркоминдельцев. Он, конечно, может и еще кому-нибудь сшить, но это уже особый случай, «по блату», как говорит Вовка. «По блату» значит «по знакомству», если ему кто-нибудь очень понравится или если этот «кто-нибудь» его друг, ну, допустим, друг детства,— как же ему не сшить? Таким он и шьет по блату. А вообще он шьет только наркоминдельцам, мужчинам. Никакой женщине или девчонке он никогда шить не будет, даже по блату! Лучше его и не просите! Ляпкина вон попросила его как-то на кухне сшить ей платье. «Ну что вам стоит,— сказала она,— в виде исключения?» Так знаете, что Зусман ей ответил? Он ей ответил: «Что вы, мадам! Разве это *возможно?*» Он это ей *так* сказал, что она сразу отстала. «Лучше я корове седло сошью! — тихо бормотал он про себя, возвращаясь по коридору в комнату.— Нет уж, простите! Простите, мадам!» — и качал головой. Зусман любил бормотать про себя, «ворчать», как говорила Жарикова. Он бормотал, думая, что его никто не слышит, но я случайно услышал, потому что шел сзади по коридору.

Вот вы подумайте сами: можно ли для коровы седло сшить? Ведь это бессмыслица! Зачем корове седло? Такая же бессмыслица для Зусмана — сшить женское платье! Нет, Зусман — мужской портной; он даже на парадной двери табличку прибил: «Мужской портной Липа Борисович Зусман». И все! Коротко и ясно! Буквы на этой табличке не простые, а с вязью. Это значит: с разными такими узорами в буквах, сами буквы как узор, так что вы сразу и не поймете, какие это буквы.



Я-то понимаю, потому что мама объяснила, какие это буквы.

Зусман сидит на большом столе, поджав под себя ноги; в жилете поверх полосатой рубашки, на длинной худой шее у него висит сантиметр; он склонил голову, и лысина его светится, как луна, потому что прямо над ней горит яркая лампа под газетным колпаком. Лампа всегда горит, даже днем. От Зусмановой лысины исходит сияние на всю комнату, потому что вокруг лысины вьются рыжие кудри. Зусман смотрит на меня поверх очков, не поднимая головы.

— Здравствуйте пожалуйста! — говорит он. — Что это за новости?

Он имеет в виду мои яблоки на голове.

— Это я яблоки продаю! — Я ставлю лоток на стол, заваленный лоскутами материи.

— Какие такие яблоки? — раздается бас из-за ширмы в углу, и оттуда выходит Жарикова, жена Зусмана.

Она говорит басом и все время курит. Хотя сама маленькая и худая. Моя мама говорит, что это просто удивительно — где в Жариковой помещается этот бас, такой богатый и глубокий! Но человеческий организм очень сложная машина, говорит мама, некоторые толстые люди, например Ляпкин Большой, пищат, как котята; а худые, как Жарикова, басят, как будто у них внутри помещается труба. Я смотрю на Жарикову и думаю об этой трубе — где она в ней помещается? Совершенно непонятно!

— Совершенно непонятно, откуда у тебя такие замашки — яблоками торговать! — трубят Жарикова. — Ты же сын интеллигентных родителей!

— Ну что вы, Анна Пална! Коммерческая жилка человеку не помешает! — поднимает голову Зусман; он называет Жарикову по имени-отчеству и говорит ей «вы».

— Я хочу с Вовой поиграть в лоточников! — говорю я робко. Я ее немножко боюсь, как все в квартире.

— Этого еще не хватало! — дымит папиросой Жарикова. — Вова придет из школы и будет рисовать! Ему некогда!

— Я тоже хочу рисовать,— говорю я тихо.

— Рисование не баловство! — строго возражает Жарикова.— Это серьезное дело...

— И я хочу серьезно,— говорю я.

— Ты еще мал! — категорически изрекает Жарикова.— А Вова занимается этим серьезно! Потому что у него талант! Он будет художником!

— Я тоже хочу художником,— говорю я.— Я могу лошадь нарисовать...— Мне вдруг очень хочется стать художником.

— Ты еще неизвестно кем будешь,— басит Жарикова.— Надеюсь, конечно, не лоточником... Подрасти немного, тогда увидим...— И она опять уходит за ширму.

А мне становится грустно. Что она мне не верит. Ведь я же могу лошадь нарисовать! И дом нарисовать могу! И танк. И самолет. Я много что могу нарисовать. Вова, конечно, лучше рисует, раз он в пятом классе. Но и я ведь не маленький. А она всегда говорит, что я мал. И это мне очень обидно...

— Ты не сердись на Анну Палну! — с улыбкой говорит Зусман.— Она человек серьезный! И к рисованию относится свято!

— А почему вы на столе сидите? — спрашиваю я.

— Чтобы быть ближе к свету,— говорит Зусман.

Он действительно сидит под самой лампой.

— А у вас ноги не устают так сидеть?

— Я привык,— говорит Зусман.— Я могу так всю жизнь сидеть. Конечно, с перерывами...

— И я могу! — говорю я гордо.— Я на полу так сижу, когда играю... Я тоже так могу всю жизнь!

— Не хочешь ли ты уже стать портным? — смеется Зусман.

— Хочу! — говорю я: мне вдруг очень хочется стать портным.

— Вот видишь! — басит из-за ширмы Жарикова.— Ты еще сам не знаешь, кем хочешь стать...

Над ширмой поднимается дым — как будто там костер горит.

— Я всем хочу стать,— говорю я.— И художником, и портным, еще летчиком!

— Леонардо да Винчи! — смеется Зусман.

— Чего? — спрашиваю я.

— Был такой художник — Леонардо да Винчи,— объясняет Зусман.— Он был художником, изобретателем, врачом...

— Ну что ты, Зусман, морочишь ребенку голову! — возмущается Жарикова.— Человек должен выбрать одну цель и к ней стремиться!

— Я не хочу одну, я хочу много! — говорю я весело.— Я хочу все!

— Юлий Цезарь! — смеется Зусман.

— Да ну вас! — сердито басит Жарикова.— Пойду лучше суп поставлю... Скоро Вова придет...

И она выходит, дымя папиросой «Пушка». Она сама дымит, как пушка после пальбы.

Зусман сидит, низко склонившись над левым коленом, и в руках у него мелькает иглолка.

— Ты ее боишься? — весело спрашивает Зусман. (Я киваю.) — Ты не смотри, что она такая строгая! — говорит Зусман.— Она шумная, но добрая! И очень любит Вову. И тебя любит...

— А что это у вас под коленом? — показываю я на деревяшку под левым коленом Зусмана, на котором он шьет.

— Это рукавная колодка,— объясняет Зусман.

— На ней рукава шьют?

— Ты же видишь — я перешиваю рукав...

— Почему вы его перешиваете?

— Взятся костюм переделать,— говорит Зусман.— Рукава у него очень передисты...

— Как — передисты?

— Вперед вшиты, как для извозчика! — говорит Зусман.— Извозчик ведь как на облучке сидит? Вот так! — И Зусман вытягивает вперед руки, как будто держит в них вожжи.— Если рукава вперед смотрят, говорят, что они передисты, то есть

для извозчика шиты. А бывают задистые рукава — которые назад смотрят...

— А они для кого?

— Для тех, кто любит спину чесать! Понятно? — подмигивает Зусман.

Мне все это очень интересно.

— Надо, чтоб рукава прямо вниз висели, вои как на том пиджаке, — кивает Зусман на красивый синий пиджак, который висит рядом на манекене. — Это нормальные рукава.

Манекен в пиджаке выглядит очень важным. Хотя он и без головы и без рук. У Зусмана несколько таких манекенов, они стоят у стены. Когда они голые, они какие-то жалкие, а когда в пиджаках — очень важные, даром что без головы и без рук! И мне почему-то хочется на них шляпы надеть. У Зусмана очень интересная комната: когда в нееходишь, кажется, что в ней много народу, — это потому, что у стены собрались манекены. Они там как будто шепчутся. Потом только видишь, что они безголовые...

— А еще какие рукава бывают? — спрашиваю я.

— Больше никаких не бывает! Бывают брюки «носи носом», — таинственно говорит Зусман.

— Это как — «носи носом»?

— А это так на базаре дурачков обманывают. Сошьют брюки без верхней части, только две штанины, вот так, смотри! — Зусман берет со стола брюки и растягивает их на вытянутых руках в разные стороны, под самым своим носом, так что видны только брючины, а верхней части штанов не видно. — Вот так растянут тебе две сшитые брючины, а рассмотреть не дадут! Потом их тебе быстро свернут, деньги получают — и скроются в толпе! Поминай как звали! А ты придешь домой, развернешь брюки — а они без верхней части! Вот это и называется «носи носом»! — Зусман смеется.

— А зачем они так делают? — непонятно мне.

— Чтобы материю сэкономить! Вместо одной пары можно две «носи носом» сшить! И взять вдвое больше денег!

— А где это так шьют?

— Где! На базаре — где ж еще? На Сухаревке! Ты вон спроси Фатиму, ей один раз всунули такие брюки, она приходила ко мне плакаться...

Тут открывается дверь, и входит Вовка с Жариковой. Вовка весело кивает мне и швыряет на диван свой ранец.

— Сейчас Вова будет уроки делать, а потом рисовать! — громко говорит Жарикова. — Так что ты, Юра, иди-ка лучше домой...

Я грустно беру со стола свой лоток с яблоками. Вовка провожает меня до двери.

— Выходи через час во двор, — шепчет он. — Нарисую ей одну картиночку — и сбегу... Жди меня там!

— Давай, давай, товарищ пионер! Принимайся за дело! — слышу я за спиной трубный глас Жариковой.

## ВОВКА

**В**овка — это мой самый близкий друг! И я его очень люблю!

Конечно, он не такой уж красивый, Вовка. Он рыжий. И все лицо у него в веснушках. Даже зимой. Но не в этом же дело. Он же не девчонка, чтобы обязательно быть красивым. Так мама говорит. Зато Вовка ловкий. И сильный. И умный. И еще он за меня во дворе заступается. Когда Вовка во дворе, тогда я спокоен: никто меня не обидит. И моя мама тогда спокойна. Потому что Вовка каждому сдачи даст, кто захочет меня обидеть.

Не знаю, почему мы так с Вовкой подружились... Наверное, потому, что нам с ним всего интереснее. Ему со мной интересно, а мне с ним. Вовка ведь все знает, про все рассказать может. И про машины он знает, какая какой марки — «форд», или «амо», или «линкольн», и про самолеты он тоже знает. И про

радио знает, а про радио в моем детстве никто почти не знал. Ни у кого в нашей квартире приемника не было, а у Вовки был! Он его сам в Доме пионеров собрал, «детектор» называется. Там такой маленький кристаллик под стеклом,— тыкаешь в этот кристаллик рычажком с проволочкой на конце и ловишь разные станции! «Коминтерн», например! А можно и за границу поймать! Ночью, когда все спят... Но лучше всего Вовка умеет рисовать. «Он будет большим художником!» — это все всегда говорили. Особенно Жарикова, его мачеха. Она ведь его мачеха, Жарикова, вы не забыли? Я вам говорил. Настоящая Вовкина мать давно умерла, он показывал мне ее карточку в альбоме. Тайком показывал, когда Жариковой дома не было. Вовка говорит, что она не любит, когда он вспоминает свою настоящую мать. Вовка говорит, что Жарикова его *ревнует к умершей*... Странно, правда? Что к ней ревновать, когда она все равно умерла! Но такой уж она, Жарикова, человек. Она Вовку очень любит. И Зусмана она очень любит. Она их обоих ко всем ревнует. Она очень строгая, но это я вам, кажется, тоже уже говорил... Жарикова все хочет, чтобы Вовка *стал человеком*. Она все время об этом твердит. Как будто Вовка не человек! Он ведь и так человек! И еще какой человек, скажу я вам! Очень хороший человек...

Мне иногда немножко жалко Вову, что у него не мать, а мачеха. Хотя я ему этого не говорю. Мама сказала, что это неудобно говорить. Надо Вову просто уважать, и все. Потому что он добрый. И самостоятельный. Он всегда сам уроки делает. И пол в комнате моет. И обед иногда готовит, когда Жариковой некогда. Он в школу ходит один с первого класса, с самого первого дня! Согласитесь, что это редкость! Обычно всех мамы в первый раз в школу приводят. А Вовка сам пошел и даже не плакал. Он мне рассказывал. Такой уж он самостоятельный человек. Он даже выиграл соревнование на самостоятельность. И грамоту мне показывал, где так прямо *черным по белому* и написано, что с такого-то числа Вова Зусман считается вполне самостоятельным членом пятого «А» класса. Вы спрашиваете:

почему черным по белому? Потому что бывает ведь и синим по белому написано! Но самым важным считается, когда написано черным по белому, как у Вовки... Вы спрашиваете: как он выиграл соревнование на самостоятельность? Очень просто! Вот вы послушайте, вам это тоже будет полезно...

Начнем со слова «самостоятельность»... Сколько в нем букв, скажите мне, пожалуйста? Семнадцать? Правильно! Так вот, на каждую букву у них в классе было установлено специальное правило поведения. Например, на букву «С» — не опаздывать на уроки. На букву «А» — сидеть прямо за партой. На букву «М» — подметать дома пол. На букву «О» — мыть перед обедом руки, и так далее. Кто аккуратно выполнял все эти правила в течение недели, тот и считался самостоятельным, потому что он, выполнив все правила, набирал все буквы этого слова. Если, например, кто-нибудь не подметет пол, он теряет букву «М»! Он тогда «саОстоятельный», потому что буквы «М» у него не хватает. Учительница даже по домам ходила, проверять, кто подметает пол, кто нет. И вычеркивала букву «М» у тех, кто не подметает. Это, конечно, позор! Но это что! Вовка сказал, что у многих не хватило нескольких букв! Есть у них одна девочка, которую зовут «...стоятельная», потому что она первые четыре правила не выполнила. Она даже плакала и несколько дней в школу не ходила, но так и осталась «стоятельной». И останется, пока не выполнит все правила! А Вовка все эти правила выполнил и давно уже «самостоятельный». Вот какой он человек, Вовка!

## КОВЕР НА СНЕГУ

**Ч**ерез час мы стоим во дворе: я, Вовка, Ляпкин Маленький и Гизи. Только Гизи не с нами стоит, она играет в стороне сама. Она лепит куличики из снега: насыпает снег в ведерко и вываливает. Куличики у нее полу-

чались хорошие, потому что снег липкий. А иногда они разваливались. Я все это видел, потому что на нее поглядывал. И она на нас поглядывала.

А Вовка и Ляпкин-Сопелкин на нее не поглядывали. Ляпкина-Сопелкина зовут, в общем-то, просто Ляпкин, я вам уже говорил. Но Вовка иногда зовет его двойной фамилией: Ляпкин-Сопелкин. Ведь бывают же двойные фамилии: например, Миклухо-Маклай или Беляницкий-Бирюля — мало ли еще какие! Есть даже фамилия Нетуды-Баба! Я этого раньше не знал, и Ляпкин-Сопелкин не знал, а Вовка знал, потому что он взрослый: ему одиннадцать лет. Вовка все знает. Он может любому дать фамилию, не то что какому-то Ляпкину-Тяпкину! (Это тоже есть такая фамилия, сказал Вовка.)

Вот так мы и стоим на снегу, разговаривая про фамилии. За ночь выпал чистый-чистый снег, и мы стоим, как на белом ковре. А рядом стоит Памятник Воровскому. Я смотрю на снег: он рыхлый и снежинки в нем очень крупные. Если сесть на корточки и смотреть близко-близко, снежинки кажутся узором на персидском ковре... Я смотрю на снег одним глазом, а другим смотрю на Гизи... И вдруг слышу над собой страшное сопение. Это Ляпкин тоже сел на корточки и сопит мне прямо в ухо.

— Что ты сопишь как паровоз! — говорю я Ляпкину.

— Это я дыфу! — говорит Ляпкин-Сопелкин. Он говорит не «дышу», а «дыфу», потому что у него выпал зуб.

— Ты сопишь! И мешаешь мне смотреть на снег!

— Конечно, сопит! — подтверждает Вовка. — Не сопи и не мешай человеку смотреть на снег!

— А чего Юра смотрит на снег? — спрашивает Ляпкин.

— Значит, надо, — говорит Вовка.

Я начинаю еще внимательнее смотреть на снег. Хотя сам не знаю, зачем мне надо смотреть на снег. Но Ляпкин-то не знает, что я не знаю! Пусть думает, что я знаю. Тут и Ляпкин начинает все внимательнее смотреть на снег. И чего это он смотрит на снег? Не понимаю просто! Бестолковый он все-таки человек!



- Ты-то чего смотришь на снег? — говорю я.
- А ты чего? — спрашивает Ляпкин.
- Я знаю, зачем я смотрю на снег! А ты не знаешь!
- Я тоже знаю, зачем я смотрю на снег! — говорит Ляпкин. Глупый он все-таки ужасно!

Тут Вовка тоже начинает смотреть на снег. Я вижу, что и Гизи все внимательнее смотрит на снег... то есть на нас. Ей, наверное, стало интересно, что это мы так смотрим на снег.

- Да,— говорит Вовка.— Интересно!
- Чего интересно? — спрашиваю.
- Как вы оба смотрите на снег! — говорит Вовка.
- Я-то смотрю на снег, потому что вижу узоры,— говорю я.
- И я вижу узоры! — говорит Ляпкин. Он говорит «ужоры» вместо «узоры».

— Ну, и что толку, что ты видишь узоры? — говорю я презрительно.

- А ты — что толку?

Я молча важно смотрю. Моя голова начинает сильно, быстро, лихорадочно думать. Я встаю на ноги. Потому что в мою голову приходит одна мысль.

— Я знаю, как сделать из снега ковер! — говорю я важно, поглядывая на Гизи.

- И я знаю, и я! — подхватывает Ляпкин.

Просто ужасный человек какой-то!

Вовка смотрит на меня с любопытством.

— Ну, как ты знаешь? — нарочно спрашиваю я Ляпкина. Я вижу, что он ничего не знает. Хотя ему очень хочется знать.

— Надо взять домой и наклеить на стенку...— говорит Ляпкин неуверенно.

— Тебя самого надо наклеить на стенку! — говорю я весело.— Снег дома растает!

- Не растает,— глупо говорит Ляпкин-Сопелкин.

Мы очень громко говорим, и я вижу, что Гизи перестала делать свои куличики; она стоит и смотрит на нас. Главное — на меня...Ну что же, пусть смотрит. Сейчас она еще не увидит!

— Снег растает,— говорит Вовка Ляпкину.— И не споры! И Ляпкин уже не спорит. Он только стоит и сопит. Обиделся, наверное. И тогда говорю я. Я говорю:

— Памятник Воровскому стоит сейчас просто на снегу! А надо, чтобы он стоял на ковре! И это можно сделать!

— Как? — спрашивает Ляпкин-Сопелкин.

Даже Вовка спрашивает «как» — вот как здорово я придумал!

Я говорю:

— Надо вокруг Памятника ходить, чтобы на снегу получились следы. То есть узоры.— И я начинаю ходить вокруг Памятника.

Ляпкин-Сопелкин идет за мной. Даже Вовка идет за мной! Они все идут за мной и смотрят себе под ноги. Я вижу, что Гизи внимательно смотрит на нас. Мы два раза обходим вокруг Памятника, и за нами на снегу получаются узоры — два круга.

— А теперь надо ходить от круга к кругу, зигзагами,— говорю я.

— Как зигзагами? — спрашивает Ляпкин.

И мы с Вовкой хохочем.

— Ты молодец! — говорит мне Вовка.— Это ты здорово придумал! — и хлопает меня по плечу.

Мне, конечно, приятно! И Гизи это видит. Это тоже приятно. Раз Вовка сказал, значит, я действительно молодец. Гизи подходит ближе и смотрит, как мы продолжаем ходить вокруг Памятника гуськом. Можно бы ее тоже пригласить, да мне неохота первому ее приглашать. А Вовка и Ляпкин не обращают на нее внимания.

Мы долго ходим вокруг Памятника — кругами. И зигзагами. И делаем точки, то есть прыгаем с места на место.

— Немка тоже хочет ходить,— говорит Ляпкин, косясь на Гизи.

— Да ну ее! — говорит Вовка.— Девчонка! Да и по-русски она не смыслит... Эй, Гизи, смыслишь по-русски? — спрашивает Вовка.

Подняв голову, она медленно отходит от нас, постукивая себя лопаткой по ногам.

— Воображала немецкая! — говорит Вовка.

— Гизи-дризи! — кричит Ляпкин. — Гизи-дризи!

А я ничего не говорю. Мне жаль, что она ушла.

Мне было почему-то приятно, когда она на меня смотрела. И поговорить бы я с ней мог — я же знаю немецкий! А что она воображала — это Вовка прав.

## ПЕРВОЕ ПИСЬМО ВОРОВСКОМУ

**В** нашем дворе я часто гулял один. Вовка редко бывал во дворе, он ходил в школу, а потом делал уроки и рисовал — времени у него было мало. А Ляпкина Маленького я в расчет не беру, потому что он, во-первых, мал, а во-вторых, он тоже редко бывал во дворе: он ходил с мамой в сквер. Моей маме некогда было со мной в сквер ходить, она все время работала и, когда я гулял, смотрела на меня из окна. Так что я был во дворе большей частью один, правда не совсем: со мной еще был Памятник Воровскому. Он коротал со мной время. Он-то всегда был во дворе! В любую погоду! Поэтому я не особенно скучал — я думал. Я смотрел на Воровского и мысленно с ним разговаривал. Иногда я даже вслух с ним разговаривал. Я очень жалел Воровского, что его убили. Отец говорил, что Воровский был очень хорошим человеком. Умным. И добрым. Они с отцом вместе работали за границей, даже были друзьями. Когда меня еще не было на свете, вот когда! Странно, правда, что меня когда-то на свете не было? А отец, мама и Воровский уже были... А сейчас я есть, а Воровского нет! Он ушел от нас как человек, а пришел как Памятник. Как будто свет — это дом, в который приходят, а потом опять куда-то уходят. Откуда приходят и куда уходят — этого я не знал...

Я стоял и думал, глядя на Воровского. Он был ярко освещен морозным солнцем. Зимой, когда яркое солнце, у нас всегда мороз. Воровский был четко освещен, каменные черты его лица были неподвижны. Он весь был неподвижен, хотя весь в движении, как будто только что говорил речь — и вдруг застыл на одно мгновение. И это мгновение остановилось. Но мне казалось, что он вот-вот снова заговорит. У него был очень живой вид, даром что он памятник. У него была какая-то своя, памятниковская жизнь, я это видел ясно... А может, он все-таки живой?

В тот день я много думал о Воровском — когда гулял и смотрел на него во дворе и потом, дома, когда смотрел на него из окна. Мне все казалось, что он может пошевелиться, когда я на него не смотрю... «Неужели у него не затекают руки и ноги?» — думал я. Я так много о нем думал, что вдруг решил написать ему письмо. Я только маме показал это письмо, больше никому. Но она сама ничего не смогла там прочесть. Потому что у меня такие буквы. Мама их еще не понимает. Тогда я объяснил ей, что я написал. Я написал:

«Дорогой Памятник Воровскому! Я знаю, что ты живой! А Ляпкин не знает. И никто не знает. Все говорят, что ты раньше был живой, а сейчас не живой. Но ты не беспокойся, потому что я знаю, что ты живой. Я тебя очень люблю. Меня зовут Юра. Через год я в школу пойду. Ты приходи к нам когда-нибудь в гости. И мы с тобой будем сказки рассказывать. И про Революцию тоже. А еще я скажу тебе по секрету, что мне нравится Гизи. Я только не знаю, как мне с нею познакомиться. Конец. До свидания. Юра».

Мама сказала, что это очень хорошее письмо.

А потом мы с мамой идем во двор, и я потихоньку кладу письмо на камень, на котором стоит Воровский. Вечером, чтобы никто не видел. Я хотел ему в карман сунуть, но карман очень высоко. А потом мы уходим — тихо-тихо, на цыпочках.

Завтра утром я пойду и проверю, где письмо. Если письма нет, значит, он его взял и прочел... Посмотрим!

## МАМИНА ПЕСНЯ

**К**огда день кончается, я ложусь спать. И Вовка ложится. И Ляпкин-Сопелкин. И Гизи. Только Памятник Воровскому не ложится. Потому что памятники не спят. И отец и мама тоже не ложатся. Потому что они много работают. Отца я редко вижу, он приходит под утро. Он работает по ночам. А мама работает дома. И тоже по ночам.

Когда ночью просыпаюсь, я вижу, как моя мама сидит и печатает. И в комнате горит свет. И машинка стучит — быстро, как пулемет.

Вообще-то я просыпаюсь редко. Потому что я умею спать при свете. Не все умеют, а я умею. Меня убаюкивает стук машинки. А иногда меня мама сама убаюкивает. Когда у нее время есть. Тогда она рассказывает мне сказки. По-русски и по-немецки. Всегда надо знать еще какой-нибудь язык. Так мама говорит. А иногда она просто поет мне колыбельную песню. Это очень хорошая песня. И я ее хорошо помню до сих пор! Вот она:

Солнце тихо прошептало: — Что ж, пора кончать!  
В небе я шагать устало, лучше лягу спать!

Смолкла шумная береза: — Что это, друзья?  
Если солнце мне не светит, буду спать и я!

Соловей сказал на ветке: — Что это, друзья?  
Не шумит листвою береза — буду спать и я!

Поводил ушами заяц: — Что это, друзья?  
Соловья в листве не слышно — лягу спать и я!

Посмотрел вокруг охотник: — Что это, друзья?  
Видно, зайцы все уснули! Спать пойду и я...

Вышел месяц, глянул сверху: — Что это, друзья?

Спит охотник!  
Спит береза!  
Нету соловья!  
Зайцы спят!  
А там в окошке  
Виден яркий свет!  
Там не спит какой-то мальчик...

— Нет! Нет! Нет!  
Уходи, рогатый месяц!  
Не смотри в кровать!  
Мальчик мой глаза закроет,  
Тоже будет спать!

Я засыпаю под эту колыбельную и думаю. Почему Ахмет говорит, что есть бог, когда его нет? И почему враги убили Воровского, а он их не убил? И почему месяц рогатый, а луна круглая? Почему, почему, почему... И еще я думаю, что, когда я вырасту, я все это узнаю...

**ИОСИФ,  
АХ, ИОСИФ!**

**Я** иногда зову отца Иосиф. Маму я всегда зову мама, а отца иногда зову Иосиф. Многие, конечно, этому удивляются. Для них это звучит странно. Особенно Ляпкина удивляется, когда это слышит. Она говорит:

— Как тебе не стыдно! Какой он тебе Иосиф? Он тебе папа, а не Иосиф! Разве это воспитание?

Я говорю:

— Воспитание!

— Это просто ужас! — говорит Ляпкина. — Никакого уважения!

— Уважение! — говорю я.

— Это не уважение! Это отрицание! Всего святого!

— Какой святой? — спрашиваю. — Мой отец не святой!

Ляпкина хватается за голову. За свои локоны, похожие на сосиски.

— Ужас! — восклицает она. — Куда ты идешь? Куда?

— В кино, — говорю я. — С Иосифом!

Я нарочно говорю «с Иосифом».

— Ужас! — восклицает она. — Ты ребенок или не ребенок?

— Не ребенок! — говорю я. — Я Юра. А мой папа Иосиф.

Она поднимает над головой руки и так, с поднятыми руками, поворачивается ко мне спиной и уходит.

Когда Ляпкина рассказывает об этом маме, мама смеется. «Ах, оставьте его! — говорит мама. — Ему так нравится. И Иосифу нравится. У них с отцом особые отношения».

Ляпкина никак не могла понять, какие у нас с отцом отношения. Откуда ей понять? Во всяком случае, меня никогда не порют. А Ляпкина Маленького порют. Хотя он называет отца только «папа». Что лучше по-вашему? Когда называют отца «папа» и он тебя порет или когда его называют Иосиф и он тебя не порет? Вот то-то и оно!

У нас с отцом совсем особые отношения. Товарищеские. А с «Иосифом» у нас была целая история. Не просто же так, ни с того ни с сего, стал я звать его Иосифом. Тут секрет! Сейчас я вас расскажу.

Один раз я слышал, как мама читала отцу стихи. Вот с этими стихами и случилась история. Стихи написал один известный поэт, и — что самое интересное — его тоже звали Иосифом: этот поэт был Иосиф Уткин. Очень хорошие стихи он писал. В одном стихотворении у него такие строчки:

И, взгляд подслепый бросив,  
Старуха обмерла:

— Иосиф, ах, Иосиф!  
Я так тебя ждала!

Здорово, правда? Очень трогательные стихи! В этих стихах описывается, как одна мать ждала своего сына. Она очень долго его ждала, а он все не приходил. А она его очень любила; конечно, ей без него было плохо. Потому что она голодала. Трудное время было такое. Разруха, война и так далее. И сын был где-то далеко, кажется, на фронте. И вдруг он пришел! Вы представляете, какая радость была для матери? Она уже совсем было ослепла. Все свои глаза слезами выплакала. И вдруг он приходит! Вот тут она и сказала ему:

— Иосиф, ах, Иосиф!  
Я так тебя ждала!

Эти стихи я сразу запомнил. Хотя я их вовсе не заучивал, один раз только слышал, как мама читала. Стихи мне очень понравились! Во-первых, потому, что это трогательные стихи. А во-вторых, вы догадываетесь, почему? Потому что там сказано «Иосиф»! Так тепло сказано. Хотя Иосиф там вовсе не отец, а сын. Совсем наоборот! Но не в этом дело.

Дело в том, что я эти стихи один раз здорово прочитал...

Я вам уже говорил, что мой отец всегда поздно приходил с работы. Мы с мамой к этому, в общем-то, привыкли. Хотя нам это и не очень нравилось. Но что поделаешь, раз у него такая работа! «Работа не волк, в лес она не убежит!» — говорит Иосиф. Она всегда рядом, и с ней приходится считаться. Вот если б она хогь разок убежала в лес...

Но один раз отец хотел прийти пораньше. Мы должны были с ним идти в кино. Мы давно хотели с ним пойти в кино, и все как-то не удавалось. А тут уж мы решили пойти твердо. Во что бы то ни стало! Вот я отца и ждал. Ждал долго-долго, весь день. А потом вечером, когда он должен был прийти. А он все не приходил. Уже давно ночь наступила, и я уже хотел спать



ложиться — как вдруг, представляете, он входит! Усталый и грустный. И тут я подошел к нему и говорю:

И, взгляд подслепый бросив,  
Старуха обмерла:  
— Иосиф, ах, Иосиф!  
Я так тебя ждала!

Вот это был номер! Он сразу схватил меня в охапку, закинул на спину и стал катать по комнате на спине! И хохотал! И я хохотал! И мама хохотала! Мы все хохотали! До глубокой ночи!

В тот вечер мы должны были идти в кино в клуб ВЦИКа, мы об этом давно мечтали, и кино должно было быть замечательным, но мы не пошли в кино! Потому что было уже поздно! Это во-первых! А во-вторых, мы в этот момент вдруг забыли про кино! Мы просто сидели, пили чай и хохотали! И так, смеясь, легли спать.

А всего-то стихи были в этом виноваты! Вот что могут сделать с человеком стихи! Конечно, если они талантливые. И если их вовремя вспомнить. Вспомнить к месту.

И еще я хочу сказать, что, если вам что-либо не удастся, унывать не стоит. От этого будет только хуже. Из любой неприятности можно найти выход — выход в веселье. Если быть остроумным человеком. И если любить стихи.

## ВТОРОЕ ПИСЬМО ВОРОВСКОМУ

**Н**а другое утро я пошел и проверил, где мое письмо, которое я написал Воровскому... Письма на месте не было! Значит, он его взял и прочел! Вот что интересно!

Я посмотрел на Воровского, и он мне подмигнул, честное слово! Хотя сам он стоял с таким видом, как будто никакого письма не читал! Но это он нарочно делал такой вид, чтобы

никто не знал о нашей переписке. Это же ясно! Молодец, Воровский! И тогда я сразу побежал домой и написал ему еще одно письмо. Я написал:

«Дорогой товарищ Воровский! Хорошо, что ты прочитал мое письмо. Если тебе трудно, ты не отвечай. А я все равно буду писать. Часто. Чтоб тебе было веселей. Чтоб ты знал, что у нас бывает. Вот Ляпкин дразнит немку «Гизи-дризи». И это плохо. Я Ляпкину сказал. Когда мы делали ковер на снегу, ее не хотели в игру взять. Говорят, что она девчонка. Ну и что же, что девчонка? Что тут плохого? А потом она гость. А гостя дразнить нельзя. Жалко, что я на кухне поскользнулся. Теперь не знаю, как быть. Мне очень хочется с ней играть. Но это секрет. До свидания. Юра».

Это письмо я тоже положил на пьедестал. Так, чтобы видел только Воровский, а больше никто.

## КРАСНАЯ ДЕВИЦА

**К**аждая глава всегда начинается с красной строки. То есть с большой буквы, немного отступя от края. Начнешь с красной строки и жмешь до конца. Пока не сказал все, о чем хотел сказать. Так же я буду писать и эту главу. И все-таки эта глава особенная: я начинаю ее с красной строки, чтобы поговорить обо всем красном.

Какой цвет самый лучший? Ясно, что красный! Это я так считаю. И не только я. Мой отец так считал. И мама. И все их друзья. И мои друзья тоже — Вовка, например. И Гизи. И еще тысячи и миллионы других людей. Может быть, кто-нибудь скажет, что красный цвет не самый лучший? Вполне это допускаю. Допускаю, что где-нибудь на другом конце земли в почете какой-нибудь другой цвет. Но у нас, у русских, всегда в почете был именно красный цвет.

Красным наш народ всегда называл все самое лучшее — так повелось с древнейших времен. Недаром солнышко в сказке всегда называлось не желтым или оранжевым, а именно красным. Хотя красным оно бывает только на восходе, или на закате, или в сильный мороз. А в сказке оно всегда красное. И про хорошего человека там всегда говорится: он как красное солнышко!

А красная изба? Так всегда называлась самая красивая изба. Не какая-нибудь там халупка, а изба светлая, чистая, с трубой, с изразцовой печкой и резными нарядными окнами. И самое почетное место в избе всегда называлось красный угол. Туда сажали почетного гостя. И окна, которые смотрят на восход, всегда назывались красными окнами. И в палисаднике лавочка под этими окнами всегда называлась красной. И парадное крыльцо называлось красное крыльцо... Да все, все самое лучшее всегда называлось в нашем языке красным! Красное дерево, красный товар, красное настроение.

С красным цветом у нас были всегда исключительные отношения. Но особенно почетным стал у нас красный цвет в начале века. Когда рабочие и крестьяне стали подниматься на борьбу с царем, когда они впервые вышли на улицу с красным флагом. А после Великой Октябрьской революции, когда рабочие и крестьяне победили, красный цвет стал у нас самым главным: он стал государственным цветом!

Посмотрите только, какое важное место занимает красный цвет в нашей жизни! Наше знамя — красное, и самый наш старый боевой орден называется орденом Красного Знамени, и пионерский галстук — красный, и октябрятский значок... Вот какую популярность приобрел у нас красный цвет!

Вы видите, что все это не случайно. Так получилось потому, что в красном цвете наше героическое прошлое и светлое будущее. Здесь и вековая любовь нашего народа к красному цвету. И память о пролитой крови миллионов народных борцов. И наша цель — коммунизм. И еще так потому, что без красного цвета нет жизни: это доказала наука.

Слово «красный» — очень богатое слово. В нем много оттенков. И много старинных выражений, поговорок связано с этим словом.

Говорят, например: «Рыжий да красный — человек опасный!» Ну, в отношении рыжего это я так понимаю, что в шутку говорится. Ибо какой же он, рыжий, — опасный человек! И вовсе не опаснее черного! Вот Вовка, например, был рыжий, и вовсе он был не опасный, а мой друг! Ляпкин был коричневым, и куда опаснее. Тут рыжему попало просто ради шутки, ради красного словца. Ведь говорят же: «Ради красного словца не пожалел родного отца!» Это надо понимать в том смысле, что шутки иногда бывают незаслуженными. Начнет кто-нибудь шутить не подумав, просто так — шутит ради шутки, языком болтает, может быть, и красиво, да не по существу. Глядь — человека обидит, да не кого-нибудь, а родного отца! Это уж никуда не годится! Вот я и считаю, что рыжего в данном случае обидели незаслуженно. Просто эта поговорка раньше считалась шутливой, потому что в ней принимался в расчет только цвет волос, а не цвет *убеждений*. Но в наше время, если откинуть рыжего, если сказать «красный — человек опасный», эта поговорка уже звучит серьезно! Почему? Да потому, что красный, конечно, человек опасный! Вопрос только — для кого? Для белых он опасный, вот для кого! Недаром фашисты — самые уж белые из белых — так ненавидят красных, то есть нас! Наколотили мы им когда-то, в свое время! И еще наколотим, если они попробуют поднять голову!

Так что красный — человек опасный! Это уж точно. Спросите любого белого, и он вам это подтвердит. А для честных людей всего мира красный цвет вовсе не опасный. Наоборот! Они его любят и чтут и знают за что: за то же самое, за что любим и чтим его мы с вами. Так оно было в моем детстве и осталось до сих пор, даже если мы об этом иногда и не говорим.

Да, но при чем же здесь «красная девица»? — спросите вы. Дело в том, что это тоже старинное русское выражение, связанное со словом «красный». И еще это выражение связано с этой

повестью, со всем, что я вам сейчас рассказываю. Это связано с Гизи! Да, да! Гизи вполне можно было назвать красной девицей — во всех отношениях. И потому, что она была красивой, — это раз! И потому, что она была наша красная маленькая коммунистка, из такой же красной семьи, как я, — это два! Ее семья была семьей немецких коммунистов, а моя семья — семья русских коммунистов. Но не в этом дело. Все это связано с Гизи не потому, что *она* была красной девицей, а потому, что красной девицей был я!

Вы спрашиваете, как может мальчик быть красной девицей? Дело в том, что это выражение применяют не только к девочкам, но и к мальчикам. Даже к мужчинам его можно применять. К девочкам и женщинам его применяют в хорошем смысле. В том смысле, в каком я его только что применил к Гизи. А вот к нашему брату его применяют совсем в другом смысле. Сейчас я вам поясню это на примере...

Мы с мамой ходили в магазин на Кузнецкий мост, а когда вернулись и вошли во двор, он был пуст и тих. Только Памятник Воровскому задумчиво стоял в середине. Вовка еще в школе сидел, а Ляпкин Маленький неизвестно где сидел. Мы медленно шли через двор — у мамы была тяжелая сумка; скрип-скрип! — похрустывал под ногами снег.

И вдруг я увидел — вышла Гизи из парадного! «Вышла, вышла, вышла!» — скрипел снег под ногами. Да я и сам вижу, что вышла! Я вспомнил свой тот позорный случай на кухне, как я поскользнулся с лотком на голове. И сделал вид, что не вижу, как Гизи идет по двору с лопаткой в руке.

Мама останавливается; скрип! — смолкает снег.

— Юра! Посмотри! Вон Гизи вышла! — говорит мама.

— Где? — Я нарочно смотрю в другую сторону.

— Да не туда смотришь! — тянет меня за руку мама. —

Вон, видишь?

— Вижу...

— Пойди с ней поиграй!

— Не хочу я...

— Почему?

— Так...

— Что это за «так»? Ничего не бывает «так»... Просто стесняешься ты, как красная девица!

Ну вот! Вот мама и сказала эти слова! Понимаете, в каком смысле она это сказала? Это было, конечно, очень неприятно!

— Вовсе я не красная девица!

— Тогда подойди!

— Не хочу я!

— Ну, как знаешь! — сказала мама. — Будь красной девицей...

Краем глаза я смотрел на Гизи — она разгребала лопаткой снег...

Я нарочно сказал, что не хочу к ней подойти. Я очень хотел подойти! Неплохо бы построить с ней какую-нибудь крепость. Но оттого, что мне очень хотелось подойти, я еще больше не мог подойти! Понимаете? Разве с вами такого не случилось? Конечно, случилось!

И тут вдруг выскочила эта сумасшедшая собачка! Собачка выскочила из-за угла, постояла секунду как вкопанная, покосилась на нас, а потом вдруг кинулась с лаем на Гизи! Я знал эту собачку — она часто гуляла у нас во дворе со своей старушкой хозяйкой; она была очень глупая, часто лаяла ни с того ни с сего, вот как сейчас. Не старушка, конечно, а собачка. Наверное, она увидела, что Гизи новый в нашем дворе человек, вот и кинулась сдурить на Гизи.

Гизи испугалась. Хотя эта собачка была совсем маленькая, но очень уж свирепая: вся лохматая, с нависшими на глаза космами грязно-белых волос, как фурия какая-нибудь, с налитыми кровью глазками... Что такое фурия? Фурия — это ведьма. Я всегда звал эту собачку «фурия», хотя на самом деле ее звали Жужу.

Эта фурия накинулась на Гизи с вытаращенными глазами, оскаленными зубами, брызгая слюной, как сумасшедшая! Она

уже схватила Гизи за пальто! И никто не приходил Гизи на помощь! И тут я пришел ей на помощь! Я подбежал сзади к Гизи, выхватил у нее лопату и хлопнул фурию по лохматому мягкому месту! Она взвизгнула и помчалась в сторону. Весь ее пыл сразу пропал!

— Пшла отсюдава! — взмахнул я лопатой. — Пшла!

— Эй, мальчишка! Ты что обижаешь собаку? — Это кричала хозяйка Жужу, семенившая к нам через двор.

— Пусть ваша собака не нападает на детей! — сказала мама.

Я посмотрел на Гизи... Она мне улыбалась! Улыбалась своей особенной немецкой улыбкой, которую я видел первый раз. Вот так мы с Гизи и познакомились. И я доказал, что я не красная девица! Если я и был красной девицей, то очень недолго.

### ТРЕТЬЕ ПИСЬМО ВОРОВСКОМУ

**Т**ак мы стали с Гизи друзьями — наконец-то! Мама сказала, что это для меня очень полезно — общаться с Гизи, — потому что она в совершенстве знает немецкий. Разговаривая с ней, я могу совершенствоваться в немецком языке. А еще полезно общаться с ней просто так, потому что она девочка. Нельзя же все время играть только с мальчишками. «Это значит быть одноклассником», — сказала мама. А я не хочу быть одноклассником. Девочки — это совсем особый мир, я уже вам это доказывал, и надо с этим миром общаться. У девочек можно многому научиться. Аккуратности, например. И еще многому, о чем вы даже не подозреваете. Особенно если это девочка из другой страны. Это особенно интересно.

И все же я часто оставался одноклассником — все так же гулял во дворе с Воровским. С Гизи я играл в основном дома. Потому что ей нельзя было много гулять — она часто простужалась.

К нашей суровой зиме она привыкала медленно. Гизину маму пугали наши морозы — в Германии ведь нет такой зимы. К тому же Гизи была очень слабой, мама и старалась ее держать побольше дома. А я наоборот — почти все время гулял. В любую погоду — нам с Воровским все было нипочем!

И переписка моя с Воровским шла вовсю! Правда, это была какая-то односторонняя переписка, потому что писал все я, а он не отвечал. Но я на него не обижался, хотя мне приятно было бы получить от него письмо. Мне очень хотелось с ним поговорить, письменно, если уж нельзя с глазу на глаз. Ведь он может рассказать много! Как он делал революцию, как воевал с фашистами за границей, как его убили... Все это мне мама рассказывала и отец рассказывал, но хотелось бы все это услышать от Воровского самого. Из первых уст. Из первых уст всегда интереснее. Но он не пишет и ничего не говорит!

Зато он мне иногда подмигивает, когда я на него долго смотрю. Особенно во время снегопада. Кто его знает — может быть, он когда-нибудь и напишет. Или сам зайдет. Раз уж он умеет перемигиваться...

А пока уж, так и быть, пишу ему я. На днях я ему опять написал письмо:

«Дорогой Воровский! Сегодня ночью я летал — высоко-высоко, над морозной Москвой. Она вся была в синей дымке, в инее, и наш дом был в инее, и ты... Я сам тоже был в инее, но мне было тепло! Я ведь тоже закален, как и ты, и морозов не боюсь. Мы, русские, люди закаленные. А вот Гизи не закаленная: она морозов боится. Но это и понятно: она немка и нездорова. Она и приехала-то к нам в СССР лечиться. Гизи всегда грустная, потому что думает о своем папе, который остался в Германии. Он там делает революцию, как и ты делал. Потому что он пролетарий. Он за нас. А мы за него. Жаль только, что мы не можем ему помочь революцию делать. Мы-то у себя сделали, а они должны у себя делать. Каждый должен делать сам, сказал Иосиф. Мы им, конечно, немножко помогаем. А сейчас я должен Гизи помогать. Чтобы она веселая была.



Играть с ней. И все ей дарить. Все, что захочет. Любую игрушку, даже самую дорогую. Ну, пока! Сейчас я пойду с Гизи играть, а то она там что-то плачет в своей комнате. Юра».

## РАЗГОВОР О СЕРЕДИНЕ

**В** небе над Москвой уже несколько дней живут облака. Солнце теперь не видно, зато стало тепло. И Гизи стала больше гулять.

Я вышел вместе с ней во двор. Ляпкин Маленький был уже там. Снег всюду сыпал с неба большими пушистыми хлопьями, весь воздух был полон падающих хлопьев, и в середине этой метели стоял облепленный снегом Памятник Воровскому, и Ляпкин Маленький ходил вокруг него на лыжах. Потому что Ляпкину купили новые лыжи.

Метель была густая-густая. Крупные снежинки сразу липли на лицо и таяли. И Москва вдали, позади Памятника Воровскому, тоже таяла. Таяла, но не растаивала. Как на киноэкране. Очень было красиво! Я очень люблю метель!

Я сразу сказал Гизи:

— Schau, ein russischer Schneesturm!

Я ей по-немецки сказал. По-немецки «метель» называется «снежный шторм». Потому что снежинки тогда штурмуют землю. Как маленькие парашютисты.

Гизи посмотрела, прищурившись, вверх, и на ее ресницы сразу сели три снежинки. У нее очень длинные ресницы, у Гизи. И в рот ей влетела снежинка.

— O! — сказала Гизи.— Frau Holle schüttelt ihre Betten!

Она это очень интересно сказала, я никогда не слыхал. Это в переводе значит: «Тетя Метелица выбивает свои перины». Но Гизи не сказала «тетя», то есть «Tante», она сказала «Frau», то есть «женщина». Так по-немецки обращаются к женщине.

Когда у нас обращаются к женщине, допустим к какой-нибудь Ивановой, то говорят «гражданка Иванова». А немцы бы сказали «Frau Iwanowa». Но сказать «женщина Метелица» или «гражданка Метелица» — звучит как-то неуклюже. Потому я перевел вам «тетя Метелица». Хотя она нам никакая не тетя. Какая она нам тетя? Смешно!

Я спросил у Гизи: почему Метелица выбивает перины? И какие перины? А Гизи сказала, что Метелица, которая живет на небе, иногда делает у себя уборку. И тогда она взбивает толстые перины, на которых спит. Потому что она любит спать на толстых, мягких перинах. Она вообще любит поспать. И когда она спит, на земле никакого снегопада нет. А когда она делает уборку и взбивает свои перины, на нас сыплется снег. Вроде пуха. Ведь человеческие перины набивают пухом, и когда их взбивают, из них сыплется пух. А Метелица набивает свои перины снегом, и из них сыплется снег. Знаете, какие у нее перины? Облака у нее перины, вот что! Потому что она спит на облаках! Там у себя — в небе...

Я спросил Гизи:

— Wer hat dir das gesagt? (То есть: «Кто тебе это сказал?»)

А Гизи в ответ улыбнулась.

— Mein kleiner Finger hat es mir gesagt! — сказала она. (То есть: «Мой мизинец мне это сказал!»)

Как вам это нравится? Хитрая все-таки Гизи! Здорово она умеет сказать. Но я тоже здорово могу сказать. Если захочу.

Мы с ней медленно шли по двору, ловя ртом снежинки, которые все падали и падали, залепляя все кругом: и Памятник Воровскому в середине, и Ляпкина Маленького, который неуклюже ходил вокруг на своих новеньких лыжах.

Я показал пальцем на Ляпкина и спросил Гизи:

— Du denkst er ist in der Mitte? (То есть: «Ты думаешь, он в середине?»)

А Гизи сказала:

— Man soll nicht mit dem Finger zeigen! (То есть: «Нельзя показывать пальцем!»)

— Warum? («Почему?») — спросил я.

— Дагит,— ответила Гизи.— Es ist nicht schön! (То есть: «Потому! Это некрасиво!»)

Почему некрасиво? Странно! Но Гизи объяснила, что показывать на что-нибудь пальцем некрасиво. Надо показывать глазами, поворотом головы, в крайнем случае просто рукой, но не пальцем. Это невоспитанно.

И тогда я показал в сторону ходившего на лыжах Ляпкина головой и спросил:

— Ты думаешь, он в середине?

Гизи посмотрела на меня с удивлением: в какой середине?

— В середине двора? Конечно, в середине! — сказала она.

— А вот и нет,— сказал я.— А вот и нет! Ляпкин не в середине, и даже Воровский не в середине!

— Warum? — спросила Гизи, и я ответил ей:

— Дагит.

Надеюсь, вы уже запомнили, что значит «Warum — Дагит», я не буду вам больше этого объяснять. Что я раз объяснил, я повторять не буду. А вы запоминайте. Таким образом, прочтя эту книгу до конца, вы уже кое-что будете знать по-немецки.

Итак, я сказал ей «Дагит» и хитро на нее посмотрел.

— Это мы в середине,— сказал я.— Wir sind in der Mitte.

Она не поняла, как это — «мы в середине», когда мы стоим с краю двора, возле стены, а Ляпкин — возле Памятника, в середине двора. Она подумала, что это я так болтаю. Но я вовсе не болтаю. Я ей открыл секрет: что я *всегда в середине, где бы я ни был!* Вот что интересно! И это не важно, где я стою — у Памятника или возле стенки,— *все равно я в середине!* А все остальное — дома, памятники, люди, лошади, собаки, деревья — все вертится вокруг меня!

— Понимаешь? — спросил я.

И Гизи кивнула. И я ей сказал:

— А сейчас мы с тобой оба в середине!

И Гизи опять кивнула.

Но я сказал, что лучше всего это видно не в городе, а на

даче. В чистом поле это хорошо видно. Я спросил ее, видела ли она когда-нибудь горизонт в чистом поле? И Гизи сказала, что не видела. Я даже удивился: не видела горизонта!

— Никогда-никогда-никогда? — спросил я.

И Гизи сказала, что один раз она немножко видела горизонт у себя в Берлине, между домами и фабриками — ма-аленький кусочек... Мне ее даже жалко стало — не видеть горизонта! Это же очень плохо!

— А на море ты видела горизонт? — спросил я.

На море лучше всего видно горизонт, я в прошлом году был с мамой на море, и мы видели горизонт, и даже не с берега, *а с корабля!* Мы с мамой там плыли на корабле, все время плыли по морю, все дальше и дальше, и этот круг, горизонт то есть, все время передвигался за нами, куда бы мы ни поплыли — к берегу или от берега, — и мы все время были в середине этого круга. А все люди, которые ехали с нами на корабле, были сбоку, вокруг нас: конечно, близко к середине, но не в самой середине. В самой середине круга *всегда были я и мама! Только я и мама!*

А Гизи сказала, что она никогда не видела моря. У них в Германии тоже есть море, и туда можно поехать, но это стоит очень дорого, туда ездят только богатые, а ее папа рабочий, и мама у нее тоже рабочая — она работала на швейной фабрике, а потом Гизин папа стал безработным, — куда уж тут ехать на море! Для этого надо слишком много денег. И поэтому она никогда не видела моря. И на даче она никогда не была. Она все время жила в городе и родилась в городе, в Берлине, никуда не выезжала. Вот только первый раз приехала в СССР. И то это им МОПР помог. Если б не МОПР, они бы с мамой не приехали, у них не хватило бы денег. А я спросил ее, кто такой этот МОПР? Что это — такой богатый человек, да? И Гизи рассмеялась. Оказывается, что это вовсе не человек, этот МОПР, хоть он и богатый, — это много людей, целые тысячи, даже миллионы, потому что это такая организация — МОПР: это Международная организация помощи революци-

онерам. Вот что это такое! Все члены этой организации собирают деньги в одну общую кассу, кто сколько может. Гизины мама и папа тоже члены МОПРа, они тоже платят туда деньги, но совсем немножко, копейки, то есть пфенниги, потому что у них в Германии не копейки, а пфенниги, и на эти пфенниги они и приехали в СССР. То есть не на эти самые пфенниги, которые они отдали в МОПР, а на много пфеннигов, и копеек, и пенсов, и других иностранных денег, которые собирали члены МОПРа. Все это Гизи мне интересно рассказала.

А я опять рассказал ей про *горизонт*. Я сказал, что на даче тоже можно видеть круг горизонта, особенно в чистом поле.

— Ты хочешь видеть горизонт в чистом поле? — спросил я Гизи.

И она сказала, что хочет. Тогда я сказал, что скажу маме и отцу скажу, и ее обязательно возьмут, и никаких денег платить не надо, никаких пфеннигов, просто мы ее пригласим, и все. И Гизи сказала:

— Danke! (Это значит: «Спасибо!»)

Разговаривая, мы с Гизи незаметно подошли к Ляпкину. Он все ходил на своих лыжах вокруг Памятника. Он двигался еле-еле, широко расставив ноги, и пыхтел, то есть сопел. Доказав еще раз, что он Сопелкин. И страшно воображал. Из-за своих лыж. Он стал весь красный.

Когда мы подошли, Ляпкин остановился и посмотрел на нас.

— А у меня лыжи! — сказал он.

Но я это пропустил мимо ушей. Гизи все равно не поняла, и я не стал ей этого переводить. Я это пропустил мимо ушей, а сам сразу его *огорошил*... Думаете, я насыпал на него горох? Вовсе нет! Зачем мне сыпать на него горох, когда я его и так огорошил, безо всякого гороха.

— Вот ты тут ходишь и думаешь — ты в середине? — спросил я его.

— Как — в середине? В какой? — переспросил он.

— Ну, в середине! Как ты не понимаешь! Вот ты скажи: ты в середине двора?

Ляпкин неуверенно посмотрел вокруг, потом на Памятник Воровскому, потом на нас.

— Да,— сказал он.

— Ну, а вообще? — спросил я ехидно.

Гизи смотрела и слушала.

— Как — вообще? — спросил Ляпкин.

— Эх, ты! Не понимаешь! В середине ли ты горизонта — вот что!

Ляпкин смотрел на меня, моргая. Он совсем растерялся.

— Эх, ты! — сказал я опять.— Ну, скажи вот что: в середине ты земли или нет?

— А ты? — спросил Ляпкин.

— Я в середине! — сказал я.

— Почему?

— Потому что я всегда в середине!

— Тогда я тоже в середине! — сказал вдруг Ляпкин.

Я расхохотался:

— Это ты? Ты-то в середине? В какой ты середине?

— В середине двора,— сказал Ляпкин.

Я опять расхохотался.

— Не понимаешь ты! — сказал я.— Ты в середине двора, а я *вообще в середине!* Понимаешь? *Вообще!* Я в середине всей земли! Всего мира! И Гизи со мной в середине! А ты сбоку!

— Почему я сбоку? — обиделся Ляпкин.— Я тоже в середине.

— Это ты сейчас в середине, потому что мы к тебе подошли! И все равно ты немножко сбоку, потому что рядом. А когда мы с Гизи отойдем, ты будешь совсем сбоку! Сбоку припека!

— Нет, в середине! — сказал Ляпкин.— Я тоже.

— Нет, сбоку припека!

— В середине!

— Сбоку припека!

— В середине!

— Сбоку припека...

Мы могли бы еще долго спорить. Но Гизи нас перебила.

— Was ist los? (То есть: «В чем дело?») — спросила она. Я ей объяснил, в чем дело.

— Ach, lass ihn! — сказала Гизи. — Er ist ein Dickkopf! (То есть: «Ах, оставь его! Он толстоголовый!»)

— Как? — спросил я. — Толстоголовый? — и посмотрел на Ляпкина: у него действительно была толстая голова.

Но Гизи сказала, что «толстоголовый» — это значит «глупый», который ничего не понимает. Так в Германии говорят. Я засмеялся. Я сказал Ляпкину:

— Ты толстоголовый!

И мы отошли.

Мы шли в сторону, а снег все сыпал и сыпал, и Ляпкин все смотрел сквозь снег в нашу сторону, а потом опять продолжил свой долгий путь вокруг Памятника на лыжах.

У Гизи была лопата в руках; она шла, подбрасывая лопатой снег, и вдруг сказала:

— Wollen wir ein Haus bauen. (То есть: «Давай строить дом».)

— Давай! — сказал я, побежал домой и принес лопату.

И мы стали строить из снега дом. Снегу было много, повсюду во дворе сыпал снег и лежал слой снега, а по краям еще и стояли сугробы. Мы выбрали большой сугроб и стали его обрабатывать.

Липкий снег хорошо обрабатывается. Из него можно высокую башню построить, и она не развалится. Но мы строили не башню. Мы строили такой эскимосский дом, в котором на Севере эскимосы живут, — я в книге видел. В таком доме даже тепло, даром что он из снега. Гизи тоже слышала про эскимосские дома. Оказывается, эскимосы в Германии известны.

Гизи сказала, что мы будем два эскимоса: муж и жена. Только это секрет. Чтоб никто не знал. И я согласился. Мы стали быстро строить. Работы хватало! Гизи обрабатывала стены и крышу, а я в сугроб вкапывался. Чтоб можно было влезать. А то что это за дом, если в него нельзя влезать!

Ляпкин сошел со своих лыж, взял их под мышку и подошел к нам — смотреть, как мы строим. Он смотрел и сопел.

— Я тоже хочу делать дом, — сказал вдруг Ляпкин.

— Ты не сможешь! — возразил я. — И у тебя лопаты нет!

— Я буду лыжей копать!

— Не сможешь ты лыжей копать!

И Ляпкин стал совсем грустный.

Я объяснил Гизи, чего он хочет, и Гизи сказала:

— Пусть!

Пусть он будет наш сын. И копает с нами. У эскимосов дети всегда с родителями копают.

Я не очень хотел, чтоб он был наш сын, но уж ладно. Раз Гизи так хочет.

— Ты хочешь быть наш сын? — спросил я. — Тогда будешь копать!

— Хочу! — повеселел Ляпкин.

— Ты должен ее звать «мутти», а меня «фати» — это по-немецки, — сказал я. — Потому мы твои мать и отец!

— Ладно, — сказал Ляпкин.

— Скажи: «Ладно, фати».

И Ляпкин сказал:

— Ладно, фати.

И я ему дал свою лопату, чтобы он снег отгребал. Сам я лыжей вкапывался внутрь дома. А Гизи стала окна прокапывать. Работа у нас пошла быстро. Замечательно пошла работа! Только кончилась она не замечательно, вот что. Но это все сын был виноват. Недаром я не хотел его в сыновья брать.

Скоро дом был готов. Круглый дом с двумя окнами. И с трубой! Трубу, конечно, я сделал. А Гизи сделала окна. А Ляпкин снег отгребал, а потом стены обтесывал. А потом мы с Гизи туда залезли. А для Ляпкина места не хватило. Но ведь это не страшно, правда? Сын ведь может и на улице погулять. Ему полезно. Я ему так и сказал. Я сказал, что завтра мы дом расширим, и тогда он сможет в нем сидеть сколько хочет. А он хотел сейчас залезть в дом.



— Я хочу сейчас залезть! — сказал он.

— Ты же сын и должен слушаться родителей! — сказал я.

— Я хочу в дом! — захныкал Ляпкин.

— Скажи: «Фати и мутти, я хочу домой!»

— Фати и мутти, я хочу домой! — захныкал Ляпкин.

— Погуляй немножко, сынок! — сказал я. — Тебе полезно воздухом подышать!

— Я не хочу дышать! — топнул ногой Ляпкин. — Хочу в дом! — и заплакал.

— Er ist ja mit einer Träne im Knopfloch! — сказала Гизи. (Это значит: «Он со слезой в петлице». Так говорят про человека, который сразу плачет.)

— Lass das Kind herein, Fati! — сказала Гизи.

— Ну ладно, ребеночек! — сказал я, вылезая. — Иди посиди немножко!

— Я не ребеночек! — сказал Ляпкин.

Он полез в дом и надулся, упершись головой в стенку.

— Ты не упираться в стенку-то! — сказал я.

А он еще больше уперся!

— Что ты за сын такой непослушный! — сказал я. — Сломаеть стенку! Говорят тебе: нагнись!

— Я не сын! — сказал Ляпкин. — И стенка моя! Я делал стенку!

— Как — твоя? Это мы вместе делали — значит, общая!

— Нет, моя! — крикнул Ляпкин.

Он так уперся головой в стенку, что она рухнула! Весь дом рухнул! Ляпкин выскочил из сугроба весь в снегу и сразу побежал прочь. Побоялся, что я его стукну.

Я помог Гизи выбраться и отряхнул с нее снег. Ну, скажите: разве можно такого человека, как Ляпкин, в сыновья брать? Разве он может быть настоящим сыном? Не может! Мелкий собственник он, а не сын! Вот что! И я отшвырнул ногой его лыжу.

## ЧЕТВЕРТОЕ ПИСЬМО ВОРОВСКОМУ

**Я** опять написал Воровскому. Потому что у нас был дома очень важный разговор. Об этом обязательно надо было написать Воровскому. Вот я ему и написал:

«Дорогой товарищ Воровский! Я должен тебе сказать, что скоро будет социализм. Социализм — это наша будущая жизнь. Так мне Вовка объяснил. Жалко, что ты умер и не сможешь в ней жить. Это будет очень хорошая жизнь. При социализме будут машины работать, сказал Вовка. Ну, и мы немножко, конечно, будем. То, что нам хочется. Рисовать, например, будем. И танцевать. И в кино ходить. И в театр. И рыбу все будем ловить. И все будут стихи писать. Все будут грамотные. И сытые — никаких карточек не будет. В магазинах будет всего полно — бери сколько хочешь. И мяса, и масла, и конфет, и пирожных. Но это не главное. Главное, что все будут друзья. Человек человеку будет не как волк. Все будут ко всем хорошо относиться. Друг другу помогать. И всем делиться. И никто ругаться не будет. Таких, как Ляпкин, тогда не будет. Чтобы вместе строить дом, а потом ломать. Хотя Ляпкин, конечно, не совсем виноват. Он просто глупый. И маленький. Мне его даже немножко жалко. Если он и дальше будет таким, его в социализм не пустят. Я ему сказал. А он говорит: «Ну и пусть!» Дуралей какой-то! Где он будет жить, когда настанет социализм, я просто не знаю. Ну, пока! Юра».

## РЫБИЙ ЖИР

**В**ы, наверное, не знаете, что я лучше всех умею пить рыбий жир? Ну так вот, я вам это говорю: я лучше всех умею пить рыбий жир! Уж не знаю, почему так.

Наверно, у меня такой талант. Так мама говорит. Но дело не в этом. Никогда не надо хвалиться. Я и не хважусь. Просто я умею его пить! Он мне даже нравится. А Гизи он не нравится. А ей-то как раз очень надо его пить. Ей просто нельзя без рыбьего жира, потому что у нее чахотка. Это такая болезнь, которой Гизи заболела в Германии. Потому что, когда она родилась, им нечего было есть: ей, ее маме и папе. Они очень бедно жили там, в Германии. Ее папа коммунист-подпольщик, он был тогда безработным. Потому Гизи и выглядит как фарфоровая. Это, конечно, красиво, но плохо: это говорит о том, что человек нездоров. Гизи надо вылечить, и мы ее обязательно вылечим. Для того она и приехала в СССР, чтобы вылечиться. Гизи должна не только к врачам ходить — она должна хорошо есть. Она должна есть масло и разные жиры и особенно пить рыбий жир — это главное! В этом-то все и дело. И тут большая ответственность лежит на мне. Потому что это я должен научить Гизи пить рыбий жир. Так мама придумала. Моя мама здорово придумывает разные такие вещи. Мы с мамой даже разработали план, как я научу Гизи пить рыбий жир. Это надо делать очень тонко, сказала мама, дипломатически... Вы знаете, что значит делать что-нибудь дипломатически? Дипломатически — это значит вежливо, осторожно. Сделать все ловко, так, чтобы никто ничего не заметил, а все получилось как надо! Можно, конечно, просто подойти к человеку и сказать ему: «Пей рыбий жир! А ну, пей!» — и силком влить ему этот рыбий жир в рот. Можно ему даже руки связать, для верности. Но это уже будет недипломатично! Это будет просто грубо, как говорится — в лоб! А такие вещи нельзя делать «в лоб», так вы ничего не добьетесь. Человек просто выплюнет этот рыбий жир, и все! А если он его и проглотит, то еще пуще возненавидит. Нет, так делать нельзя! Недаром мы наркоминдельцы, сказала мама. Все наркоминдельцы должны быть дипломатами. Как отец. Он ведь дипломат, мой отец. И я дипломат. О, я еще какой дипломат! Сейчас вы увидите...

Когда я и мама разработали план, мы пригласили Гизи

в гости. Гизину маму мы не пригласили, хотя она знала про наш план. Но ее нельзя было приглашать — это опять было бы недипломатично. О, это очень сложная вещь — дипломатия, сразу в ней ничего не поймешь. Мы пригласили Гизи одну. Когда она пришла, у нас были очень хитрые лица, но она ничего не заметила.

Она сразу подошла к моим игрушкам, и мы стали играть. Мы взяли мою грузовую машину и насадили в кузов разных зверей: мишку, крокодила, обезьяну... Но они не были обезьянами и крокодилами — они были как будто людьми. Кукол-то у меня нет, вот в чем дело. Я же не девочка! Поэтому мы с Гизи посадили в машину разных зверей, и они поехали на парад. Гизи тянула их за веревочку.

У нас большая комната — одна, но большая. В ней даже есть камин. Очень красивый камин, выложенный темно-зелеными плитками, с решеткой перед очагом и полкой наверху, на которой стоят разные статуэтки. Камин — это такая печь. Но мы камин не топим, вернее, очень редко его топим, раз в год. Потому что он нам, в общем-то, ни к чему. Нам просто некогда им заниматься. Мы ведь все заняты: отец, мама и я. Камин остался в этой комнате от старых времен, когда в ней жили какие-то бездельники. Они топили этот камин и сидели перед ним в креслах и пили пунш — это такой горячительный напиток. Если его выпьешь, то становится горячо. Я один раз попробовал пунш — чуть-чуть, один только глоточек — на Новый год, когда у нас были гости. Этот пунш горячий, как чай, и красный, как чай, его так и пьют горячим перед горящим камином. Но это было только один раз, в прошлом году, а так нам некогда заниматься разными там пуншами да каминами. Мы рабочие люди, сказал отец. И все-таки я нашел применение этому камину. Я сделал из него трибуну для парада. В камине стоял у меня народный комиссар и принимал парад. А перед камином на полу стояли оловянные солдатики, то есть красноармейцы, несколько полков. Потом подъехала Гизи с машиной. Парадом командовал я. Но мне было очень тяжело командовать парадом,

потому что я все время думал о другом... Вы сами понимаете, о чем я думал. О рыбьем жире я думал!

Мама сидела за столом и читала, но я видел, что она только как будто читала, на самом деле она тоже думала о рыбьем жире. Я это ясно видел, потому что мы с мамой все время перемигивались, имея в виду этот рыбий жир. Одна Гизи только ничего не знала, она только игру имела в виду. Когда она отвернулась к камину, я посмотрел на маму и кивнул головой. И мама кивнула головой. И тогда я встал и сказал громко:

— Эх, охота мне что-то выпить рыбий жир!

— Да ладно уж, играй,— сказала мама.— Потом выпьешь.

— Просто не могу,— сказал я.— Очень охота выпить!

Я это сказал и посмотрел на Гизи — что она скажет? Но она ничего не сказала. Она ползала по полу на коленках и катила впереди себя грузовик. Тогда я встал перед Гизи и опять повторил, глядя ей прямо в глаза:

— Так охота выпить рыбий жир! Просто ужас! Ты не хочешь?

Гизи посмотрела на меня с удивлением и сказала:

— Nein! Ich liebe ihn nicht! («Я его не люблю!») Отойди-ка с дороги...

— Ты просто не знаешь, какой у нас замечательный рыбий жир! — сказал я с восторгом.— Давай выпьем!

— Да отойди ты,— сказала Гизи.— Надоел ты со своим рыбьим жиром! Ich will nicht! («Не хочу!»)

«Дипломатичнее, дипломатичнее!» — подумал я, опять встал на ее пути и сказал:

— Ты просто не знаешь наш рыбий жир! У нас русский рыбий жир! А не какой-нибудь там немецкий!

— Он везде одинаковый,— сказала Гизи.

— Совсем не одинаковый! — крикнул я.— У нас с солью! И с черным хлебом! Давай выпьем немного! Подкрепимся!

— Nein,— сказала Гизи.

— Как хочешь,— сказал я.— Я хочу рыбий жир! Мама, дай мне скорей, я просто больше не могу.

Мама встала и взяла из шкафа бутылочку с рыбьим жиром.

— И большую ложку! Столовую!

Мама все приготовила, я взял в руки ложку, и мама налила мне полную ложку. Гизи перестала играть и смотрела на меня.

«Смотри! — думал я.— Сейчас и ты будешь пить рыбий жир! Против дипломатии не устоишь!»

Я взял в руку полную ложку рыбьего жира и торжественно его проглотил.

— Эх! — сказал я.— Замечательно вкусно!

Гизи смотрела на меня с изумлением.

Я облизнулся, причмокивая. Я стоял, гордо расставив ноги. Мама улыбалась.

— А ну-ка еще! — сказал я.— Хочу еще!

Мама налила вторую ложку. Я проглотил.

— Еще!

— Не хватит ли? — спросила мама.

— Еще! — заорал я.

Мама налила еще ложку. Я проглотил. На меня нашел какой-то дипломатический восторг. Я прямо весь сиял, и лицо у меня было измазано рыбьим жиром. Я это видел в зеркале шкафа. Я с аппетитом закусывал черным хлебом с солью. Гизи подошла ко мне, широко открыв от удивления рот.

— Дай-ка еще,— сказал я маме, но уже тише. Откровенно говоря, я был уже сыт, но — дипломатия...

— Я думаю, хватит,— сказала мама.— Может, Гизи попробует?

— Ни в коем случае! — сказал я.— Мне мало останется! Налей мне!

И тут произошло удивительное — Гизи робко кивнула головой! Да, да! Она кивнула головой в знак согласия! А я ее еще подзадорил, я сказал:

— Не давай ей! Зачем девочкам рыбий жир!

— Ну ладно,— сказала мама.— Не жадничай,— и налила пол-ложки для Гизи.

А я приготовил кусок хлеба с солью и, когда Гизи, зажмурившись, выпила, тут же подал ей хлеб...

— Ну как? Вкусно? — спросила мама.

И Гизи кивнула, улыбнувшись! Она жевала и улыбалась своей немецкой улыбкой.

Так она начала пить рыбий жир.

Правда, у меня после этого случая немного болел живот. Я перестарался. Но это пустяки. Главное — Гизи научилась пить рыбий жир! Цель была достигнута, а это самое главное.

Ну, что вы теперь скажете про мою дипломатию?

## ПЯТОЕ ПИСЬМО ВОРОВСКОМУ

**Я** стоял и смотрел на Воровского, а в кармане у меня было новое письмо. Я ждал, когда уйдет дворник Ахмет, который подметал снег вокруг пьедестала.

Когда он наконец ушел, я показал Воровскому письмо, помахав им в воздухе, и спрятал у пьедестала в снег. Это было очень важное письмо. Вот оно:

«Здравствуй дорогой Воровский! Я теперь настоящий дипломат, как и ты! Я заставил Гизи пить рыбий жир — не просто так заставил, а *дипломатически*! Я все подстроил так тонко, что она ничего не поняла: А сама теперь пьет рыбий жир! Она его большими ложками пьет, каждое утро. Мама сказала, что таким образом я сдал экзамен на дипломата... Но это еще не все: я еще стал членом МОПРа! Вот что важно! Вовка уже давно член МОПРа. Но Вовка пионер, они все мопровцы. А я не пионер. Я даже еще не октябренок. Вовка мне все время говорил, что я неорганизованный элемент. А теперь я тоже организованный. Не понарошку, а взаправду: отец записал меня

в МОПР и принес мне красную книжечку. Ты знаешь какую: членскую. По этой книжечке надо взносы платить — две копейки в месяц. Можно и больше, но меньше уж никак нельзя. Пока за меня отец платит, потому что я еще не зарабатываю. Когда я вырасту, я заработаю и свой долг отдам. И дальше буду сам платить. Зато теперь я помогаю революционерам всего мира. И их детям, таким, как Гизи. Чтобы они могли к нам в гости ездить. И лечиться. Вовка сказал, что это здорово. Теперь мы с ним в одной организации. А Ляпкин нет. Он не-организованный, потому что мал. За него даже платить нельзя, так он мал. А потом он может свою членскую книжку потерять. А я нет. Ну, до свидания! С коммунистическим приветом! Юра».

## ЧЕЙ ПАПА БОЛЬШЕ?

**М**ы стояли во дворе и разговаривали о том, каким большим может быть человек. Вовка, я и Ляпкин-Сопелкин, то есть Ляпкин Маленький. С чего мы начали этот разговор, я даже сам не знаю. Это, наверное, Вовка начал. А может, и не Вовка, а кто-нибудь из нас. Но не в этом дело. В общем, так получилось. Дело тут совсем не в том, кто начал, а в скандале, который из этого получился. Сначала никакого скандала не было. Мы очень мирно разговаривали. О том, каким большим может быть человек.

Дело в том, что человек может быть большим или маленьким не просто так, а с двух точек зрения. Это нам Вовка объяснил. А Вовке это в школе объяснили. А он пришел домой и сразу объяснил нам, чтобы не забыть. Потому что ведь потом можно и забыть. Всегда лучше что-нибудь знать втроем, чем одному. Один скорее забудет, а трое будут помнить в три раза дольше. Так вот: как смотреть на человека с двух точек зрения? Для этого вовсе не надо бегать по двору или лазить вверх и вниз



по лестнице. Вовсе не надо смотреть на человека сначала из одного угла двора, а потом из другого. Или сначала снизу, а потом с верхушки лестницы. Эти точки зрения вам ничего не дадут. Тут дело совсем в другом, объяснил Вовка. В том, *как* смотреть на человека, а не *откуда*. Те точки зрения, о которых Вовка говорил, находятся вовсе не на земле и не на лестнице, *а в тебе самом*, в твоём взгляде на вещи, в данном случае на человека. Можно стоять на одном месте — и все же смотреть на человека с *двух точек зрения*. С точки зрения *его величины в пространстве* и с точки зрения *его значения для других людей*. Человек, например, может быть очень большим с точки зрения величины в пространстве, и вместе с тем тот же человек может быть совсем маленьким с точки зрения его значения для других людей... И наоборот. Вот Суворов, например. Вы согласны, что он был большой человек? Большой полководец? А сам он в то же время был очень небольшого роста, худенький. Или взять нашего дворника Ахмета. Он очень высокого роста, в нем около двух метров. Просто великан! А на самом деле он вовсе не великан. Потому что он не имеет для других людей никакого такого особенного значения. Разве только в нашем дворе он имеет большое значение. Здесь он великан — в нашем дворе, да и то только среди нас, мальчишек. А выйди он со двора, и пропадет все его величие. Все только удивляться будут его росту. И всё. И никакого величия не увидят.

Вовка нам это очень понятно объяснил. Вовка объяснил, что с точки зрения *величины в пространстве* люди довольно мало отличаются друг от друга. Ну, один, например, весит десять кило, а другой сто. Это, конечно, разница, но не такая уж большая. От силы человек может весить около двухсот кило. А уж пятьсот он никак не может весить! И пять метров роста он тоже никак не может быть. Это ясно и не подлежит никакому сомнению. Тут вы просто должны согласиться. И не спорить. Да, я вижу, вы и не спорите. А вот с точки зрения *значения* — не только для меня, Вовки и Ляпкина Маленького, а для других людей, даже для целых народов, — с этой точки зрения человек

может быть *безграничен*! Вы понимаете? Вот что интересно! С точки зрения значения для других людей человек может быть очень и очень разным. Я вам сейчас перечислю, каким разным может быть человек, и вы удивитесь. Итак, слушайте:

**1. ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ БЫТЬ:** небольшой, малый, мелкий, микроскопический, миниатюрный, карликовый, кукольный, игрушечный, крохотный, малюсенький, махонький, чуточный — *и в то же время высокого роста!*

**2. ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ БЫТЬ:** значительный, большой, крупный, солидный, огромный, громадный, колоссальный, гигантский, исполинский, чудовищный, изрядный, почтенных размеров, громоздкий, неизмеримый, неохватный, циклопический, обширный, великий, величайший, грандиозный, титанический — *и в то же время очень маленького роста!*

Вот такие чудеса!

— Теперь вам понятно? — спросил Вовка.

Я сказал, что мне понятно.

А Ляпкин Маленький сказал:

— Мне понятно! Но все равно мой папа самый большой!

— Это то есть как? — спросил Вовка. — Твой папа, конечно, большой, но вовсе не такой уж значительный...

Дело в том, что у Ляпкина-Сопелкина папа высокий, почти как наш дворник Ахмет. Только еще толще.

— Очень просто! — сказал Ляпкин. — Мой папа большой и значительный, а у вас незначительные!

— Почему это незначительные? — дрогнувшим голосом спросил я.

Мне как-то стало неприятно.

— Незначительные, незначительные! — закричал Ляпкин. — У Юрки совсем незначительный, маленького роста, как клоп! А у Вовки папа портной — тоже незначительный!

Тут у меня прямо кровь прилила к голове! Мне стало так нехорошо-нехорошо, так обидно и за себя и за Вовку, я хотел что-то сказать, но задохнулся, шагнул на Ляпкина и толкнул его кулаком в грудь...

Но Вовка меня отстранил и сказал тихо:

— А ну-ка повтори: у кого отец клоп?

— У него! — ухмыльнулся Ляпкин-Сопелкин.

— А в нос не хочешь? — спросил Вовка.

— Дай! — сказал Ляпкин-Сопелкин. — Все равно кло...

Но «п» он сказать не успел: Вовка взял его за уши и хорошенько встряхнул. Ляпкин издал какой-то непонятный звук: «Хык!» Мы стояли и смотрели, что он дальше будет делать.

— Ма-а-а-а! Я ска-жу-жу-у-у! — заревел Ляпкин.

— Иди, иди! Скажи! — пригрозил Вовка. — Еще получишь!

Ляпкин стих, шмыгнул носом и вдруг сказал:

— А мой папа может ваших в тюрьму посадить!

Я от этих слов просто оторопел! А Вовка был спокоен.

— Слабó! — презрительно сказал он. — Потому что твой папа и есть та самая мизерная личность! *Микроскопическая!* И ты тоже! Понял?

Мы повернулись и пошли.

— Ты его не бойся! — сказал Вовка. — И всегда знай, что я за тебя! Понимаешь?

— Понимаю, — кивнул я. — А как его папа может наших в тюрьму посадить?

— Никак не может! — убежденно сказал Вовка. — Но об этом мы еще поговорим...

— Мальчики! — сказал вдруг кто-то сзади.

## ПРО ДУЭЛЬ, А ЕЩЕ ПРО ТОЛСТЫХ И ТОНКИХ

**Э**то Усы сказал: «Мальчики!» Он стоит позади нас и улыбается. И Дик рядом с ним, на поводке.

— Чем вы тут взволнованы? — спрашивает Усы.

— Да так, — говорит Вовка. — Получил Сопелкин за дело.

— Я слышал! — говорит Усы. — Я случайно уловил ваш разговор...

— Пугает своей тюрьмой! — говорит Вовка. — Тоже мне, царь Кошей! Ведь подло, скажите?

Усы становится серьезным.

— Оскорблять родителей своего товарища — подло! — говорит он.

— Вы бы что сделали? Дали бы ему в зубы?

— В свое время я бы вызвал его к барьеру.

— Как — к барьеру? — спрашиваю я. — Зачем?

— К барьеру — значит на дуэль. Я бы вызвал его на дуэль. Стрелялся бы с ним.

— Я знаю! — говорит Вовка. — Дуэль — это было раньше.

— А вы стрелялись? — спрашиваю я Усы.

— Бывало, милый Юра, — говорит Усы. — В молодости.

— Из ружья?

— Из ружья не стреляются, — говорит Вовка. — Из пистолетов бывает дуэль. Или на шпагах. Правда?

Усы кивает.

— Расскажите! — прошу я.

— Пожалуйста, — улыбается Усы. — Если тебя кто-нибудь оскорбит, тебя, или твоего друга, или твоих близких — что, в сущности, одно и то же, — ты обязан был вызвать обидчика на дуэль. Потому что это дело чести. Ничего нет выше чести! Ясно, мальчишки?

Мы с Вовкой киваем.

— Ну, имею честь! — говорит Усы. Он прикладывает к шляпе два пальца. Потом четко поворачивается и уходит.

Мы с Вовкой смотрим ему вслед. Он уходит, худой, стройный, с высоко поднятой головой. Дик тоже идет с поднятой головой.

— Почему он сказал «имею честь»? — спрашиваю я.

— Потому что стрелялся, — говорит Вовка. — И сохранил свою честь.

— А как она бывает — дуэль? — спрашиваю я. — Расскажи!

— Очень просто,— говорит Вовка.— Сначала враги выбирают секундантов. Если Ляпкин твой враг, ты можешь меня выбрать. А Ляпкин может еще кого выбрать. Секунданты заряжают пистолеты. Потом отсчитывают от барьера шаги...

— От какого барьера?

— От черты какой-нибудь. Или от пня, если это в лесу. Смотря от чего. Чтобы знать, с какого расстояния стреляться. Секунданты следят, чтобы все честно было. А потом по команде пуляют. Друг в друга. Кто убьет, тот и победил...

— А может так быть, что оба друг друга убьют?

— Может,— говорит Вовка.— Тогда оба сразу и упадут! Это значит ничья: когда оба мертвые. Но это бывает редко. Всегда один кто-нибудь здоров.

А я думаю: «Интересно это все-таки — дуэль! Надо будет Ляпкина на дуэль вызвать!»

— Надо Ляпкина на дуэль вызвать! — говорю я.— Только где нам пистолеты взять?

— Можно на шпагах,— говорит Вовка.— Это такие длинные кинжалы. Мы бы их могли из дерева сделать. Только сейчас нету дуэлей. Сейчас только в театре дуэли остались.

— Как в театре?

— В Большом театре! — говорит Вовка.— В опере «Евгений Онегин». Я видел. Знаешь, как там бабахают! Я даже испугался. Немножко. Там Онегин Ленского убивает...

— Насовсем?

— Конечно! И в школе мы читали про Онегина. Это Пушкин написал. Пушкин тоже стрелялся.

— Почему они все стрелялись? — спрашиваю я.

— Такое время было,— говорит Вовка.— А писатели вообще странные...

— Почему?

— Потому что с ними всегда что-нибудь приключается. Несоответствия у них разные...

— Какие не от... неотвствия?

— Несоответствие формы и содержания! — вежливо говорит Вовка.

— Как это? — не понимаю я.

— Форма ихняя, внешняя, — расставляет руки Вовка, — не соответствует тому, что у них внутри...

— Какая форма? У них разве форма? Они же не военные!

— Чудак ты! — говорит Вовка. — Не одежда — форма! А форма тела!

— И как это она не отвечает?

— Не соответствует! Мне отец говорил, — объясняет Вовка. — Он знает одного такого писателя. Этот писатель толстый-претолстый, просто ужасно толстый! А пишет о тонком... Потому что внутри у него не того...

— Чего — не того? Разве не кровь?

— Чудак ты! Конечно, кровь! Не в этом дело!

— А в чем? Ты же говоришь: внутри...

— Внутри — это значит содержание. Не во всем теле, а только в голове. О чем думает голова, когда человек пишет, — это и есть содержание. Вот этот писатель, о котором отец говорил, сам толстый-претолстый, а все время пишет о тонком...

— О каком тонком? О худом, да?

— Чудак! Это надо вообще понимать: о тонком — значит о любви! О любви, о цветах, о девчонках...

Мне сразу в голову приходит Гизи: она тоненькая. Как цветок! Как колокольчик в поле!

— А почему он не должен писать о тонком... о тонких девочках, этот писатель? — спрашиваю я.

— Потому что он толстый!

— А о чем же ему писать?

— Не знаю, — говорит Вовка. — Только не о любви. О любви должны тонкие писать. Худые.

— Что же ему — про коров, что ли, писать?

— Про коров можно, — соглашается Вовка. — И про дома, про фабрики... Про это все пусть пишет...

Мне сразу представился этот толстый писатель: как он

хочет про девочек писать, а ему надо про коров, да про дома, да про фабрики... Мне его даже жалко стало.

— А если бы он похудел? — спрашиваю.

— Если б похудел, тогда мог бы, — говорит Вовка. — Вот как наш Усы. Такие могут.

— А Усы может про тонкое писать?

— Может. Но он ведь не писатель! — говорит Вовка. — Он офицер. В царской армии служил.

— Я знаю, мне Иосиф говорил...

— А мне он сам рассказывал! — важничает Вовка. — Видал у него шашку на стене? Он кавалерист! Сперва был в царской армии, а потом стал красный!

— Как так?

— Очень просто! Когда началась революция, он к нам перешел. Стал белых бить! И теперь он красный командир!

— Здорово! — радуюсь я.

— Конечно, здорово! — говорит Вовка. — Он хороший, этот Усы. Добрый. Ты не смотри, что он строгим кажется.

Я опять думаю. Трудно все это сразу понять. Но — интересно!

— А Пушкин странный был? — спрашиваю я.

— Пушкин был не странный! — убежденно говорит Вовка. — Он был худой. И кудрявый. У него все точно было. Только погиб он рано — вот что жалко!

## ШЕСТОЕ ПИСЬМО ВОРОВСКОМУ

**С**егодня случилась страшная вещь: Ляпкина Маленького выпороли! Ремнем! Представляете, как страшно! А потом у Ляпкиных был скандал. Они кричали. И все жильцы ходили в коридоре на цыпочках. Это мы с Вовкой немножко виноваты. Мы всем рассказали, как Ляпкин Маленький говорил, что его папа может наших в тюрьм посадить.

Вот его отец и выпорол. Но мы с Вовкой почему-то не обрадовались. И никто не обрадовался. А мама сказала, что детей пороть нельзя. Надо с ними разговаривать. Вот как со мной. Надо воспитывать человека потихоньку. А если воспитание запущенное, никакой поркой его не исправишь. Не говоря уже о том, что это дико. И противно. Нам с Вовкой Ляпкина так жалко стало, что мы ему пять гаек подарили. Три гайки Вовка и две я. Чтоб он не плакал. Ну пока, товарищ Воровский, Юра».

## ГЕНИАЛЬНАЯ ГЛАВА

Эта глава гениальная не потому, что она гениальная, а потому, что в ней идет разговор о гениальности.

Вот послушайте, я написал такие стихи:

Когда на доме нет крыши,  
В комнату падают снег и дождь.  
Когда в комнату падает снег,  
Это очень плохо.  
Когда в комнату падает дождь,  
Это тоже плохо.  
Я построю дом,  
На котором будет крыша.  
И снег будет падать  
На крышу,  
На крышу,  
На крышу.  
И дождь будет падать  
На крышу,  
На крышу,  
На крышу.



А в комнате будет  
Тепло и чисто.  
Этот дом  
Я построю для Гизи.

Сначала я не знал, что с этими строчками делать, потому что у меня не получались рифмы. Но когда я показал эти стихи Вовке, он сказал, что никаких рифм здесь и не надо, потому что это белые стихи. Белые стихи — это значит стихи без рифм. А все остальные стихи с рифмами — это черные стихи. Черные стихи может каждый дурак написать, сказал Вовка, а белые — не каждый! Не только не каждый дурак, а даже не каждый умный. Вот как интересно! А я даже не знал, что написал такие прекрасные стихи!

Вы заметили, у меня в этих стихах несколько раз повторяется слово «крыша»? Вы думаете, это ошибка? А вот и нет! Совсем это не ошибка — Вовка мне это объяснил. Когда я говорю:

И снег будет падать  
На крышу,  
На крышу,  
На крышу,—

я как будто вижу, как падает снег, как падают снежинки одна за другой — «на крышу, на крышу, на крышу, на крышу». Этими словами я рисую картину снегопада. И все, кто читают эти стихи, видят снегопад... Что? Вы говорите, что вы не видите? Ну что же, это очень плохо! Для вас, конечно, а не для меня! Я-то снегопад вижу. А если вы не видите, значит, у вас нет воображения! Вовка, например, тоже видит снегопад, когда я ему читаю это место. И дождь он тоже видит.

И вообще Вовка сказал, что это стихи гениальные. Вы знаете, что такое гениальные стихи? Это самые-самые-самые лучшие стихи! Я спросил Вовку:

— А как узнать, какие получились стихи: гениальные или

нет? Хорошо, что ты мне сказал, а то как бы я узнал, что они гениальные?

А Вовка сказал, что никогда не надо спрашивать: гениально ты написал или нет? Потому что кто-нибудь может нарочно сказать, что это не гениально. Или просто не понять, что это гениально. *Это надо чувствовать самому*, сказал Вовка. Вот Вовка, когда рисует, чувствует, что у него гениально, а что не гениально. Этим и отличается настоящий гений. И я тоже должен это чувствовать. Только тогда я и буду настоящим гением. Если я буду чувствовать, что я гений, все остальные это тоже сразу почувствуют. Уж как они это почувствуют, не знаю, но факт тот, что почувствуют.

И тут я должен вам сказать по секрету: я пока еще не чувствую, что я гений. Вот что страшно! Я уж сидел-сидел над стихотворением, и щипал себя, и бил себя в лоб, но ничего гениального в стихах не почувствовал. Это, конечно, плохо, но что я могу поделать?

А вот Вовка сразу чувствует. Просто удивительно! Когда я показал ему эти стихи, он сразу нарисовал к ним гениальную иллюстрацию. Вовка нарисовал чистую красивую комнату, и в этой комнате он нарисовал Гизи: как она сидит и играет с куклами. Очень здорово у него получилось! И Гизи похоже получилась. А я спросил у Вовки:

— Ты чувствуешь, что этот рисунок гениальный?

И он сказал:

— Чувствую! А ты разве не чувствуешь? Если я чувствую, то и ты сразу должен почувствовать!

И я сказал:

— Чувствую!

И действительно, я сразу почувствовал, что у Вовки получилось гениально! Но вот что странно: Вовкину гениальность я чувствую, а свою не чувствую. Как быть? Ну ничего. Зато Вовка чувствует мою гениальность.

А еще Вовка сказал, что мы с ним можем книги выпускать: я буду стихи писать (конечно, гениальные), а Вовка будет к

ним рисунки делать, то есть иллюстрации (тоже гениальные), а потом мы эти листочки сошьем, и получится книга. Гениальная книга.

## СРЕЗАННЫЕ РОЗЫ

**В** ту зиму на нашем окне появился большой розовый куст. Его откуда-то отец принес, в коричневом горшке с землей, и поставил на подоконник. Мы с мамой его каждый день поливали. В тумане моего детства он стоит очень красивым. На нем большие ярко-красные розы и маленькие бутоны. И листья с зубчатыми краями. И острые колючие шипы на стволах. Этими шипами розы защищались. Чтобы их не трогали. Но вскорости их все же срезали. И вот как это случилось.

В тот вечер отец пришел с работы необычно рано. Вообще-то не рано, но для него это было рано. Я подумал, что мы с ним посидим. Как бы не так — они с мамой собирались в гости к Мархлевской. Она их старая подруга, еще с дореволюционных лет. Она старая большевичка, очень известная. Я вам о ней еще расскажу. Я у нее тоже иногда бываю. А тут мне стало грустно, что они уходят, а я нет. А им, наоборот, было весело. Они все время смеялись и что-то о Мархлевской говорили. Про какое-то там *торжество*. Которое должно было быть в этот вечер. Я не помню какое. У меня-то никакого торжества не было. Помню только, что они очень долго одевались. Отец пошел в ванную и долго там мылся и брился. В общем, обрабатывал свою голову. Когда он вернулся, его голова была как новая! А потом в ванную пошла мама и была там еще дольше. Она тоже обрабатывала свою голову. С женской головой еще больше дел.

Так что они оба были очень заняты собой. А я просто не знал, что мне делать, и ходил как неприкаянный. Гулять идти было уже поздно — за окном начиналась ночь. Окна синели, и

вдали — в окнах и на улицах — мерцали огни. И в небе мерцали огни — месяц и звезды.

Куст на фоне синего окна стоял очень красивый: цветы из красных стали фиолетовыми. А листья блестели темным изумрудом. Я залез на стул и смотрел сквозь куст на улицу. От нечего делать. И немножко от обиды: *что они уходят, а я остаюсь*. Я вдыхал аромат цветов — пахли они замечательно! Я очень люблю розы! Есть цветы, которые сильнее пахнут, но никакие цветы не пахнут так нежно, как розы. И никакие цветы не могут соревноваться с розами по форме. Форма розы совершенна! Так мама говорила. Тут природа превзошла самое себя, говорила мама, в этих цветах достигнуто высшее совершенство.

Отец переодевался за ширмой в свой новый костюм, который сшил ему Зусман, а мама сидела перед зеркалом и делала прическу. Я на нее не смотрел. Она не любит, чтоб на нее смотрели, когда она делает прическу. Да я и так не смотрю, что мне смотреть — подумаешь! Я в окно смотрю...

Я думаю о том, что, когда они уйдут, я останусь совсем один в комнате. В квартире я, конечно, не один, вокруг соседи: Ляпкины, и Вовка с родителями, и Гизи с мамой, и Усы, и даже Дик. Но когда все заснут, в квартиру могут прокрасться жулики. Жулики всегда ночью прокрадываются. Даже Дик может их не заметить, если заснет. Если он их заметит, он их, конечно, не пустит: залает и бросится на них. А если заснет, дело хуже. Могут жулики пробраться. Или какие-нибудь беспризорные. Я их видел на улице, этих беспризорных, они в котлах ночуют, в которых варят асфальт, и на вокзалах, потому что у них домов нет. Вот они в чужие дома и забираются. И на базаре я их видел, в Охотном ряду: там они весь день в толпе шныряют, чтобы что-нибудь стащить. Как кто зазеваается, они и тащат! Вид у них страшный: они грязные, оборванные, в лохмотьях. И всегда вымазаны сажей, только зубы блестят и белки глаз! Все они дети, мальчишки, которые остались без родителей. Их родители или на гражданской войне убиты, или потерялись,

или просто умерли от голода... И я вспоминаю одну историю...

Один раз я, мама и папа обедали в маленьком ресторане. Ресторан этот находился на Петровке, напротив Столешникова переулка. Маленький такой ресторанчик. Мы там сидели возле самого входа, возле стеклянной вертящейся двери, рядом с которой стоял швейцар в синей ливрее с золотыми пуговицами, с большой седой бородой. Швейцар кланялся, как ванька-встанька, всем, кто входил и выходил. Мы сидели совсем рядом под пальмой и ели свои биточки. Нам их только что принесли; они были политы желтым густым соусом, от них шел вкусный пар; я отщипнул вилкой маленький кусочек и положил его в рот... как вдруг — вихрь: из дверной вертушки выскакивает что-то серое и лохматое, маленькая грязная рука хватается с моей тарелки прекрасный биточек и исчезает за дверью... Швейцар бросается на улицу, потом назад, извиняется... Так в мой благополучный мир ворвался голодный беспризорник. Другой, тоскливой и страшной, жизнью повеяло на меня от этого случая. Я почувствовал себя каким-то беспомощным. Хотя беспомощным был не я, а этот несчастный беспризорник. Ведь не от хорошей жизни схватил он мой биточек, сказала мама. Может, он несколько дней вообще ничего не ел.

Часто я потом вспоминал этого беспризорного мальчишку. И все время его от себя гнал. Потому что мне было это неприятно — от этого воспоминания становилось как-то неудобно. Но беспризорник прочно засел в моих мыслях, и сейчас, когда я пишу эту книгу,— сейчас я тоже не могу его позабыть... Особенно часто я вспоминал беспризорника, когда оставался один, потому что, когда человек остается один, к нему ближе становится другой, далекий от него мир — мир неудобный, холодный и сложный...

— Ну, мы готовы! — сказал сзади отец, взяв меня за плечи.— Пусти-ка, я розы срежу...

— Как — срежешь?! — поразился я.

— Очень просто,— сказал отец,— мы их к Мархлевской берем...

— Это мои розы! — сказал я.

Мне стало очень обидно. Такие красивые розы — и вдруг их отрежут!

В руках отец держал ножницы. Одет он был в свою новую тройку, и от него пахло духами. На белоснежной рубашке под подбородком сидела черная бабочка. То есть такой галстук, похожий на бабочку. И мама стояла рядом, тоже вся сияющая в своей высокой прическе, и от нее тоже пахло духами. Но мне было сейчас не до них. Мне было жаль мои розы!

— Я не отдам вам розы, они мои! — повторил я и загородил куст грудью.

— Брось глупости, ты знаешь, что розы для Мархлевской...

— Нет, для меня!

— Ну, знаешь! — сказал отец, взял меня в охапку и поставил на пол.

Я заревел, хотя мне и стыдно сейчас вам в этом признаться. Подумаешь, какие-то розы! — скажете вы. Но я полюбил эти розы и не хотел их отдавать. Я уткнулся в угол. Я всегда уходил в угол, когда мне было тяжело.

— Ну, Юра! — подошла мама. — Как тебе не стыдно! Розы предназначены для Мархлевской! И не надо капризничать! Тем более, что они опять вырастут! И расцветут! Ведь горшок остается у нас...

— Как — расцветут?

Мне стало немножко легче от этой мысли, но по инерции я еще плакал.

— Плачет, как девочка! — сказал отец, щелкая ножницами. — Противно! И это мой сын!

— Он не девочка! — сказала мама. — Просто он любит розы!

Она все гладила меня по голове. Я знал, что, если бы она не была так одета и в прическе, она бы обязательно взяла меня на руки.

— Не девочка, так пусть перестанет плакать! — сказал отец. — Пусть подумает о том, как останется без нас!

Он иногда бывал жестоким, Иосиф. Особенно когда я плакал. Он не любил, когда я плакал. И целоваться он не любил.

А мама поцеловала меня в лоб.

— Ну, мы пошли,— сказала она.— Ложись спокойно спать. Мы скоро придем.

Я искоса взглянул на отца: он стоял в пальто и шляпе, с огромным букетом ярких роз в руках.

— Пока,— сказал он.

Он завернул розы в газету, мама надела блестящую черную шубу, и они вышли, помахав мне рукой. А я не помахал им рукой! На душе у меня было кисло...

Когда они вышли, в комнате стало необычно тихо. Я сразу услышал, как тикают часы на камине.

Обезображенный розовый куст на подоконнике жалко торчал обрезанными тупыми прутьями на фоне ночи...

Среди изумрудных листьев краснел маленький забытый бутон — как розовый птенец. Я залез на стул и погладил его пальцем.

— Мой бедный, маленький бутончик! — сказал я.— Одинокий! — И странно прозвучал мой голос среди молчащих вещей.

Камин зевал своей черной пастью, и прутья решетки внизу были как зубы.

Темно-красный старинный буфет подмигивал с противоположной стены тусклыми стеклами.

Мрачно развалился старый диван, как великан на корточках, с круглым зеркалом вместо головы.

Из-за сдвинутой ширмы в углу белела моя раскрытая кровать.

Но спать мне не хотелось.

Часы тикали так напряженно, что казалось, вот-вот что-то произойдет...

На столе стоял мой ужин: золотистый чай в стакане с ложкой, хлеб и котлеты на тарелке.

Котлеты опять напомнили мне страшного беспризорника

в ресторане на Петровке — его маленький грязный кулачок с зажатым биточком... А вдруг он сейчас войдет?

«Войдет, войдет!» — замигал буфет. И часы заторопились: «Войдет, войдет, сейчас войдет, сейчас, сейчас...»

— Не войдет! — сказал я громко. — Как он войдет, что вы?!

«Войдет, войдет, войдет сейчас!..» — бормотали часы.

Глухо хлопнула вдалеке входная дверь, шаги со скрипом проследовали по коридору, и еще другие шаги, чуть слышные, — это Усы с Диком вернулись с прогулки. Сейчас Дик заснет на своей подстилке, и Усы заснет, а все остальные уже спят: и Ляпкины, и Гизи, и Вовка... Вот тут-то ему и войти, беспризорику!

«Постой, постой, сейчас, сейчас! — не унимаются часы. — Вот-вот, вот-вот, вот-вот...»

— Да хватит вам! Чего вы там болтаете? — говорю я громко.

Когда громко говоришь, не так страшно становится, чувствуешь себя уверенней.

На столе возле тарелки лежат вилка и нож.

— Ого! — говорю я страшным голосом. — У нас есть нож! Это прекрасно — нож!

Я беру нож и взмахиваю им несколько раз в воздухе.

— Пре-крас-но! — повторяю я, расхаживая по комнате. — Прекрасно! Нож! Это очень хорошо — нож!

Беспризорник все-таки где-то рядом! Он где-то тут притаился — это совершенно ясно! Я чувствую его своей спиной!

Я быстро оборачиваюсь к окну — оно сияет черной, пустынной глубиной неба... Розовый куст, уже совсем не розовый, сиротливо стоит на окне... Мне кажется, что за окном промелькнула лохматая тень...

Зашумело в камине — я опять быстро оборачиваюсь... Это ветер гудит в каминной трубе. Или не ветер...

— У нас есть нож и еще кое-что! — говорю я камину.

Камин молчит, скаля зубья решетки.

Вещи молча наблюдают за мной: диван, буфет...



«А беспризорник где-то здесь, а беспризорник где-то здесь!» — не унимаются часы.

«Надо будет забаррикадировать дверь! — говорю я себе мысленно. — Так будет надежней!»

Я стаскиваю к двери стулья и чемоданы. Развиваю бурную деятельность, не выпуская из рук ножа. Пусть беспризорник видит, если он подглядывает!

Два стула я кладу перед дверью на пол, на них нагромождаю еще два, а перед стульями ставлю на ребро два пыльных чемодана, выволочив их из-под кровати.

Я так устал, что даже вспотел. Но теперь мне не так страшно — баррикада все-таки!

Я сажусь перед баррикадой на пол, лицом к двери, скрестив ноги, как Зусман, когда он сидит на столе и шьет. Зусман говорит, что это значит «сидеть по-восточному». Так ноги не устают. Ну что ж! По-восточному так по-восточному!

«Вот-так-так, вот-так-так, вот-так-так!» — удивляются часы.

— А вы не хитрите, дорогие! — говорю я часам. — Не хитрите! Бросьте хитрить! Баррикада готова! Суньтесь кому охота!

Бедный беспризорник! Как он тогда испугал меня, в моем детском воображении! А сам он в это же время, наверное, тоже сидел где-нибудь один и дрожал от страха и голода... Только не в комнате он сидел, а где-нибудь в полуразрушенном доме или в остывшем котле, в котором варят асфальт.

Мне отец потом много рассказывал про беспризорников — о том, что это несчастные дети, наследники войны, голода и разрухи. Советская власть ими заботливо занималась, сам товарищ Дзержинский ими занимался: устраивал их в детские дома и на работу. И вскоре многие из них нашли свое место в жизни.

Но в те дни, о которых я здесь говорю, я еще этого не понимал. А все непонятное пугало. Тем более, что я боялся остаться один...

Мама потом сказала, что они с отцом так и нашли меня спящим на полу перед забаррикадированной дверью, с ножом в руке...

## ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

— **Н**у, что тебе подарить? — спрашивает в третий раз Зусман.

Он зашел к нам на чашку чая и вдруг пристал со своим подарком.

— Ничего не надо! — говорю я мрачно.

— Что с тобой, Юра? — Мама смотрит на меня растерянно.

Скоро лето, и Зусман хочет мне что-нибудь подарить. К лету...

— Липа Борисович тебя любит! Ты же знаешь! Почему ты так невежлив?

— Молодой человек стесняется! — говорит Зусман. — Ну, так что тебе подарить?

— Ничего...

— В конце концов, это некрасиво! — сердится мама. — Отвечай! Слышишь? Надо быть вежливым!

Я молчу. Мне становится жарко. Они же ничего не знают! Эх! Если бы они знали! Они бы так со мной не разговаривали! И ничего Зусман не хотел бы мне подарить.

— Ничего, — говорю я отчаянно-мрачно.

— Это просто возмутительно! — говорит мама. — Сейчас ты пойдешь и встанешь в угол! Ну?

— Подождите, мама! — говорит Зусман. — Он сейчас скажет! Правда, ты скажешь? Ну, что тебе подарить? Ты ко мне хорошо относишься?

— Хорошо! — говорю я.

— Ну, вот видишь! И я к тебе хорошо! Мы друзья?

— Друзья! — Я смотрю в пол.

— Ну, так что тебе подарить?

— Ничего! — ору я. — Ничего! Ничего! Ничего!

И я начинаю плакать.

Мама встает со стула. Она берет меня за руку и ведет в угол возле окна, к батарее. Я иду твердо, сжав кулаки. Пусть будет так, но сказать я ничего не могу.

— Здравствуйте пожалуйста! — смущенно произносит Зусман. — Такая неприятность!

— Безобразие, а не неприятность! Постоит в углу и поймет!

— Напрасно, — говорит Зусман. — Не делайте этого! В конце концов, я ему и так что-нибудь подарю.

— Ничего подобного! — говорит мама. — Он не достоин никаких подарков!

Я мрачно стою в углу.

— Ну, извините, — говорит Зусман. — Я пойду... Никак не ожидал... Такая неприятность!

Он закрывает за собой дверь.

— Что это ты такое выдумал? — говорит мама. — Человека обидел! За что ты обидел Липу Борисовича?

Я молчу.

— Может, что-нибудь случилось?

Я молчу. Не могу же я сказать, что случилось! Это секрет! Страшный секрет!

— Не можешь сказать, что случилось?

— Не могу!

— Что-нибудь страшное?

— Страшное!

— Ну, тогда вот что: иди сюда, и поговорим. Когда случается страшное, секретов у нас быть не должно. Именно когда страшное. Ты понимаешь?

Я киваю головой.

Мама обнимает меня, я прячу мокрое лицо у нее на груди, и мне становится тепло. И немножко легче.

— Тебе легче?

— Легче.

— Расскажи-ка все, и тебе станет совсем легко. Рассказывай... Липа Борисович тебя обидел?

— Нет! Это я его обидел! — И я опять плачу.

Мама долго гладит меня по голове.

Наконец я успокаиваюсь и рассказываю. Все, как было. Всю эту страшную историю. От начала до конца. Слушайте и вы.

Дело в том, что у Зусмана много разных кусков материи, из которых он шьет костюмы. У него всегда весь стол завален этими кусками. И пол. И диван. Он мне несколько раз давал ненужные куски. Я у него просил, а потом дарил Гизи. А она шила из них разные вещи для кукол.

И вот один раз мы сидели у Зусмана: Гизи, Вовка и я. Зусман строчил на машинке, а мы сидели на диване. Вовка показывал нам новые картинки. Рядом на диване лежал большой кусок материи — отрез. Большой кусок всегда называется «отрез», отрез на костюм. Потому что он отрезан от еще большего куска. Гизи все время гладила его рукой. Я ее тихо спросил:

— Тебе нравится эта материя?

Она сказала шепотом:

— Нравится.

Я спросил:

— Ты хочешь иметь такой кусок?

Гизи кивнула. И тогда я сразу все решил! *Я решил отрезать ей такой материи!* Тайком, чтоб никто не видел. Я подумал — пустяки! У Зусмана много материи. Он и не заметит. Я отрезал большой кусок. На другой день, когда мы были с Зусманом вдвоем и он на минутку вышел из комнаты. *Тогда я и отрезал!* И спрятал на груди. А потом отдал его Гизи. Она страшно обрадовалась! И стала шить из него пальто для своей куклы... И еще что-то. А в семье Зусмана получился скандал. Потому что Зусман открыл пропажу. У него не хватило на костюм. И он обвинил заказчика, что тот ему недодал материи. А заказчик — Зусмана. Вовку тоже допрашивали. Я все слышал сам, когда приходил заказчик. Все они там страшно кричали. Сильнее

всех Жарикова — она кричала басом. Я просто не знал, куда деваться. Да и сейчас я не знаю, куда деваться. Потому что заказчик забрал свой отрезанный кусок назад. А я не мог забрать свой кусок назад, потому что Гизи его совсем изрезала. Да если бы она и не изрезала, я все равно не мог бы забрать его назад. Ведь подаренные вещи не забирают.

В общем, я окончательно запутался... А тут еще Зусман хочет мне подарок подарить. Не могу же я принять от него подарок! Посудите сами...

— И правильно! — согласилась мама. — Подарка ты принять не можешь, пока ты ему не признаешься и он тебя не простит. Если, конечно, простит! Поступил ты очень и очень плохо! *Ты украл!* Ты понимаешь, что ты украл?

Я в ужасе кивнул. Мне опять стало плохо. Меня даже стало тошнить. И коленки стали совсем мягкими, так что я сел на стул. У меня стали холодные ноги, как говорит Гизи: «*Kalte Beine*».

— Никогда нельзя ничего брать без спроса! — сказала мама. — Видишь, какую ты кашу заварил... А Гизи знает?

— Нет, — сказал я.

— Ну, это хорошо. Ты ее любишь?

— Да.

— Никогда нельзя ради своей любви делать необдуманные поступки, — сказала мама. — А сейчас мы с тобой пойдем к Зусману. И ты ему обо всем расскажешь. Он хороший человек и, наверное, тебя простит. Но надо все рассказать...

Мы тотчас пошли к Зусману. И я ему все рассказал. И Вовка там был. И Жарикова. Я им всем рассказал. Это было очень страшно! Лучше не спрашивайте меня, как это было страшно. Я все равно не смогу вам этого передать. Но знаете, что самое главное — что сказал Зусман? Не знаете? Он сказал:

— Здравствуйте пожалуйста! Я всегда говорил: во всем ищите женщину! — и засмеялся. А потом обнял меня и поцеловал. — Ты настоящий мужчина, — сказал Зусман. — Но никогда больше так не делай! Зачем тебе иметь своих неприятностей?

Вот такая страшная это была история!

А «ищите женщину» — это такая поговорка. Она означает, что если где-нибудь совершено преступление, в этом замешана женщина. Конечно, не всегда. Но чаще всего замешана. Это французская поговорка. Старая. Поэтому она сейчас не всегда оправдывается. Она устарела. Так мне мама объяснила. Но в данном случае она оправдалась.

Только одно я не сказал Зусману: *почему я подарил Гизи этот кусок...* Но каждому ясно, что этого нельзя было говорить Зусману. И никому нельзя. Только маме...

## ВЕЧЕРНИЙ ВЫСТРЕЛ

**С**начала я слышал выстрел, хотя не сразу понял, что это выстрел. В общем, что-то грохнуло. Как пугач. Только сильнее, хотя и глухо — где-то за стенками. Я сидел на полу возле двери и складывал кубики. А мама печатала под лампой возле окна. Потому что был вечер. Но Иосифа еще не было.

Потом я слышал крик:

— Усы застрелился! Усы застрелился!

Это кричала сама Ляпкина: от страха она забыла имя и отчество. Она бежала по коридору.

Когда мы с мамой вышли, Ляпкина стояла белая возле стены и плакала. Ее окружили жильцы. Наши и из соседней квартиры.

— Боже мой! Боже мой! — повторяла она и тискала свои щеки пальцами. Вниз по щекам у нее тянулись черные полосы от ресниц.

— Надо в «скорую» позвонить! — крикнул кто-то.

— Зусман уже звонит! — строго сказала Жарикова. Она стояла рядом со мной и курила.

И Вовка стоял рядом. И Гизи. Все были какие-то потерянные.

ные. И я тоже. Я ничего толком не понимал. Как это Усы мог застрелиться? Почему?

Я сразу вспомнил наш разговор во дворе, когда он рассказывал нам про дуэль... Но тут же он сам в себя стрелял... Это что — тоже дуэль?

— «Скорая!» «Скорая!» — кричал в телефон Зусман.

— Кто там у него? — спросили шепотом.

— Немка у него, — опять строго сказала Жарикова. — Вон она идет...

По коридору быстро шла Гизина мама с миской в руках.

— Wie ist er? — спросила моя мама. — Как он?

— Schrecklich! — ответила Гизина мама. — Страшно! — Глаза у нее были особенно большие и грустные.

— В сердце! — кричал Зусман. — Да, да, в сердце! Запишите адрес!

— Ну, как там? — повторили мамин вопрос.

— О! Ошшень! — сказала Гизина мама. — Ошшень! Нада маленька вода...

Она повернулась и пошла на кухню, и тогда все увидели сзади на ее плече красное от крови полотенце. Все молча смотрели на это полотенце.

И тут вдруг в коридор выскочил Дик. Дик пошел, дрожа, за Гизиной мамой, нюхая воздух, и шерсть у него на загривке стояла дыбом. В первый момент все растерялись и никто не двинулся.. Дик зарычал, а потом оскалил клыки и завыл. Гизина мама вскрикнула и выронила миску. Миска покатилась по коридору с оглушительным грохотом. В полной тишине. Заплакала Гизи, кинувшись к маме.

— Безобразие! — басом сказала Жарикова. — Человек застрелился, а тут собака!

— На место!

Дик поджал хвост и побежал в комнату.

— И детей убрать! — сказала Жарикова. — Немедленно!

— Пойдемте, дети! — сказала моя мама. — Вова! Гизи! Komm!

Мама обняла нас руками и гурьбой повела в нашу комнату. Только Ляпкин Маленький спрятался за юбку Ляпкиной и смотрел нам вслед исподлобья...

Мама оставила нас одних и сейчас же вышла.

Мы с Вовкой забрались на диван. Гизи постояла возле двери, потом тоже подошла на цыпочках к дивану и села, расправив на коленях платье.

В комнате полутемно, потому что вечер и горит одна только маленькая лампа под зеленым абажуром на мамином столе возле окна, отражаясь в стекле. Лампа освещает, мамину машинку с недопечатанной страницей, раскрытую книгу, карандаши в тускло мерцающем медном бокале.

Я смотрю на лампу.

Почему он все-таки застрелился? *Почему?*

За окном тоже лампа. Она плавает над вечерней Москвой, над тусклыми крышами, где светит луна. Там лампа стоит под луной, прямо в черном небе.

Из коридора доносятся приглушенные голоса.

Потом кто-то завыл. Низким глухим голосом. Это Дик завыл.

Быстрые шаги. Туда-сюда.

Потом долго звонит входной звонок. И Дик лает.

Гизи вздрагивает и поворачивает голову.

— Это «скорая»,— говорит шепотом Вовка.

Гизи смотрит на него широко раскрытыми глазами.

— Was?— говорит она испуганно.

— Der Arzt,— говорю я.— Врач...

В Гизиных глазах горят две маленькие настольные лампы.

— Я видел этот наган! — шепчет Вовка.— Он мне его показывал. Мировая штука! Ему на фронте подарили. За храбрость. Там даже надпись есть на рукояти...

— А почему он застрелился?

— Не знаю,— шепчет Вовка.— Может, чистил... А может, нарочно.

— Как — чистил...



— Очень просто! — объясняет Вовка. — Шомполом, понимаешь? Может, он забыл пулю вынуть, нажал курок — вот и здрасте пожалуйста! Только навряд...

— Почему навряд?

— Потому что точный выстрел! В сердце! А то бы он просто так куда-нибудь попал. И был бы жив.

— А теперь умрет?

— Чудак ты! Он сразу умер!

— А может, и нет! — говорю я. — Может, еще выздоровеет!

— Чудак ты! — горячо шепчет Вовка. — Кто в сердце попал, тому каюк.

— Как — каюк?

— Ну, амба! Конец!

— А почему он так сделал?

— Кто его знает! — задумчиво говорит Вовка, — Может, от сильной любви. Многие от сильной любви стреляются. От сильной любви всегда хотят умереть...

Я смотрю на Гизи. Она сидит совсем рядом со мной. И я ее люблю. Но это большой секрет. Она этого не знает. И Вовка не знает. Никто-никто-никто! Только мама. Но я же не хочу умереть! Даже если бы у меня был наган, я бы не застрелился. Значит, я ее не сильно люблю? Но почему мне хочется с ней всегда играть? И просто сидеть рядом? И что-нибудь дарить. Если бы у меня был наган, я бы подарил ей наган. На время, например. Или навсегда. Пусть она воюет у себя в Германии. Делает революцию. Вы думаете, женщины не могут делать революцию? О, еще как могут!

— Жаль, — говорит Вовка. — Хороший дядька был этот Усы. Особенно когда выпьет. Добрый. Он мне часто деньги дарил...

— Как? — удивляюсь я.

— Просто так! Сунет в карман: «Купи, говорит, себе что хочешь». Только ты это никому не говори! Это, чур, секрет! Гизи не поймет, а другим ни слова.

— Понял, — киваю я.

Чьи-то шаги приближаются к двери. Она распаивается. Входят отец, мама, потом Гизина мама. Потом Жарикова, Зусман и все Ляпкины.

— Иосиф! Иосиф! — кричу я отцу. — Усы застрелился!

— Знаю, — говорит отец, снимая пальто. — Не кричи!

Мама включает большой свет под оранжевым шелковым абажуром с кисточками. Он висит низко над большим столом в середине комнаты.

— Садитесь, — говорит мама. — Я сейчас, — и выходит.

Все отодвигают стулья и садятся. Жарикова сразу закуривает. Спичку ей зажигает Зусман, и руки у него дрожат. Жарикова и Зусман, хоть и муж и жена, не похожи друг на друга. Может, потому они и зовут друг друга по фамилии? «Странные все-таки эти взрослые, — думаю я. — Зато Ляпкины так похожи, что сразу видно: муж и жена!»

— Вы, товарищ Ляпкин, неправы! — говорит Жарикова. Она продолжает какой-то начатый разговор. — Нельзя так клеветать на людей!

— Ну, знаете! — растерянно разводит руками Ляпкин. — Я считал его ошибку злонамеренной...

— Да бросьте вы! — зло дымит папиром Жарикова.

— Кто читал записку? — спрашивает отец.

— Ваша жена...

Все смотрят на дверь. Входит мама с двумя чайниками, большим и маленьким.

— Записка у тебя? — спрашивает отец.

— Нет, — сказала мама. — Но я все помню... Вот, подождите... «Я... не могу пережить...» Нет, не так... Сейчас, вот: «Я, как честный солдат революции, не могу простить себе оплошность, о которой вы знаете... Сознательно покидаю свой пост, уступая дорогу молодым силам... Прошу не судить строго... я сам себя караю за этот промах... жизнь теперь бесцельна...» — и все.

— Ну, что я вам говорил?! — восклицает Ляпкин. — Сам признается в ошибке! Не забывайте к тому же, что он бывший...

— Да бросьте вы! — перебивает Жарикова. — Нельзя из-за какой-то глупой ошибки так преследовать человека!

Жарикова дымит, как вулкан. Я на картинке видел, как дымит вулкан.

— Что, собственно... — начинает Зусман.

Но отец его перебивает.

— Задолго до революции он окончил Академию генерального штаба, — говорит отец. — Революция застала его на высоком посту в царской армии... Но в семнадцатом он сразу перешел на нашу сторону!

— Может, он нарочно перешел? — тихо вставляет Зусман.

— Не говорите, товарищи, чепуху! — строго возражает отец. — Он отлично командовал! Был храбр! Имел награды от Политуправления, в частности тот самый наган... из которого... но, конечно, ему было не просто...

Ляпкина начинает плакать. Она сидит, закрыв лицо руками, и слезы каплют в чай. Так смешно каплют в чай! Между прочим, я заметил, что к чаю никто не притронулся...

— Но что же, собственно, было причиной самоубийства? — тихо и недоуменно спрашивает Зусман.

— Вот это уже по вашей части! — ехидно обращается Жарикова к Ляпкину.

Ляпкин опять разводит руками:

— Он перепутал важные бумаги, вовремя не отправил. Я ему поставил на вид... ну, пропесочил немного... Я, конечно, никак не думал, что это повлечет... Ведь на ошибках мы учимся! Мне очень жаль... — У Ляпкина стал совсем растерянный вид.

— Пожалел волк кобылу! — пробасила Жарикова. — Вы его затравили!

— Кто ж его знал, что он так воспримет! — пробормотал Ляпкин и неожиданно торжественно закончил: — И все же этот выстрел звучит салютом преданных нашей власти людей! Теперь я вижу, что он был наш!

— Поступок странный и дикий! — вмешивается отец. — Но его можно понять. Не забывайте, что он кадровый офицер, у

него были свои понятия о чести... Пуля в лоб — это старый, но верный прием! Все же белая ворона...

— Ему поставят памятник? — спрашиваю я неожиданно для себя. — Как Воровскому?

Все невесело рассмеялись.

— Да, уж тут не до памятника! — говорит Зусман.

— Никогда не лезь поперед батьки в пекло! — говорит отец. И щелкает меня пальцем по лбу.

«Странные люди! — думаю я. — Почему не до памятника? И при чем здесь белая ворона? Разве бывают белые вороны?»

## СЕДЬМОЕ ПИСЬМО ВОРОВСКОМУ

**З**дравствуй, Воровский! Ты, наверное, знаешь, что Усы застрелился. Мне его жалко! Он нам про дуэль рассказывал. И Вовка деньги дарил. Потому что Вовка считается сирота. Вовка говорит, что Усы от сильной любви застрелился. А Ляпкин Большой говорит, что Усы бумажки перепутал. Но все равно — нельзя умирать, даже если ты перепутал бумажки. Правда? Так Иосиф говорит. Иосиф говорит, что впереди много раз будет весна, а Усы ее теперь не увидит. И лето будет. И рыбалка. И еще много-много хорошего. Поэтому умирать самому никак нельзя. И еще надо работать для революции. И воевать за нее. Вот так. Поэтому я стихи написал. Послушай, вот они:

Я никогда, никогда не умру!

Я буду жить всегда!

Я никогда, никогда не умру!

Это так.

Я скоро поеду на дачу.

Я буду сидеть у реки.

Я буду рвать цветы.  
Я цветы так люблю!  
Я никогда, никогда не умру!  
Я еще никогда не воевал за революцию.  
Я никогда, никогда не умру,  
Потому что я волшебный!

Я прочитал эти стихи Вовке. И он сказал, что они гениальные. Он это сразу почувствовал. И я тоже. А ты чувствуешь? Ну, пока. Юра».

Стихи эти я некоторое время часто читал вслух. Я их Зусману читал. И Жариковой. Я их даже Мархлевской читал, когда мы к ней ходили. Поэтому я их так хорошо помню. Они остались в моей памяти навсегда. Как и вся эта история с несчастным самоубийцей. Вся эта история произвела на меня в детстве чрезвычайно сильное впечатление, тем более что я видел, как это волновало взрослых. Хотя я в ней толком ничего понять не мог. Мне кажется, что и взрослые мало что поняли. Трагический выстрел остался смутным и непонятным. Да это, в сущности, и не важно, что он непонятный. Важно, что это оставило в моем детстве неизгладимый след. Для того я это и описал, чтобы показать, как в детстве все неясное и вместе с тем страшное — из другого, взрослого, мира — задевает детей даже в счастливом детстве, не говоря уже о несчастливом. Ведь мое-то детство было счастливое! И все-таки в него уже вламывался своими непонятными трагедиями большой взрослый мир...

## ПОБЕГ

**В** комнате Усов стало пусто и тихо.

С тех пор как хозяина унесли, в ней больше никто не смеялся и не разговаривал громко. Все, кто в нее заходили, сразу стано-

вились тихими. И Дик стал тихий, он больше не лаял. И не играл. Он только иногда выл по ночам страшным голосом, когда все спали. Я один раз проснулся ночью от его воя.

Дик все время лежал на своей подстилке в углу возле окна и смотрел в одну точку... В какую точку? Не знаю, он нам этого сказать не мог. Он нас совсем не видел, когда мы входили к нему в комнату, — он смотрел в какую-то свою далекую точку, которую видел только он один. Что он видел в этой таинственной точке? Может, он видел там своего хозяина? Как они вместе гуляют во дворе возле Памятника? Или сидят дома и пьют чай? А может, он просто видел себя самого в своем детстве, когда он был маленьким щенком и у него еще не было никаких забот? Я не могу вам сказать, что он видел, и никто не может этого сказать, но что-то он видел там, в своей далекой и печальной точке, и не обращал на нас никакого внимания.

Так длилось уже несколько дней. Фатима по-прежнему ходила с Диком гулять, но он гулял без охоты. Не то что раньше. Теперь он выходил из дому безразличный ко всему окружающему и во дворе стоял опустив голову, пока Фатима не вела его обратно. Ни воробы, ни голуби его не радовали. Он даже на кошек не смотрел. Он худел прямо на глазах.

Все соседи говорили о Дике. Все его жалели. И не знали, что с ним дальше будет. А Ляпкин Большой сказал, что его надо застрелить, потому что он теперь все равно умрет — от тоски... Вот он какой, этот Ляпкин! Его бы так застрелить, когда он заболел! Я целый день плакал, когда Ляпкин так сказал. А мама меня успокаивала. Она сказала, что Дику сейчас, конечно, очень тяжело, но он должен свою тоску пережить. И опять стать веселым. А то, что он так тоскует, говорит о том, что Дик очень хороший, что он настоящий, преданный друг. Мы его обязательно куда-нибудь устроим.

Я сначала хотел, чтобы Дик пожил у нас в комнате, чтоб он так не выл по ночам, и Фатима привела его к нам, но у нас он еще больше затосковал. Он ходил по комнате, не находя себе места, а потом стал выть и царапать лапой дверь. Пришлось его

выпустить. Он сразу пошел в свою комнату и лег там на подстилку, вытянув передние лапы и положив на них грустную голову. И опять устремил глаза в одну точку. Он все ждал, что Усы вернется... Он видел, как Усы застрелился, и нюхал кровь, и все понял, когда хозяина уносили санитары, а все равно ждал! Вот что удивительно!

Мы сидели перед ним на корточках — я, Гизи, Вовка и Ляпкин Маленький, — а перед самым его носом стояла миска с мясом, с замечательным свежим сырым мясом, которое мама специально купила ему на базаре в Охотном ряду, но он к нему не притрагивался. И к миске с водой, которая стояла рядом, он тоже не притрагивался. Он совсем перестал есть и пить.

— Он объявил голодовку! — сказал Вовка.

— Он, наверное, ночью кушает, — сказал Ляпкин Маленький.

— Ты что — сдурел? — сказал Вовка, поглаживая Дика по голове.

— Не сдурел я... он ночью кушает, — повторил Ляпкин.

— Nachts? — спросила Гизи. — Warum Nachts? Почему?

Она уже немножко понимала по-русски.

— Ничего он не кушает ночью! — сказал я. — Ты что — видел?

— Не видел, а так! — упрямо сказал Ляпкин. — Он кушает, чтоб никто не знал!

Надо же такую глупость сказать!

— Надо говорить не «кушает», а «ест», — сказал я.

— Это ты любишь есть, чтоб никто не знал! — сказал Вовка Ляпкину. — Тайком. А Дик не такой!

— Правда, Дик, ты не такой? — спросил я, заглядывая Дику в глаза.

Но он не шевельнулся.

Я взял миску с мясом за край, чтоб подвинуть к Дику, и случайно коснулся рукой его носа.

— Нос! — сказал я. — Какой горячий! И сухой! И шершавый!

Вовка сейчас же тоже потрогал нос. И Гизи. И Ляпкин потрогал.

— Все ясно! — сказал Вовка. — Когда у собаки горячий нос, значит, она нездорова. Мы теперь с Юркой берем над ним шефство, пока он не выздоровеет...

— Какое шефство? — спросил Ляпкин.

— Такое, — сказал Вовка. — Когда кому-нибудь плохо, над ним всегда шефство берут. Помогают ему, ухаживают, лечат...

— Я тоже... шефовать буду, — сказал Ляпкин.

— Не «шефовать», а «шефствовать»! — сказал Вовка. — Но ты еще маленький! И разные глупости говоришь про собаку...

— Я большой! — надулся Ляпкин. — Я не говорю глупости!

— Нет, говоришь! — сказал Вовка. — Сам любишь втихомолку жрать, чтоб ни с кем не делиться, а сваливаешь на собаку!

— А Гизи можно шефствовать? — спросил я.

— Можно, — сказал Вовка, подумав. — Она аккуратная...

Ляпкин совсем надулся. Он нагнул голову и смотрел исподлобья. А мы все гладили Дика по черной блестящей спине.

— Ну поешь немного, поешь! — сказал я, подвинув миску.

— Мой папа его застрелит! — сказал вдруг Ляпкин Маленький мрачным голосом. — И мы переедем в эту комнату...

— Не застрелит! — сказал я. — Дик его как тяпнет зубами!

— А мой папа ка-ак стрельнет! — поднялся Ляпкин, замахав руками. — Ка-ак стрельнет!

— Да замолчи ты! — тоже поднялся Вовка. — И уходи отсюда!

И тут вдруг вошел Ляпкин Большой. Мы сразу притихли. Ляпкин Большой остановился посреди комнаты. Его взгляд скользнул по стенам, по запыленному столу и стульям, потом остановился на нас. Мне стало страшно от его взгляда, я прижался к Дикю. «Он пришел его застрелить!» — мелькнуло у меня в голове.

— Ну, когда кончится эта собачья клиника? — сказал Ляпкин Большой недовольным голосом. — Ляля, ты чего здесь



торчишь? — обратился он к сыну. — Сколько раз я тебе говорил... Опять ремня захотел?

— Папа, а ты его сейчас будешь стрелить? — спросил Ляпкин Маленький.

«А рука-то у него в кармане!» — подумал я про Ляпкина Большого, и тут я не выдержал: я бросился вон из комнаты, чуть не сбив с ног Ляпкина Большого.

— Мама, мама! — кричал я на всю квартиру. — Он хочет! Ляпкин! Собаку... — и упал с рыданиями в мамины колени.

Через минуту в комнате Усов разразился скандал. Когда мы с мамой туда вошли, Ляпкин Большой стоял в окружении жильцов.

— Это... это черт знает что... — бормотал он сердито.

— Вы карьерист и жестокий человек! — кричал Зусман, весь красный, со свалившимися на кончик носа очками.

— Моему мужу тоже необходима эта комната! Больше, чем вам! — била Жарикова, дымя папиросой.

— Плевать я хотел на комнату! — кричал Зусман. — Но пусть не трогает собаку!

— Вы не смеете пугать детей и заниматься самоуправством! — сказала мама.

— Вон он сказал, что вы застрелите! — кивнул Вовка на Ляпкина Маленького. — И что вы комнату заберете...

— Эта ошшень нехарашо — стрелять такой собака! — сказала Гизина мама. — *Das ist abscheulich, so ein Hund zu erschießen!*

— Ну знаете... — развел Ляпкин руками.

— Не «знаете», а подлость! — крикнул Зусман. — И вы не смеете!

— Надоело... — начал было Ляпкин Большой.

— Это вы нам надоели! — сказал Зусман. — Все ваши интриги и подлости!

— Ну, мы пойдем, — сказал Ляпкин и шагнул вперед, чтобы взять за руку Ляпкина Маленького, который стоял позади собаки, причем немного наклонился над Диком.

И тут Дик вдруг вскочил, вырвавшись из моих объятий, и зарычал на Ляпкина Большого, оскалив огромные клыки... Шерсть у него на загривке встала дыбом... Ляпкин Большой испуганно отскочил в сторону, Вовка схватил Дика за ошейник.

— Безобразие! — пробормотал побледневший Ляпкин Большой.

— Ничего, поделом вам! — сказала Жарикова.

— А ну-ка! — сказал Ляпкин Большой, схватил сына за руку, и они вышли.

Мы услышали, как Ляпкин Маленький громко заплакал в своей комнате, все время повторяя: «Не надо! Не надо! Ой, папочка, не надо!»

— Пороть его будет! — сказала Жарикова.

— Ужасно! — сказала мама.

— Можно, мы пойдем с Диком гулять? — спросил я.

— Мы берем над ним шефство! — важно сказал Вовка. — Гизи, Юра и я!

— Идите! — сказала моя мама. — Только не спускайте его с поводка. И ненадолго...

Но неприятности этого дня не кончались. Самое неприятное было еще впереди.

Во дворе мы с Диком обошли несколько раз вокруг Памятника, но Дик шел неохотно. Мы остановились. Сначала Вовка держал Дика на поводке. Потом я. А потом Гизи. Так мы стояли и держали его, держали, а он все стоял, опустив голову.

Тут вышел Ахмет с метлой и скребком и стал чистить двор. Он подошел к нам и погладил Дика.

— Отпустите его, — сказал Ахмет. — Пусть побегает.

— Он убежит! — сказал я. — Нельзя отпускать!

— Куда убежит? — удивился Ахмет. — Зачем?

— Действительно, — сказал Вовка. — Куда ему бежать?

— Was hat er gesagt? — спросила Гизи. — Что он сказал?

— Das der Hund wegläuft, — объяснил я.

— Может, отпустим? — спросил Вовка.

— Отпустите! — сказал Ахмет.

— Пусть маленька гуляй! — сказала Гизи и засмеялась.

Вовка наклонился к Дик, отстегнул карабин от ошейника и, слегка хлопнув Дика по спине, как это делал Усы, сказал:

— А ну, Дик!

И тут произошло неожиданное: Дик поднял голову, наострил уши и кинулся со всех ног со двора...

Мы так и ахнули!

— Дик! Дик! — закричал Вовка и бросился за ним со двора и дальше — вниз по Кузнецкому.

Ахмет виновато застыл на месте, глядя вслед Вовке.

Мы с Гизи тоже побежали в ту сторону, но далеко мы не могли бежать: мне мама не разрешала и Гизи тоже, поэтому мы только до угла добежали и остановились.

Дик и Вовка некоторое время мелькали вдаль, в середине Кузнецкого, а потом их не стало видно.

Вовкин крик замолк где-то вдалеке...

Мы с Гизи вернулись к Памятнику и стали ждать Вовку. В груди у меня билось сердце и колотило под ложечкой. «Все этот Ахмет виноват!» — думал я, глядя на Ахмета, подметавшего двор.

Вовка вернулся запыхавшись. Он сказал, что Дик помчался куда-то, не оглядываясь.

— Летел как пуля! — сказал Вовка. — Наверное, хозяина побегал искать! Или на кладбище! Такие собаки всегда бегают на кладбище... на могилу...

На другой день Зусман с Вовкой ездили на кладбище, но Дика там не было. Потом Зусман подал розыск в милицию с приметами Дика. Мы ждали, ждали — Дик не возвращался. Все в квартире переживали за Дика, кроме одних только Ляпкиных: Ляпкины торжествовали! Зато с ними никто не разговаривал.

## ДЫХАНИЕ ВЕКОВ

**А**прельским солнечным утром мы подходим с Иосифом к Троицким воротам Кремля. Мы идем в Кремль! Не просто так идем, а в гости. Да, да, не удивляйтесь — мы идем в гости к одной нашей знакомой, которая живет в Кремле. Сейчас узнаете, к какой знакомой... Дело в том, что в моем детстве не все запросто в Кремль ходили. А я ходил в Кремль с родителями, потому что у отца был туда постоянный пропуск. Я гордился этим: ведь не каждому в те годы выпало такое счастье. Просто мне повезло...

Я очень любил Троицкие ворота Кремля! По-моему, это самые лучшие ворота! Конечно, другие ворота тоже красивы, особенно Спасские. Спасские даже считаются самыми главными: на них установлены старинные часы с золотыми цифрами и стрелками, которые играют «Интернационал» — нашу лучшую песню. Она называется партийный гимн. Это не только наш гимн — это интернациональный гимн всех коммунистов мира. Раньше часы играли «Коль славен наш господь в Сионе». Они это играли-играли, но напрасно: все равно царь не сохранился. Он слетел со своего трона, и теперь часы играют «Интернационал». И еще Спасские ворота самые главные потому, что из них Народный комиссар выезжает парад принимать. И все же мне больше нравятся Троицкие ворота. Почему? Во-первых, потому, что через эти ворота въехал в Кремль Владимир Ильич Ленин, вот кто! Потом-то он въезжал через другие ворота. А первый раз он въехал в эти ворота 12 марта 1918 года, когда наше правительство переехало из Петрограда в Москву. Так что эти ворота знаменательные. Символические ворота. Это во-первых. А во-вторых, они очень красивы! Ведь в них входят не как-нибудь, а по мосту. Когда-то это был подъемный мост через речку Неглинку. Неглинка именно здесь огибала Кремль

и ниже, возле Боровицких ворот, впадала в Москву-реку. И сейчас она там впадает. Сейчас она тоже огибает Кремль, но под землей, в трубе,— я же вам говорил! — и мост сейчас перекинут через Александровский сад. Странно смотреть с моста на этот сад внизу, под стенами Кремля, и думать о том, что под садом, где-то во тьме, течет река Неглинка. А она ведь там, течет, вот что интересно! Мы с отцом немного постояли на мосту, и я смотрел вниз на деревья, еще голые в весеннем солнце, увешанные вороньими гнездами, с тучами ворон над ними, смотрел на красивый Александровский сад и думал о подземной реке. И о том, как Ленин проехал здесь в восемнадцатом году, 12 марта. Интересно, о чем он думал, когда первый раз здесь проезжал, Владимир Ильич Ленин? Конечно, он думал не о реке! Он думал о победе Советской власти, о том, что вот она наконец утвердилась и въезжает в Кремль, в свою резиденцию...

Резиденция — это местонахождение правительства. Кремль и есть такая резиденция. У Ленина, наверное, было очень хорошее настроение, когда он обо всем этом думал. И у меня тоже хорошее настроение. У меня всегда хорошее настроение, когда я иду в Кремль. Особенно весной.

Внутри Кремля я сразу чувствую себя особо торжественно, как будто совсем в другом городе! Здесь нельзя бегать, кричать и шалить, говорит отец. Потому что здесь правительство работает. Здесь тишина. Только часы на Спасской башне гулко отбивают время да издали, приглушенно, доносится рокот Москвы. Там, в городе, тесно и шумно, там жизнь бурлит, и время там течет в тысячах маленьких ручейков, и скачет, и прыгает, а здесь, за стенами Кремля, просторно, светло и тихо, и время здесь течет, как в широкой мощной реке,— медленно и торжественно. Так отец говорит. Он говорит, что в Кремле слышно дыхание веков... Вы знаете, что такое век? О, это большое слово — *век!* Хотя оно и короткое. Это много-много лет, *сто лет*, вот сколько это — век! В Кремле не один век дышит, здесь много веков дышат. Они здесь и надышали такое вековое настроение. Они здесь тихо дышат, вспоминая о прошлом... Вы спрашиваете,

слышал ли я это дыхание? Конечно, слышал! Я слышал это дыхание, когда играл один во дворе позади Успенского собора. Мне очень нравится этот дворик позади Успенского собора: там никогда никого нет, там даже можно бегать и прыгать — все равно никто не увидит. На заднем углу Успенского собора прилепился к стене небольшой каменный крест, очень старый, возле этого креста я всегда и играю. Это мое место. Там вы всегда могли меня найти, чтобы не искать по всему Кремлю. Я там в классы играю: гоняю камешек носком ботинка. Я на одной ноге прыгаю. Мостовая там замечательная: она выложена большими разноцветными каменными плитами, по ним интересно скакать, и расчерчивать мостовую не надо — клетки готовы! Так вот, там я иногда, отдыхая, слышал дыхание веков. Такой тихий шум, как будто старик шепелявит: «ш», «ш», «ш», «ш»... Или ветер с камнями шепчется... Дыхание веков — это дыхание истории. В Кремле на каждом шагу история, потому что все дома — все соборы, дворцы, церкви, вообще все стены и камни, — связаны с разными историями, которые уходят своими корнями во глубину веков.

Но нам с отцом сейчас некогда заниматься этой глубиной веков, всеми этими дворцами и соборами, потому что нам нужен только один дворец — Потешный. Мы спешим в Потешный дворец — сразу поворачиваем из Троицких ворот направо и идем в глубину, параллельно кремлевской стене. Потешный дворец небольшой, желтого цвета, а Потешным он называется потому, что когда-то давно в нем был царский театр. Там устраивали разные потехи для царей и цариц — представления. Но мы спешим туда вовсе не для потехи! Мы спешим по делам: в гости к Мархлевской. Вот к кому мы идем! Это она там живет, там у нее квартира. Бронислава Генриховна Мархлевская — вдова известного революционера, друга Ленина, Юлиана Мархлевского. Он польский революционер, но в ссылках пребывал в Сибири, потому что Польша была когда-то частью Российской империи. Поэтому Мархлевский и участвовал в нашей революции. А потом он стал членом правительства. Бронислава Генри-

ховна тоже была другом Ленина. А вдова она потому, что сам Мархлевский умер в 1925 году. Он был больной, потому что долгое время находился в ссылках, как все старые большевики. Вот мы к Мархлевской и спешим, ясно вам это наконец? Ну, я рад, что вам ясно!

Мархлевская встречает нас в полутемном коридоре дворца. Она уже думала, мы не придем. Так долго мы ходим. Мы с Иосифом всегда долго ходим...

— Твой стакан давно тебя ждет! — весело говорит Мархлевская, и я сразу бегу вперед, в комнату...

Мархлевская с Иосифом медленно идут сзади, громко разговаривая. Она всегда громко разговаривает. И смеется громко. Она ни минуты не сидит без дела, даром что она маленькая и полная. Она всегда полна энергии. И веселья. По комнате она перекатывается как шарик и весело смеется. С ней вы никогда не загрустите. А если вам грустно, вы сразу перестанете грустить, как только ее увидите.

Но мне сейчас и так не грустно: я бегу вперед к своему стакану на подоконнике. Мой стакан всегда ждет меня на подоконнике, в углу, за складками тяжелой портьеры. Вам интересно узнать, что это за стакан? Обыкновенный тонкий стакан с мыльной водой! И с соломинками. Так что не удивляйтесь — я буду пускать мыльные пузыри. Я очень люблю пускать мыльные пузыри. Это своего рода спорт. Да, да! Не думайте, что я шучу. Я вовсе не шучу. Это спорт, и довольно сложный.

Во-первых, надо приготовить настоящий мыльный раствор. Просто взболтать в воде кусок мыла нельзя. Настоящего раствора так не получится: пузыри из такого раствора будут непрочными, большой пузырь вы не надуете — он лопнет. Мыльный раствор надо приготавливать постепенно. Главное — не спешить. Надо налить в стакан воды и настругать туда тонкую мыльную стружку. И ждать. Пока мыло само не разойдется. Да, забыл вам сказать, что мыло должно быть высшего качества, лучше всего медицинское. Стиральное не годится. Как только на поверхности раствора появится нежная белая пена,

раствор готов. Добавьте в него немножко глицерина и попробуйте надуть пузырь. Через соломинку. Если пузырь достигнет в диаметре сантиметров пятнадцати и не лопнет, даже если проткнуть его смоченным в растворе пальцем, значит, раствор хороший. Можете пускать пузыри. Пускать мыльные пузыри — это целое искусство. Я здорово умею пускать мыльные пузыри!

Иосиф с Мархлевской сидят на диване и разговаривают, а я пускаю по комнате пузыри. Я их с кресла пускаю. И с подоконника — высоко-высоко! Они летают по всей комнате — разноцветные, радужные, веселые. Они все время лопаются, но на то они и мыльные пузыри. Вечно они жить не могут. Но в те мгновения, когда они живут, — пузыри прекрасны! Они прозрачны и отливают всеми цветами радуги. Желто-сине-розово-зеленые — вот они какие! Светло блестят в них прямоугольные отражения голубого окна — по одному окошку с каждой стороны пузыря. Эти окошки яркие-яркие, словно нарисованы волшебной краской. В этих маленьких отражениях четко видно все, что находится за окном, — пейзаж Кремля виден! Успенский собор с золотыми куполами, колокольня Ивана Великого, деревья, и небо, и облака! Все видно в этих маленьких отражениях окон на тонкой, призрачной стенке мыльного пузыря.

Когда надуваешь большой пузырь, он вытягивается, и колышется, и начинает быстро-быстро вертеться вокруг своей оси, не отрываясь от соломинки, и все краски и отражения тоже растягиваются, и колышутся, и меняют окраску, как живые. А потом пузырь вдруг отрывается от соломинки и летит! Если дуть на него снизу, он будет долго летать по комнате, пока не наткнется на какое-нибудь препятствие. А если не дуть, он спокойно опустится и беззвучно лопнет на толстом ковре. И оставит на ковре малюсенькое мыльное пятнышко.

Сейчас я вам еще скажу великую вещь: можно пускать мыльные пузыри зимой на морозе. Почему эта великая вещь? Потому что они тогда сразу замерзают и их можно брать в руки, только осторожно, нежно, и держать в руках замерзший мыль-



ный пузырь! Здорово, правда? Но это зимой, а сейчас весна. И сейчас я их просто пускаю в комнате.

Сначала я пускаю пузыри один, а потом ко мне присоединяется отец. И Мархлевская тоже присоединяется. Они тоже умеют пускать мыльные пузыри. Мархлевская, например, сажает их на цветы. Она берет какой-нибудь цветок — тюльпан или гвоздику, — окунает его в мыльный раствор, ставит обратно в вазу, а потом надувает соломинкой пузырь и сажает этот пузырь на цветок. Очень красиво получается! Можно целый такой букет сделать. Мы и делаем такой букет. И цветы в этом букете цветут в прозрачных шарах пузырей.

А можно делать и непрозрачные шары. Это отец умеет делать. Потому что он курит. Он надувает свои пузыри папиросным дымом. Они тоже получаются разноцветными, только внутри они матовые, непрозрачные. Они лопаются на ковре, как настоящие бомбы. Только беззвучно. И над ними встают облачка дыма. Когда много таких пузырей лопается на ковре, он становится похожим на поле боя. Особенно если расставить по ковру оловянных солдатиков. А то, что пузыри лопаются беззвучно, это даже хорошо: как будто поле боя от вас далеко-далеко, так далеко, что вы даже разрывов бомб не слышите, только видите рассыпанных по полю солдатиков и над ними дымки, дымки, дымки... Просто замечательно! А мы такие огромные великаны, такие Гулливеры, боги войны — я, Иосиф и Мархлевская, — мы наблюдаем за этой битвой откуда-то из поднебесья...

Потом мы садимся на диван и делаем цепи из пузырей: цепляем один пузырь за другой, и у нас получается целое прозрачное ожерелье. Такую цепь трудно сделать, но нас же трое мастеров, мы долго стараемся, пузыри часто лопаются, но наконец мы создаем длинную прозрачную цепь пузырей... Теперь хватит! Мне уже надоело!

— Давайте чай пить! — говорит Мархлевская.

И мы садимся пить чай.

Я долго не могу заниматься одним каким-нибудь делом. Надо все время заниматься разными делами. Одним делом все время

заниматься скучно. Попускали пузыри, ну и ладно! Можно отдохнуть. Но отдыхаем мы не лежа, а в действии. Отдыхать всегда надо в действии. Как? Очень просто! Допустим, вы долго пускали мыльные пузыри и устали. Вы думаете, вам надо лежать? Как бы не так! Не лежать надо, а делать что-нибудь другое. Книгу читать. Или рисовать. Или гулять. Вот это и будет настоящий отдых. Мархлевская тоже так считает. Она говорит, что и Ленин так считал: она как-то об этом с ним разговаривала — о том, *как* надо отдыхать. Мархлевская любит говорить о Ленине, она часто о нем говорит. Как-никак, а она с Лениным вместе работала — и за границей, в Германии, и здесь, у нас, в Москве.

Так что мы сейчас будем другими делами заниматься. Я пойду гулять, а Мархлевская с Иосифом будут книгу писать. Книгу о Юлиане Мархлевском. В общем-то, ее пишет отец, а Мархлевская ему просто кое-что объясняет. И вспоминает. Как все раньше было, когда она с Юлианом в Германии жила, в 1901 году, — вот как давно это было! Они тогда жили в немецком городе Мюнхене, и Ленин тогда тоже там жил. Там был главный штаб «Искры» — первой большевистской газеты. И Мархлевские помогали там Ленину издавать эту газету. Мархлевская с удовольствием вспоминает эти дни. И как они в ссылке сидели в тюрьме, она тоже вспоминает. Только уже без удовольствия. Она все хорошо помнит.

Мы сидим, пьем чай и беседуем. Очень уютно беседуем. Комната у Мархлевской большая, таинственная. Потолки в ней сводчатые; они постепенно переходят в стены полукруглыми арками. Это очень старинное здание — Потешный дворец, потому и потолки в нем такие...

— В этой самой комнате царевна Наталья Алексеевна жила, — говорит Мархлевская.

— Какая Наталья Алексеевна?

— Сестра Петра Первого! Она очень любила брата. И похожа была на него как две капли воды. Тут она и устраивала для Петра разные потехи...

Мы на минуту замолкаем: интересно думать о том, что здесь когда-то цари разные потехи устраивали. А теперь мы устраиваем потехи. Как сейчас, с мыльными пузырями. И работаем. И беседуем. Прямо удивительно! Вот тебе и дыхание истории! И наше дыхание! Все здесь перемешалось, в Кремле...

— А если бы открылась дверь и вошел сюда Петр Первый? — спрашиваю я.

— Было бы очень интересно! — смеется Мархлевская.

— Он бы нам рассказал что-нибудь интересное? — спрашиваю я.

— Скорее бы мы ему рассказали! — смеется Мархлевская. — Ему было бы интересней послушать...

Когда Мархлевская говорит, у нее смеются глаза. А когда она сама смеется, то вся подпрыгивает на месте.

Прямо напротив меня висит большой портрет Юлиана Мархлевского: в буденновской форме, в остроконечном шлеме со звездой. У Мархлевского усы и бородка. Как у Ленина. Только немножко другие. А глаза у Мархлевского веселые, как и у Брониславы Генриховны. Портрет висит над камином, а на камине, на широкой каменной полке, стоят огромные шишки — величиной с человеческую голову. Эти шишки растут на берегу Черного моря. Мархлевская их оттуда привезла, под Москвой таких нет. Еще на камине стоят японские куклы и лежат японские веера, а вокруг по стенам висят японские гравюры — разноцветные картины на белых свитках. На них нарисованы горы, сосны, камыш, хризантемы. И еще разные птицы. Все это Мархлевская привезла из Японии: она там жила, когда Юлиан был нашим советским представителем в Японии. Он ведь тоже был дипломатом — Мархлевский.

Но самое интересное — это японские куклы. Персонажи японского кукольного театра. У них яркие старинные одежды, а головы фарфоровые. Эти головы снимаются. На одну куклу можно по очереди разные головы надевать — грустную голову, веселую голову, сердитую голову. Смотря какая вам нужна для пьесы. На камине лежат головы старичков с длинными мыши-

ными усами и головы девушек с высокими, причудливыми, черно-синими прическами и нежным розовым румянцем на лицах. А управляют этими куклами с помощью тонких палочек. Мархлевская мне уже показывала, как ими управлять...

Попив чаю, я отправляюсь гулять. Один. А Мархлевская с отцом остаются работать.

Я иду прямо к Царь-колоколу. Он стоит возле колокольной Ивана Великого, на каменном возвышении. А перед Царь-колоколом широкая пустынная площадь. Когда я туда прибегаю, по площади маршируют красноармейцы, курсанты Кремля. Я на них долго смотрю — они очень красиво маршируют! Они четко хлопают подошвами по брусчатке, нога в ногу, и звук их шагов далеко разносится над площадью. Курсанты идут к Спасским воротам и скрываются в них. Наверное, они в Мавзолей идут — сменять караул. Там всегда караул должен стоять. Потому что там Ленин спит.

А я залезаю в Царь-колокол. В нем есть треугольная дыра, а отвалившийся кусок лежит рядом на земле. Дыра большая, я в нее спокойно влезаю. Я с Царь-колоколом давно не встречался, даже немного соскучился. Я его очень люблю. Не потому, что он Царь-колокол, а потому, что он мой *тайный дом*. Я в нем играю. Внутри в Царь-колоколе темно и таинственно. Но немножко все же видно. Язык, например, видно. Какой язык? Обыкновенно какой — колокольный. Не человеческий, конечно. Язык у Царь-колокола огромный — медный, тяжелый, несколько пудов! Поднять его невозможно. Вот он там и лежит. На каменном полу. И я там на нем сижу, в этом своем тайном доме.

Я сижу и слушаю, как снаружи ветер шумит. Весенний ветер. Он иногда и сюда забегают, в колокол, и гудит, и посвистывает в колоколе, как в огромном свистке. И даже забирается мне под воротник холодными невидимыми пальцами. После чая у Мархлевской, когда я вышел, мне сначала было жарко, и я расстегнул воротник, первую пуговицу на груди. Я не люблю эту первую пуговицу, от нее всегда шее туго... Но теперь мне стало холодно...

«Взять бы Гизи сюда,— думаю я.— Как это я раньше не догадался! Показать бы ей этот дом в Царь-колоколе! Небось она такого сроду не видала в своей Германии! Обязательно надо ее сюда взять в следующий раз. Ведь ей пропуска не надо, потому что она девочка...»

Вы спрашиваете, что это за язык и почему он лежит на полу? Потому что Царь-колокол немой, вот почему! Язык у него оторвался. Вообще этот Царь-колокол очень невезучий, бедняга! Ведь колокола должны висеть на колокольнях и разговаривать между собой, звонить они должны, петь — вот что! Тогда языки у них внутри болтаются туда-сюда, колотят по стенкам — вот колокола и звонят. А этот колокол никогда в своей жизни не звонил. Не повезло ему в жизни. Дело в том, что цари с этим колоколом слишком уж размахнулись: они захотели иметь самый большой в мире колокол. Чтоб больше такого нигде не было. Потому они и велели его отлить и назвали Царь-колокол. Шутка ли сказать — двенадцать тысяч пудов он весит! Даже трудно себе представить! А поднять и тем более трудно. Его хотели поднять на колокольню Ивана Великого. Я смотрел снизу на эту колокольню, стоя возле ее стены и задрав голову,— колокольня уходит в самое небо, под облака! Попробуй, подними туда двенадцать тысяч пудов! Вот его поднять и не сумели. Колокол упал с лесов и разбился. Так с этим Царь-колоколом цари и опозорились. Они еще с одним великаном опозорились — с Царь-пушкой. Она стоит неподалеку от Царь-колокола, здесь же на площади. Если Царь-колокол никогда не звонил, то Царь-пушка никогда не стреляла. Если б она выстрелила, ее бы на куски разорвало! Мне отец говорил. Вот какие это две невезучие штуки — Царь-пушка и Царь-колокол. Отец сказал, что это очень символично. Это как нельзя лучше характеризует царскую Россию. Потому что царская Россия была велика, да бестолкова. Как этот Царь-колокол, говорит отец, и как эта Царь-пушка...

А дом иметь в Царь-колоколе очень интересно, вы со мной согласны? В Царь-колоколе эхо живет, вот что! Попробуйте

туда залезть и что-нибудь крикнуть. Бу-бу-бу! — загудит в ответ колокол. Он загудит, как замычит, — глухо. Потому что языка-то у него нет! И если шепотом что-нибудь сказать, он тоже замычит. Как немой. Только тихо. А сейчас я громко говорю: «Ха!» — и Царь-колокол отвечает: «ХА-ХА!» «Хо!» — говорю я. И Царь-колокол сердится: «ХО-ХО!» Я знаю, чего он сердится: он сердится, что ему в жизни так не повезло. И злится, что я в него залез. Ведь он все-таки царь, как ни говори! И вдруг в него залез какой-то юный большевик...

— Куда он девался, этот юный большевик? — Это снаружи Мархлевская спрашивает.

Они с Иосифом меня ищут!

— Я где-есь! — кричат я из Царь-колокола.

— Где? — не могут они понять.

— Да где-есь!

Они ходят вокруг Царь-колокола и никак не могут понять: откуда я говорю?

— Голос доносится из-под земли! — говорит Иосиф.

— Чудеса! — смеется Мархлевская. — Удивительно!

Она очень хорошо смеется! К ней сразу чувствуешь доверие, когда слышишь ее смех...

И тут я вылезаю из Царь-колокола! Под общий смех!

— Мы идем смотреть ледоход! — говорит отец.

О! Ледоход! Я очень-очень люблю ледоход! Я тоже пойду смотреть, конечно! Я бегу впереди и напеваю, припрыгивая: «Мы ходим каждый год смотреть на ледоход!» — вот и стихи получились, вы замечаете? Даже в рифму.

Чтобы смотреть на ледоход, надо подняться на открытую террасу Большого Кремлевского дворца. Она просторная, эта терраса, — широкая и длинная, во всю длину здания. Она даже за угол загибает. Мы иногда гуляем на этой террасе. Там всегда пусто. Конечно, если нет какого-нибудь съезда или заседания во дворце. Тогда я туда не хожу. Отец без меня ходит.

А сейчас мы спокойно проходим по дворцу, там никого нет, только дежурные, но они Мархлевскую знают. Мы поднимаемся

по широкой и пустынной мраморной лестнице на второй этаж и выходим на террасу... Какой широкий с нее открывается вид! Широкий и неоглядный: на юг — на Москву-реку и Замоскворечье. Кремль ведь стоит на холме, на высоком холме над рекой, и этот холм господствует над окрестностями.

Мы сразу подходим к барьеру, и отец ставит меня на барьер, крепко держа руками, и мы смотрим туда — вдаль, на серую весеннюю Москву перед нами, прорезанную полосой Москвы-реки, на которой сейчас ледоход.

Москва-река далеко уходит к горизонту — вправо и влево, — и, куда хватает глаз, всюду по ней движутся льдины, освещенные солнцем; вдали они сливаются в серую ленту, а внизу, прямо перед нами, за зубчатой полосой кремлевской стены, хорошо видны все отдельные льдины: как они сталкиваются и встают ребром, и ныряют, столкнувшись друг с другом, в черную воду реки, и опять выныривают, и спешат, спешат, спешат — серой бесконечной толпой — меж черных берегов к горизонту...

И люди видны на набережной и на мосту через Москву-реку: все, как и мы, смотрят на ледоход...

Мы стоим тихо-тихо, не разговаривая. Мархлевская смотрит на ледоход в бинокль, а мы с Иосифом просто так.

Холодный ветер носится над террасой, над Кремлем, над Москвой — он доносит к нам наверх шум ледохода. В этом шуме шипение снега, звон льда, всплески воды — все сливается в торжественный, ликующий, мощный голос весны.

— Тебе не холодно? — спрашивает Мархлевская.

— Нет, — говорю я, а у самого зубы стучат.

— Он совсем посинел! — говорит Мархлевская.

— Ничего, — отвечает Иосиф. — Дома отогреется...

Но что это? Вон я вижу серую собаку... Она сидит на льдине! А вокруг черная вода. Собака плывет куда-то вдаль по середине ледохода.

Я беру у Мархлевской бинокль и смотрю на собаку. Собака серая, с черной спиной — мне ее хорошо видно в бинокль. Она

смотрит на пробегающие мимо берега, и морда у нее грустная-грустная... Да это же Дик!

— Дик! — кричу я. — Дик! Он утонет!

Отец выхватывает у меня бинокль и тоже смотрит.

— Вроде Дик, — говорит он. — А может, и не Дик...

— Дик! Это Дик! — кричу я.

— Ничего, — успокаивает меня отец. — Кто-нибудь его выловит.

Он меня успокаивает, а сам тоже расстроен. Я же вижу! И Мархлевская расстроена.

— Знакомая собака? — спрашивает она.

— Из нашей квартиры...

Собака проплывает под мостом и скрывается вдали в бесконечном мерцании льдин...

## ДОЖДЬ

**К**огда мы подходили к дому, полил дождь. Первый весенний дождь. Он весело шумел над городом и обмывал весь мир: и черно-оранжевые, с набухшими почками деревья, и золотые купола церквей, и серые крыши, и красные лозунги, и стены, и окна домов, и улицы с площадями.

Дождь был сильный, частый, с порывами ветра. Весной всегда идут дожди, которые все обмывают, всю землю — готовят ее к цветению. «Это в природе недаром все так устроено, — думал я, входя во двор. — А то бы всегда грязно было. Если б не эти дожди...»

В нашем дворе было какое-то водяное столпотворение! Дождь устроил здесь карусель, потому что ветер, залетая во двор, начинал крутиться вдоль стен как сумасшедший, поднимая рябь в серебряных лужах, вскипая под водостоками и брызгая пригоршнями капель по оконным стеклам...



С трудом, останавливаясь и смеясь, прорвались мы сквозь эту круговерт в свое парадное.

В парадном мы отряхнулись: я отряхнул шапку, а Иосиф слил воду со своей шляпы — на ней было много воды, и я оглянулся еще раз во двор: Памятник Воровскому стоял одинокий и покинутый, потемневший от дождя, и мне показалось, что полы его пиджака развеваются по ветру.

Дома нам здорово попало от мамы. И мне попало, и Иосифу. Ему даже больше. За то, что я промок. И за то, что у меня синие губы и горячий лоб. Как будто в этом виноваты мы с Иосифом! Это же природа виновата — дождь! Но мама сказала, что это наша природа виновата, а не дождь. Вот попробуй с ней и поспорь!

Мама взяла в буфете маленькую серебряную ложку, я открыл рот, и мама, прижав мне ложкой язык, велела сказать «а?». Так мама всегда делает, когда ей кажется, что я заболел. Я тогда говорю «а?», и болезнь отвечает или «да», или «нет». Она это маме отвечает на особом языке, на котором только мама понимает. А отец не понимает. И я не понимаю. Но это «а?» почему-то должен именно я сказать, а не мама, хотя ответ слышит мама. Или врач. Врач тоже понимает ответ. Все это странно, но факт!

— Ну как? — спрашиваю я. — «Да» или «нет»?

— Да, — говорит мама. — Допрыгались вы со своим ледоходом! Горло красное и жар...

Она кладет мне ладонь на лоб.

— Мне, наоборот, холодно! — говорю я.

— Час от часу не легче, — мрачнеет мама. — Видно, серьезно. Сейчас же ложись...

Мама приготавливает мне все чистое — стелит новые простыни, надевает новый пододеяльник и наволочки, — и я ложусь. Я люблю ложиться в новую чистую постель, особенно когда мне холодно и я устал, — а вы? Я очень люблю! Простыни и пододеяльники шуршат и топорщатся, потому что они накрахмалены, у них такой прохладный, приятный, свежий запах! Это они та-

кие, потому что их китайцы крахмалили. Да, да, вы не удивляйтесь... В моем детстве почти все белье в Москве стирали и крахмалили китайцы; они были специалисты своего дела, и все, кто любил свежее белье, ходили в китайские прачечные. Я тоже с мамой часто туда ходил. Там в облаках горячего пара работали голые и худые китайцы — в одних только трусах. Потому что им было жарко. Они работали, как в бане. В те простыни я ложился, как будто нырял в прохладную реку. Все тело покрывалось гусиной кожей. Но ненадолго. Постель быстро нагревается, становится тепло и уютно...

Но на этот раз было совсем по-другому. Мне становилось все холодней. Гусиная кожа не проходила. Я дрожал. Мама дала мне градусник. Я сунул его под мышку и свернулся под одеялом клубком, накрывшись с головой. Мои зубы, когда я их сжимал, выстукивали мелкую дробь...

Родители пили за столом чай и о чем-то шептались. В комнате быстро стемнело, потому что день был и так пасмурным. Ветер выл в камине с особенной силой, и дождь порывами барабанил в окно.

— Тридцать восемь! — сказала мама, взяв у меня градусник. — И глаза у тебя красные... странно!

— Мне что-то свет мешает, — сказал я слабым голосом. — Потушите!

Мама потушила яркий абажур над столом и зажгла зеленую лампу возле окна, прикрыв ее газетой. Она села на кровать и взяла меня под одеялом за руку. И Иосиф сел на кровать. Он положил мне свою тяжелую руку на голову.

Я очень любил, чтобы они сидели у меня на кровати. Когда я засыпал. Что может быть лучше в жизни, особенно если ты болен! Ничего! Это я вам точно говорю. Да вы, наверное, со мной согласитесь. Хочется, чтобы они так сидели всегда, всю жизнь, и никуда не уходили! Тогда на сердце так хорошо, хорошо! И вместе с тем грустно, потому что боишься, что они вдруг куда-нибудь уйдут. И они ведь действительно когда-нибудь уйдут, уйдут совсем, об этом и в песнях поется, а песни никогда

не врут. И мама мне это говорила, и отец говорил, и Вовка. У Вовки ведь мама когда-то ушла, умерла то есть, как наш Усы. Только Вовкина мама не застрелилась, а просто сама умерла. И теперь у Вовки — Жарикова. Она хороший человек и к Вовке относится хорошо, любит — и его, и Зусмана, — и все-таки она мачеха. А не мама. Это совсем другое дело. Чего-то в ней не хватает, в мачехе. Мне Вовка сам говорил. Мать свою Вовка помнит слабо, как будто во сне, но все равно он ее любит больше всех на свете. Он мне показывал ее фотографию. Она такая худая, черная, с большими глазами... Но ее нет! Умерла — это значит нет и никогда больше не будет. А у меня есть мама: вот она сидит рядом со мной и держит меня за руку. И будет держать долго-долго, сколько я захочу. И Иосиф гладит мне голову рукой. У него совсем другая рука, у Иосифа, — тяжелая и шершавая. Сильная, большая рука!

Что-то есть в этих руках такое, чего нет ни в каких других человеческих руках.

Я лежу, и молчу, и думаю. И тихонько дрожу, потому что никак не могу согреться.

...Я помню — мне Вовка рассказывал, — что когда его принимали в пионеры, его спросили: а если его мама и папа сделают что-нибудь плохое? Ну, украдут чего-нибудь на работе? Как он тогда к ним отнесется? Скажет он тогда об этом в отряде? И если их в отряде осудят, готов ли он от них отказаться? А Вовка ответил, что у него мамы нет, что она умерла, что у него мачеха... Тем более, сказали ему. А Вовка сказал, что его папа и мама (даже если она мачеха) никогда ничего не украдут. Ну, а все же, и так далее... Его долго допрашивали. А Вовка все одно твердил: не украдут, и все! Его даже не хотели в пионеры принимать. Но потом все-таки приняли. Вовка мне сказал по секрету, что если бы его родители что и украли, он все равно от них не отказался бы. Вот какой человек Вовка!

Я лежу и думаю, что я бы тоже так отвечал, как Вовка. Потому что мои родители никогда не сделают ничего плохого! Разве могут эти руки что-нибудь плохое сделать?

— Мам! — говорю я тихо, дрожа всем тело. — А мы Дика видели на льдине!

— Я думаю, это не Дик! — откликается мама, и голос ее звучит откуда-то совсем издалека. — Чего бы он полез на льдину? Ты спи...

«Действительно, чего бы он полез? — думаю я. — А если это все же Дик? Бедный Дик! Где он теперь?»

Ветер гудит все сильнее. Весь дом гудит от ветра. И тут я куда-то проваливаюсь...

## ТО, ЧЕГО Я НЕ МОГУ ОБЪЯСНИТЬ

**М**ама с Иосифом сразу исчезли.

«Где они?» — думал я, оглядываясь по сторонам.

Я молча смотрел в пустоту.

Вокруг не было ничего знакомого, была сплошная чернота, в которой вспыхивали и гасли разноцветные точки, шары, шарики, звездочки...

Я протянул руку, и она вдруг стала уходить в эту полную неживых тел пустоту, рука стала вытягиваться и удаляться, но не уменьшаться, как это ни странно, а *увеличиваться*. Рука увеличивалась, увеличивалась, пальцы стали огромными, толстыми, как перетянутые колбасы; они шевелились вдали, закрывая собой все пространство.

Я притянул руку, и она опять стала маленькой...

Шарики, звезды, линии потянулись из глубины за моей рукой. Я попятился, сзади что-то не пускало меня, мягкое и упругое, а тела все надвигались...

Они вошли в меня и прошли насквозь...

Они плавали во мне, входили и выходили...

Потом они вдруг все вылетели из меня с долгим звоном; все вокруг зазвенело, голова раскалывалась, а все шарики,

точки и звезды стали собираться в одну огромную массу...

Эта масса все росла, набухала, она стала какой-то легой, серо-буро-малиновой; она притягивала меня, страшная и противная, вся скользкая; она смотрела на меня, хотя у нее не было глаз, смотрела, заполняя все вокруг, и мне стало так тоскливо и жутко! Меня охватил ужас, масса стала душить меня. Я отталкивался, брыкался, но ничего не помогало, я чувствовал, что весь истекаю потом и задыхаюсь, и я закричал:

— МАМА! МАМА-А!

— Ну, что ты, что ты, что ты? — говорила мама, обнимая меня и целуя, и Иосиф стоял рядом и гладил меня по голове.

Я трепыхался, как лист под дождем, весь мокрый, и плакал.

— Тебе что-то приснилось? Что тебе снилось? — спрашивала мама.

— Это было так страшно! — сказал я. — Я не могу вам объяснить, *как* это было страшно!

— Ну ничего! Ничего! — успокаивала меня мама. — Все прошло!

— НЕТ, НЕ ПРОШЛО! — закричал я. — НЕ ПРОШЛО! — Я чувствовал, что ОНО опять надвигается, неотвратимое, что я сейчас опять буду один, *совсем один!*

Так повторялось снова и снова, серо-буро-малиновое росло, собираясь из маленьких звенящих тел, надвигалось на меня, душило, и, когда я видел, что вот уже все, конец, оно незаметно исчезало, и я опять возвращался в нашу комнату, а потом опять все начинал сначала...

От этого бесконечного ужаса я совсем иссяк и, когда приходил в себя, лежал мокрый, горячий, с пересохшим горлом...

Я едва мог пошевелить рукой, едва мог повернуть голову, и глаза у меня закатывались под лоб...

Потом — не знаю уж, в который раз! — серо-буро-малиновое село ко мне на кровать (я уже смотрел на него почти безразлично), оно шевельнулось, у него появились руки... ноги... голова... лицо... глаза, и я увидел, что это Беспризорник!

— «Когда я был мальчишкой, — улыбнулся мне Беспризор-

ник своими ярко-белыми зубами,— когда я был мальчишкой, носил я брюки клеш, соломенную шляпу, в кармане финский нож!»

Он разговаривал, словно мы с ним знакомы!

— У тебя есть нож? — спросил я шепотом.

— Финский, финский! — сверкнул зубами Беспризорник.

— А где ты взял? — спросил я шепотом.

— Украл! — крикнул Беспризорник.

— А шляпу где взял?

— Украл!

— А брюки клеш? — Мне стало весело.

— Тоже украл! Я все могу украсть! И тебя тоже!

— Зачем?

— Так... — усмехнулся Беспризорник. — Чисто ходишь, где берешь, дай расписку, где живешь!

— А ты где живешь? — спросил я.

— В котле!

— В каком котле?

— В кастрюле!

— В сковородке? — рассмеялся я.

— В чугуне! — рассмеялся Беспризорник.

— В поварешке? — смеялся я.

— В ложке! — смеялся Беспризорник.

— Там у тебя кровать? — Мне стало очень весело.

— У меня нет кровати! — сказал Беспризорник.

— Почему?

— Потому!

— А как тебя зовут?

— Никак! Отдай мне кровать!

— Пожалуйста! — сказал я. — Возьми!

— Еще встретимся! Тогда отдам, — сказал Беспризорник.

Я хотел встать, но не мог.

— Я не могу встать, — сказал я.

— А я хочу есть! — сказал Беспризорник.

— Warum? — спросил я.

— Дагит! Потому что я хочу есть!..— Он скрипнул зубами и взмахнул в воздухе финкой...

## КАМЕННЫЙ ГОСТЬ

### Часть I

Он размахивал финкой перед самым моим носом, а я не мог пошевелиться.

Вся комната задрожала, как будто падали камни... Это открылась дверь и вошел Воровский. Он шагал тяжело.

— Ты что моих друзей обижаешь? — спросил он Беспризорника.

— Я не обижаю,— сказал Беспризорник.— Я так... мы играем! — Он спрятал нож в лохмотья.

— Это мой друг,— сказал обо мне Воровский.

— Вы Воровский? — спросил я.

— Какой Воровский? Я Виленкин...

— Какой Виленкин?

— Детский доктор Виленкин,— сказал он с улыбкой.

Он надел белый халат и сел ко мне на кровать. Он наклонился совсем близко. И Беспризорник наклонился.

— Зачем он лезет? — кивнул я на Беспризорника.— Он меня обижает!

— Как так обижает? — удивился Воровский — Виленкин.— Это же твой папа! Иосиф!

Я внимательно смотрел на Беспризорника... От напряжения заболела голова... Беспризорник улыбнулся, и вдруг я увидел, что это действительно Иосиф!

— Открой рот и скажи «а».— Человек в халате мял мне глаза.— Глаза воспалены,— сказал он отцу.

Он откинул одеяло и заголил на мне рубашку.

— И сыпь,— сказал он.— Это корь...

— А все-таки вы — Воровский! — сказал я. — Зачем вы обманываете?

Воровский подмигнул и приложил палец к губам.

Позади стояли родители. У них были очень грустные лица. Потом они все вышли, и я остался один.

В комнате было сумрачно. «Что сейчас — вечер, утро?» Сколько я так лежал один, я не знаю...

## КАМЕННЫЙ ГОСТЬ

### Часть II

Снова задрожала комната: это опять вошел Воровский. Теперь он был без халата.

— Так вы все же Воровский? — спросил я тихо.

— Конечно! — шепнул он. — Говори мне «ты»!

— А почему вы... ты сказал, что ты Виленкин?

— Неудобно при родителях. — Он опять сел на кровать. —

Они могли испугаться...

— Почему?

— Я же Памятник!

— А ты живой?

— Для тебя я живой...

— Почему — для меня?

— Потому что я тебя люблю!

— Я тебя тоже люблю! — сказал я радостно. — Очень!

— Я это знаю. Потому я и пришел...

— Можно, я тебя потрогаю?

— Потрогай. — Он придвинулся ближе.

Я потрогал складки на рукаве — они были твердые! И холодные!

— Ты — камень? — спросил я тихо.

— Камень! — улыбнулся Воровский. — Я всегда был камень!..



— Как — всегда? Ты же был человек?

— Конечно, человек! Но твердый как камень! Большевики все как камень...

— Ты никогда не плакал?

— Никогда! — твердо сказал Воровский.

— И когда тебя убили?

— Тогда я просто не успел бы, даже если б захотел.

— А почему они тебя убили, а ты не убил?

— Стреляли сзади, — сказал Воровский. — В спину...

— И отец говорил — в спину... Ты их не видел?

— Я их увидел *потом*...

— Как — потом? Мертвый?

— Я уже был мертвый, но еще мог видеть... некоторое время.

— Разве мертвые видят?

— В первые мгновения... вернее, в последние!

— Расскажи, как это все было! — попросил я. — Мне Иосиф рассказывал, но я хочу, чтобы ты...

— Я ужинал... — начал Воровский.

Но я его тут же перебил:

— Ты разве не воевал? На коне с шашкой?

— Все бывает гораздо проще, — усмехнулся Воровский. — Я просто ужинал в ресторане... А убийца сидел за соседним столиком. Белогвардеец Конради. Я его, конечно, знал, но не знал, что он будет стрелять вот тут, в ресторане, в спину...

— А я думал, что тебя убили на войне! — сказал я. Я был немножко разочарован.

— Там и была война! — сурово сказал Воровский. — Дипломатическая! Меня преследовали на каждом шагу!

— Значит, мы тоже будем на войне? Когда поедем за границу?

— А как же!

— И нас могут убить?

— Вполне...

Это мне понравилось. Не то, что меня могут убить, а то, что я буду там на войне! Ведь мы скоро поедем в Берлин!

— Ну, а дальше? — спросил я.

— Что же дальше... дальше он встал и выстрелил... Падая, я обернулся и увидел его, белого офицеришку! К нему подско-  
чили, обезоружили... Он, подлец, еще требовал, чтобы оркестр  
сыграл траурный марш... Потом я умер... Вот и все!

— Тебе было больно?

— Он обточил пулю, и она разорвала мне внутренности!

Минуту мы помолчали.

— А я бы, как только увидел их в ресторане, сразу бы подо-  
шел и убил первый! — сказал я.

— Так нельзя, — улыбнулся Воровский. — Игра должна  
быть честной!

— Они же убили нечестно!

— На то они и подонки!

— Их много?

— Много, — сказал Воровский. — И чувствуют они себя там  
вполне свободно... не то, что мы, красные... Но революция и там  
победит! Когда ты вырастешь, везде будет по-другому... А те-  
перь мне пора!

— Куда?

— На пьедестал! А то заметят, что меня нет...

— И что тогда?

— Ну, неудобно все-таки... Я ведь должен стоять во дворе!  
Теперь моя такая работа...

Он встал. Мне стало грустно, что он уходит.

— А ты еще придешь?

— Приду! Письма ты хорошие мне писал...

— А ты все прочитал?

— Все до одного! — серьезно сказал Воровский.

— А как ты понял мои буквы? Мама ведь не понимает мои  
буквы!

— Любая буква — условный знак, — объяснил Воров-  
ский. — Просто я разгадал твои знаки! Спасибо тебе!

— Пожалуйста! И тебе спасибо — за то, что ты их раз-  
гадал!

- Пожалуйста! — сказал Воровский.
- Так ты приходи!
- Непременно!

## КАМЕННЫЙ ГОСТЬ

### Часть III

**Я** лежал за ширмой и, когда просыпался, все время пил — как рыба. Есть не хотелось. Дни и ночи слились для меня в бесконечный серенький вечер. И то с перерывами. Потому что временами я куда-то проваливался, где вообще ничего не было. Иногда я видел маму, иногда Иосифа, иногда доктора. Но странно: я никогда не видел, как они приходили и уходили, — они появлялись и исчезали, как в кино «Великий немой». Я и сам был, как Великий немой.

Ни Гизи, ни Вовка, ни Ляпкин Маленький не появлялись. Им нельзя было меня видеть, потому что они могли от меня заразиться. Они были где-то там, за стенками, в карантине. Карантин — это не комната. И не дом. Но все равно в нем сидят. Сидят долго и скучно. Это очень неприятная вещь — карантин. Они только иногда передавали мне приветы. Но что мне было толку от их приветов? Я эти приветы «складывал под кровать», как говорил Иосиф. Но от этого было не легче. Правда, после первых дней мне стало немножко легче: серо-буро-малиновое оставило меня в покое. Потому мне и было скучно, что стало легче. Я теперь мог думать. И я все время думал. О Дике. И о Гизи. И о Вовке. И о Ляпкине Маленьком. О том, какие они все разные. И о Берлине я тоже думал. Что мы скоро туда поедem, и там у нас будет дипломатическая война. Вот будет интересно! Только нас-то они не убьют, фашисты! Фига с два! Мы их сами убьем! Мы все время будем оглядываться, чтобы нам не выстрелили в спину. Мы будем всегда начеку! Главное — это быть начеку...

И о Воровском я тоже думал. Он заменял мне теперь всех друзей. Я его все время ждал. Когда он приходил, мы разговаривали. О чем? Да обо всем! О революции. И просто о жизни. И даже об игрушках. И странно — его слова очень похожи были на слова Иосифа. Он говорил все почти то же самое, что Иосиф. Но вместе с тем это и не странно: ведь они оба дипломаты, наркоминдельцы. Они вместе работали за границей, в разных странах, и там подружились, я же вам говорил. Когда люди вместе работают и дружат, они почти всегда друг на друга похожи. Не внешне, конечно, а внутренне. Так сказал Воровский. И Иосиф тоже так говорит. А Воровский сказал, что мы все одного поля ягода. Красные ягоды большевистского поля — вот мы кто такие!

Родители тоже слышали, как я разговаривал с Воровским. Только они его не видели. И поэтому они называли мой разговор бредом.

Я им говорил:

— Вон Воровский! Вон он стоит! Неужели вы не видите?

А мама говорила:

— Бедный мальчик! Как я устала от всего этого!

Но потом я перестал им говорить о Воровском. Я с ним просто разговаривал, и все. Раз они его не видят. И Воровский мне сказал, что не надо им о нем говорить. Он им все равно не покажется. Пусть они думают, что он стоит там, внизу, на своем пьедестале. Показываться он будет только мне одному. Потому что он меня любит. И потому что я болен. Если б я не был болен, он бы мне тоже не показался. Потому что нет худа без добра, сказал Воровский, во всякой беде есть свои плюсы. Вы думаете, когда человек болеет, это только плохо? А вот и нет! В этом тоже есть польза, потому что человек тогда много думает. А раз он много думает, он умнеет, потому что он разрабатывает свой мозг. И потом ему показываются Памятники. А здоровым Памятники не показываются. Это мне все Воровский объяснил. Так что для кого это все бред, а для кого — не бред! В том-то и дело...

— А ты хочешь постоять на моем пьедестале, чтобы ты был в середине? А все вокруг тебя? — спросил Воровский.

— Очень хочу, — сказал я. — Только как это сделать? Может милиция заметить.

— Это будет только одно мгновение, — сказал Воровский.

— Одно мгновение не интересно! — сказал я. — Я хочу долго!

— Для нас это и будет долго, — сказал Воровский. — А для всех других, для всего мира, — одно только мгновение! Они ничего не заметят...

— Ну, если так... — сказал я. — Если так, то давай! А то я не хочу, чтобы милиция узнала. И мама. Она велит мне все время лежать...

— Для них это одно мгновение! — повторил Воровский. — Так что ты не волнуйся!

— А я и не волнуюсь! — сказал я. — Я так, на всякий случай...

Я встал с кровати, я был в длинной ночной рубашке.

— Я в рубашке, — сказал я.

— Это ничего! — сказал Воровский. — Сейчас ведь лето...

Я и забыл, что лето! Так долго я болел.

Мы взялись за руки и пошли. И мама ничего не заметила. Она сидела под лампой и печатала, а мы спокойно вышли в коридор и спустились по лестнице. Была ночь, и весь дом спал. Мы вышли во двор, не открывая дверей, прошли прямо сквозь двери, потому что они были заперты... Но это не удивительно. Памятники все могут! Попробуйте погулять с Памятником, и вы сами увидите...

Весь двор был залит луной. Она стояла высоко в небе прямо перед нашим домом и светила во двор, как яркий желтый фонарь. Окна в доме мертво поблескивали. Над парадными горели фонари, но под луной они были совсем тусклыми. В середине двора стоял пустой пьедестал, и вокруг — ни души. От луны, от мертво блестящих окон, от того, что пьедестал был пуст, все вокруг казалось искусственным... или волшебным...

Казалось, что я здесь никогда не бывал! И вместе с тем все было знакомо.

Мы подошли к пьедесталу.

— Залезай,— сказал Воровский.

Он схватил меня за бока и поставил на свое место. Наверное, странно было смотреть со стороны, как он, высокий и каменный, подсаживает меня — маленького, в белой до пят рубашке...

— Не страшно? — спросил Воровский.

— Нет,— сказал я. У меня немножко захватывало дух. Отсюда, с высоты, было еще волшебнее.— Теперь я памятник?

— Памятник!

— Памятник — чего?

— Памятник нашей дружбы! Вот тебе пистолет, держи!

— Ого! Пистолет браунинг! — сказал я.— А зачем?

— Когда пробыет твой час, ты сам поймешь — зачем! — торжественно сказал Воровский.— А теперь: внимание! Начинаем!

Он поднял руки над головой и трижды хлопнул в ладоши. Звук ударов был звонкий, как сухие выстрелы, от которых зазвенело в ушах. Потом я услышал тихую уютную музыку, как будто рядом играл оркестр. Я оглянулся — никакого оркестра не было! Но музыка звучала все волшебнее и прекрасней, пели скрипки, вздыхала труба, тихо разговаривал рояль, и я понял, что сейчас произойдет что-то замечательное... Легкий ветер раздувал на мне белую рубашку.

Воровский стоял, приподняв руки, как будто начнет сейчас дирижировать, и смотрел к выходу со двора, на Кузнецкий мост. Я тоже посмотрел туда: оттуда, из-за угла, показались какие-то танцующие фигуры; они шли гуськом друг за другом... Первая была Гизи! Потом Вовка! Потом Ляпкин Маленький! Они шли с серьезными лицами, пританцовывая под музыку, и одежда на них смутно поблескивала в лунном свете.

У меня вырвался вздох удивления, я хотел крикнуть: «Гизи! Посмотри, я Памятник!» — но Воровский приложил палец к губам...

А фигуры всё приближались, возникая из-за угла: за Ляпкиным Маленьким — Ляпкин Большой, потом Сама Ляпкина, потом Зусман, Жарикова, Усы, Фатима, дворник Ахмет с метлой, потом мама, Иосиф, — они шли и шли, пританцовывая, движения у них были странные, как во сне. Это было очень красиво!

За Иосифом показалась Мархлевская, потом Гизина мама, потом Гизин папа — да, да, это был он, я узнал его по фотографии, которую видел у Гизи; он был такой светловолосый, стройный, в спецовке...

За Гизиным папой показался Дик... Он шел на задних лапах!

Гизи подошла к Воровскому, он взял ее за руку, и все пошли по кругу, взявшись за руки: Гизи — Вовка — Ляпкин Маленький — Сама Ляпкина — Ляпкин Большой — Зусман — Жарикова — Усы — Фатима — Ахмет — моя мама — Иосиф — Мархлевская — Гизина мама — Гизин папа — Дик... Дик протянул свою лапу Воровскому, и круг замкнулся...

Все вдруг остановились, разом взглянули на меня и запели:

Как на Юрино рожденье  
Испекли мы каравай!

(«Какое рожденье? — подумал я. — Рожденье у меня зимой, в декабре!»)

...испекли мы каравай  
Вот такой ширины!

Все отошли к стене:

...вот такой ширины!  
Вот такой ужины!

Теперь все сгрудились подо мной.

Каравай, каравай,  
Кого любишь — *выбирай!* —

крикнули все...

И вдруг я увидел Конради! Я его раньше никогда не видел, но сразу понял, что это он — белый офицер; он стоял в стороне, подняв пистолет на уровне глаз, и целился, и тут я сразу понял, *что пробил мой час*; я тоже поднял пистолет и стал целиться в Конради.

Два выстрела прозвучали почти одновременно: первый выстрелил Конради, и я увидел, как упал Гизин папа, обливаясь кровью, и Конради стал целиться в Воровского, но тут прозвучал мой выстрел, и Конради вскинул руки и упал, тоже обливаясь кровью...

— Убил! — крикнул я, отбросив пистолет, и тут все пропало...

## ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ

**М**ое выздоровление мама называла «возвращением к жизни». Откуда же это я возвращался, интересно? Ведь там, где я был, тоже была жизнь — там я разговаривал с Беспризорником, проходил с Воровским сквозь запертые двери и даже стоял у него на пьедестале! И самое главное — я там убил Конради! Я это точно помню, я видел, как он упал, обливаясь кровью, на мостовую, когда я выстрелил. А он убил Гизино папу! Я это тоже помню. Я рассказывал об этом маме; она сказала, что это сон и серо-буро-малиновое тоже сон, который называется «кошмар». Но почему эти сны тогда были такими яркими, почему я от них так страдал, так мучился, так *жил* ими? И что это вообще такое — сон? Что это такое, если не какая-то другая, вторая жизнь? И почему мама не велит мне рассказывать Гизи, как Конради убил ее папу? Если это просто сон, то почему нельзя об этом сказать Гизи? Хотя я и сам чувствовал, что нельзя об этом говорить Гизи. *О том, как ее папа упал, обливаясь кровью.* Мама сказала, что всё это чепуха, *но говорить не надо...* «Я Гизи ничего и не скажу», — подумал я.



А Гизи мне еще больше жалко стало после этого сна — что она здесь с мамой, а ее папа один в Германии. Письма-то от него еще приходили, может, с ним и ничего не случится, кто его знает... Хотя ему там не весело, он все время борется с этими проклятыми фашистами, с такими, как Конради, только Конради русский фашист, белоэмигрант, которого выгнала из России наша революция, а там еще много своих, немецких, фашистов, которых никуда не выгнали, потому что они там дома и делают что хотят... Гизин папа и борется, чтобы их там всех выгнали и установили в Германии рабочую власть. Он профессиональный революционер, Гизин папа, вот он кто такой! Профессиональный — это значит, что «делать революцию» его главная работа. Раньше его главная работа была кровельщик — он делал крыши для немецких домов, но постепенно он эту работу совсем забросил, он ее так немножко только делает, для вида, а сам в основном занимается революцией. Мне все Гизи рассказывала, еще до того, как я заболел, и Иосиф говорил, он-то его знает, он познакомился с Гизиным папой, когда был в Германии. Иосиф уже много раз был в Германии, а скоро он и нас возьмет с собой, меня и маму, когда я окончательно окрепну... ну, может, немножко попозже.

Выздоровливал я медленно. Краснота глаз у меня прошла, и сыпь прошла, только кожа еще долго шелушилась, сходя мелкими чешуйками, как у ящерицы: они ведь часто меняют кожу, каждый год, а мы не часто, но тоже меняем, только незаметно, а тут, после кори, я менял ее очень заметно; я весь обновлялся, возвращаясь к нормальной жизни. И светобоязнь у меня тоже совсем прошла; теперь мама впускала в комнату солнце. Я уже вставал и играл со своими игрушками, но только один. Гизи и Вовку ко мне не пускали, пока не кончится карантин.

И вот однажды он кончился, этот длинный карантин,— было утро, в комнате ярко светило солнце. Я встал, оделся и пошел гулять во двор. Лето было в разгаре! Зеленел сквер на Кузнецкой площади перед нашим двором, и деревья были не голые, не оранжево-черные, как еще недавно, а пышно-зеленые. И двор

был какой-то новый — веселый, залитый солнцем. Дворник Ахмет стоял возле Памятника Воровскому в белом переднике с бляхой и поливал из шланга пьедестал и асфальт вокруг пьедестала. Серебряная струя воды разбивалась брызгами о Воровского, а вокруг прыгали и смеялись ребята. В углу двора рядом с дверью наркоминдельского магазина громоздились возле стены новенькие желтые ящики из-под продуктов, и ветер шевелил в них обрывками серой бумаги. Я сразу побежал к ребятам... О, как они запрыгали и загалдели вокруг меня! И Вовка запрыгал, и Гизи, и Ляпкин Маленький! И еще какие-то ребята, Вовкины товарищи, тоже в красных галстуках, как и Вовка. Все мне улыбались, и дворник Ахмет, и ребята, и Гизи своей немецкой улыбкой — она как-то стала свободнее, эта улыбка, заметил я, — и даже Воровский мне подмигнул сверху одним глазом, но я, конечно, сделал вид, что этого не заметил...

Гизи уже не была такой бледной, как раньше, она немножко загорела, а Вовка был весь в желтых веснушках, и его рыжие волосы горели, как пламя. Я чувствовал себя в центре внимания после этой долгой болезни, все закидывали меня вопросами, теребили: как я себя чувствую, да как я болел, да что я буду теперь делать, да когда мы поедem на дачу и когда в Берлин... Даже Ляпкин Маленький спросил:

— Как ты чувствуешься? — И это было очень смешно, все рассмеялись.

А Вовка сказал:

— Какой ты стал худой! А под глазами синий!

И все опять засмеялись.

А я смотрел на Гизи — какая она стала красивая! Еще красивее, чем была! Губы у нее такие ярко-красные, а волосы ярко-черные, а глаза такие большие и сине-сине-серые, как небо перед грозой! И эти ямочки на щеках! И прямой носик в середине! Нет, Гизи была очень красивой, что там и говорить! Я, конечно, сделал вид, что вовсе не на нее смотрю и не о ней вовсе думаю...

Вовка сказал:

— Давай-ка отойдем, нам нужно поговорить!

И я сказал:

— Давай!

И мы с Вовкой пошли в угол двора, обнявшись.

Ляпкин Маленький сразу увязался за нами, он шел и жевал какой-то пряник — он ведь всегда *жевал*, вы же помните,— и Вовка обернулся и сказал ему:

— Ну, что ты тут за нами жуешь?

— Я фоше шошу погавайть! — проямлил полным ртом Ляпкин.

— Нельзя! — сказал Вовка.— У нас секрет!

И Ляпкин сразу отстал.

Он стоял и грустно смотрел нам вслед. И другие ребята смотрели вслед. И Гизи.

Мы отошли в дальний угол двора и сели возле ящичной пирамиды на перевернутый ящик. Ящики были из тонких неструганных досок, перетянуты по краям проволокой, сбиты гвоздями и выложены внутри серой бумагой. Пахли они смолой и конфетами...

— Пастилу давали,— сказал Вовка.— А ящики мировые! Я взял два...

— Зачем?

— Что-нибудь сделаю! — сказал Вовка.— Может, планер, а может, еще что... этюдник, например.

Вовка ведь был художник.

— А мне сделаешь? — спросил я. Мне сразу очень захотелось иметь этюдник.

— Сделаю, когда будет время,— сказал Вовка.— Сейчас со временем туго,— и важно сплюнул... дале-еко в сторону. Вовка умел плевать очень далеко.

Я тоже сплюнул, но у меня получилось не так далеко.

— А почему мало времени? Школы же сейчас нет?

— Что школа! — с презрением сказал Вовка.— К слету готовимся...

— К какому слету?

— Вот человек! Болезнь память отшибла?

— Ничего не отшибла!

— Так я ж тебе говорил по секрету, помнишь?! Еще Ляпкин рядом стоял? Про пионерский слет?

— А-а! — вспомнил я.

— Вот те и «а»! Видишь, вон ребята ко мне пришли.— Он кивнул на школьников в красных галстуках.

Они стояли у Памятника с Гизи и Ляпкиным и о чем-то говорили, глядя в нашу сторону.

— Мы вместе готовимся,— сказал Вовка.

Я смотрел на них и думал: рассказывать Вовке про Конради, как я его убил, или нет...

— Ты лучше скажи, как ты думаешь: зачем я тебя вызвал?— спросил Вовка, как будто читал мои мысли.

— Рассказать про слет? — спросил я.

— Слет не секрет! — Вовка сделал таинственное лицо.— Есть дело, лично тебя касающееся...

«Куда это он гнет, не понятно!»

— Меня касающееся? — переспросил я.

— Тебя, тебя! — повторил Вовка, улыбаясь.— Тебя, и меня, и еще одной... ну, одного существа!

«Не Гизи ли он имеет в виду?» — мелькнуло у меня в голове. Я покраснел и тупо уставился Вовке в глаза. А он все смотрел на меня, наслаждаясь моей растерянностью, а потом наклонился к самому моему уху и быстро шепнул:

— Дик вернулся!

Я вскочил на ноги, кровь сразу прилила мне к сердцу — когда я волновался, кровь всегда прилиwała мне к сердцу и становилось жарко в груди,— но Вовка схватил меня за руку.

— Сиди! — сжал он мою руку.— Дик у Ахмета!.. Да не смотри на меня так! Сиди, как будто ничего не случилось! Они не знают,— кивнул он на ребят.— И никто не должен знать, особенно Ляпкин!

— Почему? — еле выдохнул я.

— Ты слушай! Дик вернулся вчера ночью,— быстро за-

шептал Вовка, глядя на ребят, которые прыгали вокруг Памятника, увертываясь от белой, сверкающей струи воды, которую Ахмет направлял на асфальт.— Дик вернулся вчера ночью! Худой, страшный! Весь в репьях. И лишай на боку. Поздно ночью он царапался в парадную дверь. Тут его и увидела Фатима! Она выходила парадные проверять. И взяла Дика к себе! Он у них сидит...

— А у нас...— начал было я.

— Ты слушай! Дик сейчас сидит у них! Фатима гуляет с ним рано утром и поздно ночью. Чтоб никто не видел! Главное, чтоб Ляпкин Большой не знал! А то он его застрелит или отравит! Он ведь занял комнату Усов, пока ты болел!

— Как — занял?

— Ну, «как, как»! Занял, и все! Домоуправ его вселил! Он там себе кабинет устроил! Не в этом сейчас дело! Черт с ним, с его комнатой. Только бы он Дику плохого не сделал! — Вовка на мгновение остановился.— Скажи, мы ведь брали над Диком шефство? Брали?

— Ну, брали...

— Так надо действовать!

— Как?

— Очень просто! У меня есть план! Ты слушай! Тут много зависит от тебя! Во-первых, мы должны за ним ухаживать. Есть ему носить... Так?

— Так,— сказал я.

— Это твое дело — еду таскать,— сказал Вовка.— Во-вторых, лечить его надо! Поговорить с собаководами в Доме пионеров! Это я беру на себя...

— Я тоже могу его лечить! — вмешался я.— Я могу поговорить со своим врачом Виленкиным...

— Твой врач не годится,— махнул рукой Вовка.— Тут нужен собачий врач, а не детский! Ты лучше скажи: на дачу вы когда едете? Ну, к Ване?

— Не знаю,— сказал я.— Наверное, скоро...

— Это в-третьих! — таинственно сказал Вовка.— Это самое

главное: взять Дика на дачу к Ване! Это должен ты сообразить! Ясно?

Я обрадовался! Взять Дика на дачу — это Вовка здорово придумал!

— Я... я прямо сегодня пойду с мамой на Кузнецкий, и пусть Ваня заберет! — загорелся я.

— Да нет! — остановил меня Вовка. — Так ты все испортишь! Тут спешить нельзя! Дика надо сначала вылечить! И подкормить! И надо, чтобы он поехал на дачу с тобой, а то он опять убежит! Понял?

Я кивнул.

— Гулять с ним пока будет Фатима, — продолжал Вовка. — Я с ней договорился. Она молодец, Фатима! Да и Ахмет тоже, они хорошие... Я ведь им тоже помогаю... они мне благодарны...

— Почему? — удивился я.

— А ты не знал? Учю я их... Тут, брат, все точно! — И Вовка подмигнул.

— Чему ты их учишь? — удивился я еще больше.

— Грамоте я их учу — вот чему! Это моя работа к слету пионеров по борьбе с неграмотностью. Каждый пионер должен взять двух неграмотных. Вон те ребята тоже взяли! — Вовка кивнул на пионеров.

Я посмотрел на ребят, потом на Вовку. Я смотрел на Вовку с восхищением. «Как он все умеет!» — подумал я и сказал:

— Это ты здорово придумал!

— Это не я придумал, — сказал Вовка. — Это все пионеры вместе придумали... Но главное, ты не подведи с Диком! Так по рукам?

— По рукам! — сказал я.

Мы ударили с Вовкой по рукам. Я чувствовал себя на седьмом небе. От этой тайны, которая теперь была у меня с Вовкой. Иметь общую тайну — это очень интересно! Это еще больше сближает людей.

— А когда мы пойдем к Дикун? — спросил я.

— Сейчас! — быстро сказал Вовка. — Попрощаюсь с ребятами, и пойдем! Только смотри не проболтайся!

И мы встали.

## ФАТИМА И АХМЕТ

**Ф**атима с Ахметом живут в подвале. Окно их комнаты выступает над асфальтом только наполовину, нижняя часть окна сидит в земле. В яме, закрытой решеткой. В моем окне видны только небо да крыши, а у Фатимы с Ахметом никакого неба не видно. И никаких крыш. Зато у них в окне видны ноги: человечесьи, кошачьи и собачьи. Когда мимо окна проходит человек, видны человечесьи ноги, в туфлях или ботинках, с галошами и без галош, или валенки! А если проходит кошка или собака, то мелькают лапы большие и маленькие, белые, желтые, черные, пегие! Интересно сидеть и смотреть в это окно, оно у них прямо над столом; я иногда у них сижу и смотрю, и мне тогда кажется, что весь мир населяют одни только ноги! Это какой-то ногатый мир, который видится у них из окна! Я знаю всех жильцов нашего дома по ногам! Вы-то небось знаете своих знакомых по головам, потому что никогда не смотрите на ноги, а я умею узнавать людей по ногам. Иногда, когда мама и Иосиф куда-нибудь уходят, они просят Фатиму меня взять, и тогда я изучаю в окне разные ноги. Фатима тоже здорово узнает жильцов по ногам. Даже лучше меня! Еще бы: она всю жизнь прожила перед этим окном. Наверное, потому она так любит галоши! О, она очень любит галоши! У нее страшно много галош: блестящих и тусклых, старых и новых, на красной байковой подкладке, и на синей, и на черной, галош глубоких и мелких, с острыми носами и с тупыми. Даже моя мама несколько раз дарила Фатиме галоши, я хорошо помню, и Фатима была очень счастлива. Она так любит галоши, что надевает их, даже когда сухо, а не только когда дождь, она даже в солнечную погоду их на-

девает! Она, например, любит сидеть в солнечную погоду в новых галошах перед окном на ящике. И шелкать семечки. Семечки она тоже любит. Она их очень красиво шелкает, быстро-быстро: кинет — и раз! Кинет — и раз! Кинет — и раз! Она их быстро шелкает, даже когда задумчива. Когда она задумчива, она их даже еще быстрее шелкает. Я, например, так быстро шелкать не могу. И Вовка не может. А Гизи вообще не умеет их шелкать — Гизи с одним семечком возится, как будто это орех, а не семечко. Фатима всегда над ней смеется. И над нами она тоже смеется, когда мы с Вовкой пытаемся обогнать ее с семечками. Даже Дик умеет грызть семечки лучше, чем мы. Это удивительно, но факт! Может, Фатима и любит Дика за эти семечки, за то, что он их так ловко грызет... Да, семечки и галоши — это ее страсть, как говорит мама. А еще Фатима любит вещи, разное барахло — платки, плюшевые зипуны, коверкот, яркие цветастые отрезы на платье, разные кальсоны и рубашки. И Ахмет тоже любит вещи. Поэтому, наверное, Фатима и Ахмет все время пропадают на барахолке. Это такой базар — барахолка, где продаются разные вещи, старые и новые, но больше старые. Фатима и Ахмет все свободное время проводят на этом базаре. Подметут двор — и идут на базар. По очереди. Если их нет дома, их всегда можно найти на базаре. Это все знают. У каждого ведь есть своя любовь, говорит мама, своя страсть: у Иосифа и Воровского — революция, у Вовки — рисование и выпиливание из дерева, у мамы — печатание на машинке, у Зусмана — портновское дело, а у Фатимы с Ахметом — вещи. И вот что интересно: вещи их тоже любят, Фатиму и Ахмета. Это мне сама Фатима говорила. Вещи к ним идут, сами идут, вот что интересно! Вот вы, например, пойдете на барахолку и будете там весь день в толпе бродить, среди разных вещей, а вещи к вам не пойдут. И в результате вы купите какую-нибудь чепуху, дешевку. А Фатима с Ахметом вещи любят, отвечают им любовью на их любовь. К каждому приходит то, что он любит...

...Когда мы с Вовкой спустились к Фатиме, они с Диком грызли в комнате семечки. Фатима сидела на кровати, а Дик



лежал перед ней на полу, на разноцветном лоскутном коврикe, и оба самозабвенно грызли семечки. Фатима кидала ему семечко, он его ловил и ловко разгрызал! А шелуху выплевывал! Это было просто удивительно!

Когда мы вошли, постучавшись, и остановились на пороге, посреди огромной коллекции галош, не зная, куда ступить, чтобы не попасть в галошу, в первое мгновение стало взволнованно-тихо, потому что я очень волновался, и сердце у меня стучало громко-громко, на всю комнату, и Дик, наверное, услышал стук моего сердца, потому что он на секунду замер, обернувшись, с повисшей на черном носу семечной скорлупой, а потом вдруг вскочил и кинулся на меня в неописуемом восторге, чуть не свалил меня с ног, прижав к двери, и стал меня яростно целовать своим шершавым языком и холодным носом в лицо. Собаки всегда целуются языком и носом... А потом Дик стал целовать Вовку, но не так сильно, как меня, не потому, конечно, что он Вовку меньше любил — это я должен признать, — а просто потому, что он Вовку уже видел, а меня он давно не видел.

Фатима сидела на кровати и смеялась, как всегда. Фатима ведь была хохотушка, она по любому поводу смеялась, а сейчас, когда Дик так прыгал вокруг нас, она была, конечно, рада, что может хохотать до слез, вытирая глаза уголком платка. Платок на ней был черный с розовыми цветами и зелеными листьями, очень яркий платок, и платье было яркое, голубое, а из-под платья выглядывали пестрые шаровары, а из-под них — галоши на босу ногу, новые, черные, с блестящими острыми носами...

— Ну, хватит! — сказал Вовка. — Дик, хватит! Ложись!

И Дик опять лег на подстилку, а мы с Вовкой сели рядом на пол и стали гладить Дика, а он лизал нам руки. Дик стал действительно такой худой, что можно было пересчитать все ребра на боках, и шерсть на нем стала тусклой, клочьями... Я смотрел на него, и мне его было так жалко, так жалко!

— Так ты, Фатима, никому не говоришь про Дика? — строго спросил Вовка.

— Ой, разве можно! — Фатима даже всплеснула руками. — Фатима никому словечка не будет говорить!

— Смотри! — сказал Вовка. — Гуляешь с Диком осторожно?

— Ой, так осторожно, так осторожно! — Румяная Фатима хотела быть серьезной, но это у нее плохо получалось: смех светился в ее черных глазах.

— Если Ляпкин Большой узнает, он его отравит! — убежденно сказал Вовка. — Или застрелит!

— Ляпкин плохой человек! — говорит Фатима, делая испуганные глаза. — Очень плохой!

Я глажу Дика по голове. «Где он бродил? — думаю я. — Куда-то плавал на льдине... Мы этого теперь никогда не узнаем. Бедняга! Изголодался, похудел!» Я глажу Дика, прижимаясь к нему щекой.

Открывается дверь, и в ней показывается Ахмет. Он низко нагибается, и его черная татарская тюбетейка на бритой голове касается притолки. Ахмет никогда не снимает свою тюбетейку, он ее даже в бане не снимает, говорит Фатима. Фатима называет его «князь», а иногда «палван» — это значит «богатырь», и Ахмет действительно богатырь с тонкими длинными усами. Плечи у него широкие, ноги длинные, голова маленькая. На лице блестят скулы и черные глаза. Он действительно похож на старинного князя. Татарский князь! Когда он входит, комната становится еще меньше. В ней просто негде повернуться!

Ахмет бросает на кровать большой пухлый узел и садится рядом на табуретку. Фатима что-то говорит по-татарски, развязывая узел... Там, конечно, вещи! Какие-то штаны, куртки, платки, кальсоны, рубашки... Фатима быстро говорит, перебирая вещи.

Ахмет молча улыбается.

— Ну что, карты доставать? — деловито спрашивает Вовка. — Раскинем?

— Давай, Вовочка! — говорит Фатима. — Давай карты! Ахмет мне совсем голову заморочила!

«Какие карты? — думаю я. — Неужели они тут играют в карты?»

— Вы будете играть в карты? — шепотом спрашиваю я Вовку.

— Сейчас увидишь! — подмигивает Вовка.

Все садятся к столу. И я сажусь, хотя мне как-то неловко; я знаю, что это плохо — играть в карты, мне мама говорила, это Ляпкины все время по вечерам в карты играют... И вместе с тем мне очень хочется посмотреть!

Фатима поправляет на столе клеенку, и мы садимся вокруг в тесноте. Краем глаза я вижу в окне две пары кошачьих ног: это кошка карабкается по решетке.

Вовка достает из ранца колоду карт. Карты самодельные, они вырезаны из плотной бумаги и на тыльной стороне расчерчены наискось — крест-накрест — цветными карандашами. «Неужели это Вовка сделал карты?» — думаю я. Мне становится стыдно за Вовку. «Как это он может! — думаю я. — Пионер — и в карты играет!» Вовка невозмутимо тасует колоду. Фатима и Ахмет смотрят на него серьезно. Становится так тихо, что слышно, как чирикают за окном воробьи. Вовка сдает карты, тыльной стороной вверх Фатиме и Ахмету, себе он почему-то не берет...

— Ну, Ахмет, открывай! — говорит Вовка.

Ахмет открывает одну карту и кладет ее в середину стола. И тут я вижу, что на карте нарисованы две буквы! Две буквы «Б» и «А», я эти буквы знаю, и черточка после них, вот так: «БА —» — и больше ничего! «Что это за карты такие? На картах же мужчины и женщины нарисованы, и пики, и крести, а это что же такое?» Я смотрю на Вовку, но он на меня не смотрит, он удивительно серьезен, даже важен, он смотрит на Ахмета и говорит:

— Ну?

Ахмет впивается в карту своими черными глазами, как будто хочет ее съесть; на его гладком лбу появляются морщины, он думает некоторое время, потом краснеет и произносит:

— БА!

— Правильно! — Вовка смотрит на меня с победоносным выражением, как будто это он сказал «БА!», а не Ахмет...

— У кого есть вторая половина? — спрашивает Вовка. — Фатима?

— Моя нет! — говорит Фатима, разглядывая свои карты.

— И у меня нет! — говорит Ахмет.

— Фатима, бери еще карту! — приказывает Вовка.

Фатима достает из Вовкиной колоды еще одну карту, смотрит на нее в ладонях, беззвучно шепчет губами, потом весело говорит:

— Есть!

— Что есть? — спрашивает Вовка.

— БА! — говорит Фатима.

— Молодец! — говорит Вовка. — Ну, складывай! Что получилось?

Фатима кладет рядом с первой картой вторую, удивленно смотрит на нее, весело произносит:

— БА-БА! — и смеется.

И Ахмет смеется. Только Вовка серьезен... И тут я вдруг понимаю! Они составляют слова! Это Вовка их грамоте учит! Ну и молодец же Вовка! А я думал, они в карты играют!

— Понял? — говорит Вовка. — Это такой новый метод учебы! По букварю для взрослых...

Он весь сияет, несмотря на то что серьезен. У него даже появляются капельки пота на верхней губе.

— Пойдем дальше! — солидно говорит Вовка. — Составим предложение, которое разбирали вчера...

Фатима и Ахмет опять ищут в своих картах предложение. Если у них нет нужной карты, они берут наугад из Вовкиной колоды, пока не находят нужную. Мне тоже интересно угадывать буквы, я ведь не все знаю! Фатима читает быстрее, поэтому мне становится жалко Ахмета, и я пытаюсь ему подсказывать, но получаю за это выговор от Вовки. Наконец предложение составлено, и Фатима с выражением читает его: «БАБА НЕ РАБА,

РАБА НЕ БАБА». Потом составляют второе предложение, и его читает Ахмет: «БАРЫ НЕ МЫ, МЫ НЕ БАРЫ».

— Ну, а теперь Фатима прочитает нам стихотворение «Прачка»! — говорит Вовка. Он открывает свой букварь для взрослых. — Начинай, Фатима!

Фатима краснеет и ерзает на табуретке. Она закрывает лицо уголком платка и смотрит в стол.

— «Я стираю...» — говорит Фатима и останавливается.

— Ну? — подбадривает ее Вовка.

— «Брызжет мыло, рúка лóвкая горít!..»

— Не так! — кричит Вовка. — «Руки лóвкие горят!» — вот как надо! Дайте-ка я вам прочту...

И Вовка начинает с выражением:

### Прачка

Я стираю,  
Брызжет мыло,  
Руки ловкие горят!  
Нет тоски, что прежде было,—  
Весел взгляд!

Сортирую,  
Глажу, мою.  
Нарумянит щеки пар;  
Буду вечно молодою —  
В сердце жар!

Скрылась  
Злобная хозяйка,  
Что бранилась целый день.  
Я свободна,  
Будто чайка:  
Петь не лень!

Весел труд —  
Кипит борьбою,  
Скрылась царства злая тьма,  
И хозяйка над собою  
Я сама!

— Про меня написано! — смеется Фатима.  
— Конечно, про тебя! — важно говорит Вовка. — А ты, Ах-мет, вот какое будешь читать...

Вовка листает в книжке, откашливается и начинает:

### Замужество

Он здоров, силен, мускулист,—

Вовка сделал ударение на «у».

У нее — глубокий взгляд.  
Друг на друга натолкнулись  
Года два тому назад.

Он — кузнец, она — ткачиха,  
Не спросили, чей и чья...  
Пронеслись два года тихо  
Пролетарского житья.

Льется мирная беседа  
Говорливым ручейком.  
Неизменная газета  
Друг, товарищ — за чайком.

Незатейливо простые  
Речи тают в тишине.  
Вечно гости дорогие —  
Маркс и Ленин — на стене!

— Вот,— говорит Вовка,— это стихотворение будет учить Ахмет... Ясно, Ахмет?

— Ясно,— тихо говорит Ахмет.

— Букварь я опять оставляю,— говорит Вовка, вставая,— если трудно будет, Фатима поможет... Чтобы назавтра знал половину! А Маркса и Ленина я вам принесу! Повесите над кроватью...

## ЗАГОВОРЩИКИ



**Т**еперь мы с Вовкой ходим заговорщиками. Все нам завидуют, потому что что-то чувствуют, а что — не могут понять.

Мы с Вовкой все время перемигиваемся. И с Фатимой, и с Ахметом мы тоже перемигиваемся. Потому что они тоже с нами в заговоре. А с другими мы не перемигиваемся. Вот им и завидно, что мы с ними не перемигиваемся. Ляпкин Маленький было захотел с нами перемигнуться, он думал, мы так играем. Но мы не стали ему отвечать. Он нам мигает, а мы ему нет!

— Почему ты мне не отмигиваешь? — спросил он меня.

— А что я буду тебе отмигивать? — сказал я.

— Вовке же ты отмигиваешь! — сказал он.— И Вовка тебе отмигивает! Я тоже хочу с вами отмигиваться!

— Когда мы с Юрой перемигиваемся,— поправил его Вовка,— мы имеем на уме одно дело!

— Какое дело? — спросил он.

— *Одно!* — сказал я и подмигнул Вовке.

— Какое — одно? — спросил Ляпкин.

— Такое! — сказали мы с Вовкой.

— Какое — такое? — не отставал он.

— *Некое!* — сказал Вовка.

— Не-кое? — переспросил Ляпкин.— А какое — не-кое?

Вот балда, правда? Надоел он нам, посмеялись над ним, и хватит!

— А у меня тоже есть на уме одно дело, — сказал он.

— Какое? — спросил я.

— Что мне зайчик заводную машину подарит! — сказал он.

— Какой зайчик?

— Который в лесу живет!

Мы с Вовкой расхохотались. Ляпкин всегда говорит, что ему зайчик что-то подарит. Это его мама ему объяснила, что все игрушки зайчик дарит. Чтoб меньше дарить! Чуть что, она свалит на зайчика, что зайчику некогда или еще что-нибудь. Чепуха какая-то. А Ляпкин верит.

— Ну, теперь я вам сказал, какое мое дело, а вы скажите, какое ваше! — сказал он. — И будем отмигиваться!

— Некогда нам с тобой отмигиваться! — махнул рукой Вовка. — Пусть с тобой зайчик отмигивается!

И мы пошли. Он, конечно, заплакал, но что делать? Ведь если мы ему скажем, он сразу своему папочке передаст! А это никак нельзя! Вы же сами понимаете! Вот и приходится молчать. Секрет есть секрет! Потому-то он и секрет, что его никому говорить нельзя.

Секрет иметь не так-то легко! Я уже через день это понял. Без секрета жить было как-то легче. Ходишь себе спокойно, играешь, спишь, разговариваешь... А когда у тебя секрет, ты уже не можешь спокойно разговаривать. И спать спокойно не можешь. Потому что этот секрет тебя все время мучает. Когда ты не спишь, тебе все время хочется его кому-нибудь сказать, а когда спишь, тебе кажется, что ты его уже сказал! Кому-нибудь, кому его никак сказать нельзя. Секрет, конечно, приятная вещь, но очень хлопотливая. Приятная, потому что носишь внутри себя некую ценность, о которой другие ничего не знают. И хочется с кем-нибудь этой ценностью поделиться, особенно если она сногшибательная. А поделиться-то как раз и нельзя! Вот такая это хлопотливая штука — секрет! С ним не каждый может справиться, с этим желанием разболтать секрет. Это



мне Вовка рассказал. Им так в школе объяснили. Что надо уметь хранить секреты. Враги любят разные секреты узнавать, особенно если эти секреты государственные. Им и хочется все эти секреты поскорей узнать, разным буржуйам: ну, например, сколько у нас танков и самолетов? Или: когда революция победит во всем мире? Им очень хочется узнать, сколько им жить осталось. А это секрет, большой секрет, самый важный! Его только мы знаем! А наши враги не знают! И мы должны беречь этот секрет, все секреты беречь, чтобы победить! Потому что если мы все разболтаем, мы никогда не победим! Надо молчать. Так Вовка сказал. А им так в отряде сказали. Недаром говорят, что слово — серебро, а молчание — золото! Золото ведь дороже серебра, а что дороже, то всегда лучше. Это каждому ясно.

Но все же я рассказал свой секрет. В первый же день вечером я его рассказал маме, и мне сразу стало легче. Теперь этот секрет знали я, мама и Вовка. А когда его трое знают, то он уже не такой тяжелый. Втроем-то тяжести легче носить, чем одному, вы согласны? Когда трое знают секрет, они могут о нем вслух поговорить, конечно шепотом, а не во все горло, но все равно становится легче. Ведь секрет требует, чтобы о нем говорили! Чем больше можно о нем говорить с разными людьми, тем веселей. Вот мы втроем и разговаривали. И нам было весело. И таинственно. Что у нас такой секрет! А потом мы Зусману сказали и Жариковой, и нам стало еще легче. Мы все стали заговорщиками. Теперь нас в заговоре было много человек: я, Вовка, моя мама, Иосиф, Зусман, Жарикова, Фатима и Ахмет. А потом я еще Гизи сказал. Мы с мамой посоветовались и с Вовкой посоветовались и решили, что Гизи сказать можно. Все равно она поедет с нами на дачу к Ване, и Дик поедет на дачу к Ване, это уже дома решили, так почему же Гизи об этом не сказать? Тем более, что с ней можно всюду свободно секретничать, даже в присутствии других людей, в присутствии Ляпкина Маленького например, даже Ляпкина Большого, и они все равно ничего не поймут, потому что с Гизи *можно*

*говорить по-немецки!* Я и сказал об этом Гизи по-немецки, прямо в присутствии Ляпкина, и он ничего не понял! Теперь нам было очень хорошо, даже прекрасно! Мы постоянно заговаривали о нашем заговоре, когда рядом не было посторонних, а когда были посторонние, мы без конца перемигивались. Это было просто замечательно! Некоторые даже придумали, что мы заболели тиком. *Тик* — это такая болезнь, когда у человека веко дергается и он постоянно подмигивает, к месту и не к месту. Но у нас никакого тика не было, мы сознательно подмигивали, и всегда подмигивали к месту. Хотя другим это было непонятно. Но такая уж вещь — заговор. Таинственная вещь!

Мы, конечно, не только перемигивались — мы и дело делали! То есть не забывали больного Дика: Вовка его лечил, я и Гизи носили ему еду, а Фатима с ним гуляла. Так что мы Дика не забывали, не думайте, пожалуйста: ведь Дик-то и был причиной всего этого заговора, из-за него все и заварилось. А то ведь можно забыть причину, почему ты подмигиваешь, и продолжать подмигивать просто так, из любви к подмигиванию, забыв о том, почему ты, собственно, стал подмигивать... Но мы не такие люди! «*Wir sind echte Verschwörer!*» Понятно? Это вам говорит великий заговорщик! Если вам не понятно, посмотрите в словаре, в немецко-русском, и вам станет понятной эта фраза великого заговорщика!

## ПЕРВАЯ ПРИМЕРКА

**Я** вошел к Зусману и сразу ему подмигнул. И он мне подмигнул.

— Когда же вы едете на дачу? — спросил он. — Я уже устал от всей этой истории!

— От какой истории?

— От этого заговора!

— Почему вы устали? — удивился я.

— Потому что у нас дома только и разговоров, что об этом! А Вова превратился в какого-то ветеринара! У нас полно лекарств! Они мне отрез испортили!

В комнате действительно пахло лекарствами, как в больнице.

— Мы скоро поедem... — сказал я.

— Дик, по-моему, уже здоров, — продолжал Зусман. — Я его навещал... Прекрасная собака! И ему будет хорошо на даче...

— Он будет там пасти овец, — сказал я.

— Овец? Почему он должен пасти овец?

— Потому что он овчарка, — сказал я. — Это его старинное доброе занятие!

Зусман рассмеялся. Очки дрожали и поблескивали у него на носу. Он долго смеялся...

— Ты гуманист! — сказал Зусман, отдуваясь. — Ну, давай, гуманист, примеряться...

Он набрал в рот булавок из маленькой коробки и подошел ко мне с сантиметром на шее и с жилеткой в руках. Это была моя будущая куртка, еще не законченная: без рукавов и шита белыми нитками.

— А вы меня щекотать будете? — спросил я.

— Зашем щекотать? — Зусман шепелявил, потому что во рту у него булавки. — Никто не шабираетша щекотать...

Он говорит, сжав губы.

— Ай!

— Шпокойней, шпокойней, молодой шеловек!

Зусман надевает на меня исчерченную мелом жилетку. Длинные узловатыми пальцами он залезает мне под мышки, и становится щекотно.

— А где рукава?

— Пока полушай один! — говорит Зусман и надевает мне на одну руку рукав. Он припиливает рукав к плечу.

Я вижу себя в зеркало: у меня очень смешной вид в этой жилетке с одним рукавом.

— Шикарно! Не коштюм, мешта! — говорит Зусман, отходя в сторону.

Он разглядывает меня, склоняя голову набок, как птица. Он и вправду похож на какую-то птицу. А я похож на чучело без штанов, которыми в огороде птиц пугают. Я видел такое чучело в деревне у Вани.

— Рукава немного передишты, надо поправить, — бормочет Зусман.

— Это будет фрак? — спрашиваю я.

— Зашем фрак? Ты уже хошешь фрак?

— Я не хочу фрак!

— Так и не будет никакого фрака! — весело говорит Зусман. — Зашем нам фрак? Мы же еще не штарики!

— А штаны будут?

Зусман смеется:

— А как же! Нельзя же нам ехать за границу без штанов! Вот залезай-ка в штаны... только осторожно...

— А эти штаны не «носи носом»? — говорю я опасливо.

— Зашем «носи носом»? Это нормальные штаны! — обижается Зусман. — Разве они похожи на «носи носом»?

— Нет!

Я залезаю в короткие штаны, держась за шею Зусмана. Кое-где в этих штанах булавки, и они покалывают кожу.

— А правда, что если вы костюм не сошьете, то за границу не пустят?

— Как — не пустят? Почему?

— Я не хотел идти на примерку, потому что щекотно, а мама говорит, что не пустят...

— И правильно говорит! — восклицает Зусман. — Обязательно не пустят!

— Почему?

— Потому что надо быть одетым с иголки... Стой смирно! Зусман быстро подшивает на мне штаны.

— Вот с этой иголки? — показываю я на иголку в Зусмановых пальцах. Она так и летает по воздуху, а за ней тянется нитка. — А почему не с нитки?

— Потому что иголка — это главное! Иголка шьет! Когда костюм попадает к заказчику, он сходит с иголки. И он тогда совершенно новый. Быть одетым с иголки — значит быть во всем новом! Вот и выходит, что иголка — главное! Иголка — голова, а нитка — тело...

Все это Зусман говорит, ползая вокруг меня на коленях. Он разрывает на мне белые швы.

— Похудели вы, молодой шеловек! — бормочет он, поблескивая лысиной. — После болезни талия уменьшилась!

Он разрывает швы и снова закалывает их булавками.

— Вшегда во вшем ешть главное! — говорит он и вынимает изо рта булавки. — В любом деле есть своя иголка, про которую нельзя забывать. Надо ее беречь, эту иголку! Потому что она — твой инструмент. Инструмент надо лелеять! И холить! Надо беречь свой главный инструмент, свою иголку. Если б не было этой иголки, все ходили бы голыми, ясно?

Я киваю.

— И никто не поехал бы за границу! — торжествующе добавляет Зусман, подняв свой длинный узловатый указательный палец.

И смотрит на меня своими коричневыми кружочками без зрачков.

— А на дачу? — спрашиваю я.

— А на дачу можно ехать в костюме Адама! — смеется Зусман. — В костюме Адама!

Я тоже смеюсь. Я знаю, что значит «в костюме Адама». Это значит: в собственной коже! То есть голышом!

## ЗНАКОМЫЕ КАМНИ

**У** каждого человека есть в жизни свои знакомые камни. Вот я и хочу теперь о них поговорить. Почему именно о знакомых камнях? И что это за выражение — «знакомые камни»? Понятно, когда говорят: знакомый человек. Но знакомый камень — это что-то непонятное. Хотя как сказать! Как относиться к этому камню. Сейчас я вам все объясню, и вам станет понятным выражение «знакомые камни». Дело в том, что камни в человеческой жизни самое что ни на есть долговечное. Это вам, надеюсь, понятно. Особенно близким станет вам это выражение, когда вы проживете долгую жизнь. Ну, хотя бы лет пятьдесят. Тогда у вас будут свои знакомые камни, которые станут вам дорогими и близкими. Ближе иных цветов и людей, как это, может быть, ни грустно. Но что поделаешь! Что поделаешь, если камни покоряют нас своей вечностью! А вечность — великая вещь, пожалуй самая великая из всех понятий на свете. Вот камень как раз и есть такая вечность. Хотя, конечно, не совсем: есть вещи более вечные, нежели камни. Но с этой вечностью мы, к сожалению, соприкоснуться не в силах.

Когда-то, в детстве, я часто думал о вечности, или о бесконечности, что, в сущности, одно и то же. Я об этом часто думал, когда засыпал один в своей кроватке. Или когда сидел один в сквере возле кучи песка. Правда, рядом на лавочке сидела мама и вокруг ходили люди, но ведь это не значит, что я не был один. В самой большой толпе можно ухитриться быть одному. Если думать о своем.

Сидя вот так один, я часто думал о том, что вон там кончается сквер и начинается улица. А за улицей — площадь. А там опять разные улицы, и скверы, и площади, и дома, а потом, наконец, лес и поле. Ну, а дальше? А дальше, над горизонтом,

начинается небо. Сначала воздух, потом облака. А за ними — Солнце, Луна и звезды. А дальше что? За Солнцем, Луной и звездами? Я часто спрашивал об этом родителей, и они говорили, что там, дальше за Солнцем, Луной и звездами, плавают еще другие солнца, луны, и звезды, и такие же планеты, как наша Земля... «Ну, а дальше, дальше?» — спрашивал я. Если дальше стена, конец, то что за этой стеной? Опять сквер, улицы, площади, поле и небо и так далее, до конца? А потом опять начало, а после начала опять конец? И опять начало? То есть выходит, что нет никакого конца и никакого начала? Это же просто страшно! И совершенно непонятно! Но родители смеялись и говорили, что да, все именно так! Нет никакого начала и никакого конца! И я всегда над этим думал и никогда не мог толком понять. Мне всегда хотелось, чтоб был какой-то конец. Но так, к сожалению, не бывает. Потому что за началом и концом всегда есть что-то еще. Я никак не мог охватить эту бесконечность своей кудрявой мальчишеской головой. И сейчас своей седой гладкой головой я тоже не могу этого охватить. На то она и вечность, и бесконечность, чтобы ее нельзя было охватить своей головой. Но вот что я охватил своей седой головой сейчас: что ближе всего мы соприкасаемся с этой самой вечностью через камни. Сейчас я объясню вам это подробнее...

Конечно, приятнее иметь знакомый цветок, нежели камень, скажете вы. И я с вами согласен. Этот знакомый веселее. И тут ничего объяснять не надо. Или знакомый человек — это еще дороже, что там и говорить! Особенно если этот человек хороший. Но и знакомый человек, и знакомый цветок недолговечны! Вот тут, как говорят, и зарыта собака. Потому что пройдет какое-то время, и цветок завянет, а человек куда-нибудь уедет или тоже завянет, то есть умрет. И останется он только в вашей памяти. А порой и в памяти его не останется. Потому что память человеческая тоже недолговечна. Как все на свете. Потому что, кроме самой вечности, все остальное недолговечно.

И вот проходит какое-то время, много-много лет, и ты уже не кудрявый мальчик, а взрослый седой человек, и идешь ты где-нибудь по улице или, лучше, в поле у реки. Конечно, по улице тоже приятно идти, если никуда не спешишь, а просто гуляешь, но в поле у реки все-таки лучше. Идешь ты в поле у реки и думаешь о чем-нибудь *сегодняшнем*, что занимает тебя в этот самый момент. Мало ли о чем! А о прошлом совсем не думаешь. И вдруг ты видишь в траве большой синий камень. И ты почему-то останавливаешься. Смотришь на этот камень и с удивлением чувствуешь, что он тебе знаком. Что это близкий тебе камень. Свидетель чего-то давнего-давнего, очень близкого тебе в прошлом. Ты понимаешь, что этот камень — памятник твоих воспоминаний! Вот что это такое — знакомый камень! Но пойдем дальше. То есть сядем на этот памятник воспоминаний и поразмышляем...

Дело в том, что недавно со мной был именно такой случай. Шел я один под Москвой в незнакомой мне местности. Я шагал по извилистой тропинке по-над берегом реки и думал о каких-то своих московских делах. И вдруг я вздрогнул и остановился: передо мной из травы вырос высокий причудливый синий камень с белыми и красными прожилками. Камень был похож на коня, только без головы. Зато с двумя горбами и седлом посередине. Я сразу узнал этот камень — это был мой старый-старый знакомый! И я сразу по старой привычке — как казак, долго не выдававший родную степь, вскакивает в седло или как моряк, проживший полвека на суше, всходит опять на мостик корабля, — так же и я вскочил на этот камень, сел на холодное шершавое седло между двумя горбами и огляделся...

Все вокруг было мне незнакомо! Я смотрел на расстилавшийся вокруг пейзаж — на узкую полоску реки и пустой берег, на молодые кусты и березки, на высокие каменные дома за лугом — и видел совсем другую картину. Более того: я увидел рядом с собой Гизи... Она смотрела на меня строго, подняв свой точеный прямой носик, и ветер трепал ее черные волосы... Я видел ее совершенно ясно, так ясно, что даже с ней заговорил. «Guten



Tag, Gisi!» — сказал я, и она улыбнулась мне, и на ее щеках заиграли ямочки...

Да, я увидел совсем другую картину! Рядом со мной стояла Гизи, и лоточник Ваня сидел на траве, а невдалеке на лугу паслась его лошадь. А вдали за лугом виднелись белая церковь и деревня в яблоневых садах, окнами на реку... «Боже мой! — подумал я. — Ведь это Гизи и тот самый Ваня, у которого мы жили вон в той деревне летом на даче! Но Гизи уже давно нет на свете, и Ваня неизвестно где, и нет церкви, и деревни нет! Все это мне только кажется! Остался один лишь синий камень, на котором мы летали с Гизи в тумане над рекой!» И я похлопал его ладонью по горбу, как старого коня вечности...

Я был бесконечно благодарен ему за то, что он не исчез, как исчезло почти все, что было тогда, как исчезло само мое детство. Теперь вы понимаете, что значит это выражение — «знакомый камень»? И почему эти камни могут быть нам так дороги? И почему они ближе всего к вечности? Ну, я рад, что вы это понимаете! Поэтому я приветствую вас и хочу вам теперь рассказать о тех днях, когда мы жили у Вани.

## ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА СТО РУЧЬЕВ И ОДНУ РЕКУ

**П**утешествие за сто ручьев и одну реку — это дорога на дачу. Вас, может быть, удивит, что я называю дорогу на дачу *путешествием*. Конечно, если смотреть на эту дорогу из сегодняшнего дня, более того: если повторить ее сегодня, она явится вам другой. *Она явится более короткой*. И поездку по ней уже не назовешь путешествием. Но это сегодня! А *вчера*, если понимать это *вчера* в высшем смысле, то есть *давно*, эта же дорога была очень долгой. Почти бесконечной. Спрашивается: почему так? Да потому, что мир стал меньше, чем в моем детстве, вот почему. В моем детстве мир

был огромным! Он был потрясающе огромным, не то что теперь; все это чувствовали, уверяю вас!

В моем детстве наша дача была очень и очень далеко — где-то за полями и лесами, за кустами, ручьями и оврагами, и ехать туда надо было почти сутки. Вместо одного часа, который вы потратите сейчас. Да и не только дача была далеко — возьмите, например, Дальний Восток. Он тогда был действительно дальним, туда надо было ехать и ехать, чуть ли не полмесяца. А Северный полюс, на котором сегодня люди живут, наши люди, москвичи, которые со своими семьями каждый день разговаривают оттуда по радиотелефону и к которым в гости съездить не так уж и долго — ну, несколько часов в один конец, — этот Северный полюс был в моем детстве *необитаемым*, так он был далек и так он был неприступен. Он был «белым пятном»! Сейчас он давно не «белое пятно» (хотя и остался белым, потому что на нем снег и лед), он просто место, где живут люди, он стал населенной точкой. Да что там Северный полюс! Что там Земля, когда даже Луна перестала быть «белым пятном». На Луне давно люди ходят, даже машины-автоматы, наш луноход, например, и лететь до этой Луны всего несколько дней! Вот каким маленьким стал наш мир. Не только земной, а и космический тоже.

Мир стал маленьким, он съежился, потому что съежилось время. А время съежилось потому, что быстрее стали ездить. Люди овладели скоростями. Скорости и сделали наш мир таким маленьким.

Мир стал маленьким, просто малюсеньким, дорогие мои читатели, и я тому живой свидетель. Пожалуйста, приходите ко мне посмотреть — не на мир, конечно, а на меня, который есть тому живой свидетель. Свидетель уменьшения мира. И мир будет еще уменьшаться, даю вам в этом честное слово. Но это уже дело будущего, это вы сами увидите, потому что вы и есть люди будущего. Я просто предсказываю, что в вашем будущем мир станет еще меньше. Земля тогда станет вроде... ну, вроде какого-нибудь ЖЭКа, что ли, где все будет рядом, просто рукой

подать, и переехать из Москвы во Владивосток будет все равно что перейти из одной квартиры в другую. А попасть на Луну — все равно что подняться на лифте с первого этажа на второй... Не смейтесь, дорогие читатели, поживете — увидите! Все будет так, как я говорю.

Я не знаю, лучше это или хуже, что мир стал таким маленьким. В общем-то, люди сами к этому стремились и стремятся — к уменьшению своего мира. Они хотят, чтобы все было рядом. И тут уж ничего не поделаешь. Оно в природе человека, это желание, и проявляется оно порой бессознательно. Человек все вокруг себя концентрирует, то есть собирает, ему хочется все под боком иметь, все потрогать, все рассмотреть, все иметь при себе. Это, конечно, ему приятно. А потом ему вдруг становится неприятно, что он оказывается в такой тесноте. В тесноте вещей, предметов, расстояний, в тесноте себе подобных, то есть людей. И ему хочется быть от всего этого подальше, ему хочется ощутить возле себя *пространство*, пустое пространство, в котором он мог бы развернуться, как в пустой квартире... Но для чего ему нужна эта новая квартира, как вы думаете: просто ради пустоты? Вот и нет! Она нужна ему для того, чтобы опять наполнить ее собой: своими вещами, сооружениями, своими мыслями, черт возьми, в конце концов! И опять-таки себе подобными, своими родственниками — людьми! А потом опять переезжать в пустую квартиру, потому что он снова начинает сердиться, что ему тесно.

Вот какое существо — человек, и тут уж ничего не поделаешь: таким он создан. И жив он будет до тех пор, пока таким останется. Пока в нем живут эти противоречия. Как только противоречия умрут, то есть как только человек на чем-нибудь успокоится — на пустой ли квартире или на тесной, — так он погибнет. Он умрет от бездействия, от отсутствия желания. Потому что жизнь — это желание и действие.

Так что я не знаю, хорошо это или плохо, что мир стал таким маленьким. Я просто знаю, что это так, потому что у меня есть некоторый жизненный опыт. Я знаю, что, когда мне надоедает

теснота, я стремлюсь к пустоте, а когда надоедает пустота, я стремлюсь ее чем-нибудь заполнить...

Сейчас, чтобы поехать на дачу моего детства, то есть в деревню за Москвой-рекой, на высоком берегу, вы должны сесть в электричку или в автомобиль, и через час вы на месте. А в моем детстве вы садились в телегу и ехали с четырех утра до позднего вечера. Вы брали с собой чемодан или узел продуктов, чтобы по дороге завтракать, обедать, а то и ужинать.

Но я не скажу вам, что дорога была скучной. Нет! В том-то и дело, что она была вовсе не скучной. Она была очень интересной. Вот посудите сами...

Мы тряслись в телеге, устланной сеном, посреди чемоданов и узлов: я, Гизи, моя мама, Гизина мама и Ваня — он правил лошадью. Седая в яблоках лошадь, по кличке Мальчик, неторопливо трусила впереди телеги в оглоблях под высокой расписной дугой. Дик бежал рядом по дороге. Москва давно уже осталась позади. Вокруг были поля, луга и перелески. Было раннее-раннее утро. Яркое желтое солнце медленно сопровождало нас низко над землей. Солнце было прохладным, небо чистым, ветер еще не появлялся, как часто бывает в такие вот утра. Мы с Гизи сидим впереди, рядом с Ваней. Мы смотрим вперед, как медленно разворачивается впереди земля, отходя в стороны, а в середине виляет по холмам ухабистая дорога. Наши мамы сидят сзади, им не надо смотреть вперед, потому что они в своей жизни уже много раз смотрели вперед, им, наверное, это уже надоело, и они смотрят назад, где горизонт смыкается и все уходит в него, опять становясь маленьким. Они и в разговорах *смотрят назад*, наши мамы, они любят говорить о прошлом, они любят смотреть в горизонт минувшего, где все такое же маленькое, как и впереди, но знакомое. И дорогое. Потому что оно уже было. Вот они и любят об этом поговорить. Особенно о нас, детях. Мы там очень маленькие, в этом горизонте минувшего, мне мама рассказывала, мы там такие малюсенькие и смешные. Мы там грудные, я и Гизи. И мамы любят вспоминать о том, как мы родились, и пили мо

локо, и росли. Мы-то сами этого не помним. Для нас горизонта минувшего почти нет, он у нас куций, наш горизонт минувшего, и бедный. А у наших мам он большой и глубокий, в нем много интересного, потому что они много жили и много видели.

Зато мы с Гизи любим горизонт будущего! Он у нас больше, чем у наших мам, потому что мы моложе. Там все загадочнее, в нашем горизонте, все полно ожидания, все новое. Вот как сейчас.

Впереди все слилось в один зеленовато-голубой фон, туманный и нежный, как акварельный рисунок, где все очертания смазаны кистью. Но вот вы приближаетесь, и фон оживает, дробится, принимает очертания. Голубая полоска в стороне от дороги становится полем льна с желто-голубыми кустиками, они шевелятся, потому что проснулся ветер и дует на них, а островерхие шапки великанов за полем оказываются просто стогами сена на лугу. А пестрые пятна — коровье стадо. Коровы смотрят на нас и жуют, пока мы проезжаем... А вон, видите, серое пятно на дороге? Оно застыло, словно серый камень, но вы приближаетесь, и камень вдруг вскакивает и несется вперед по дороге, поднимая пыль длинными ногами, и вы узнаете зайца! Дик сразу кидается за ним — но куда там: хоть Дик и сильный, а зайца ему не догнать! Зайца никому не догнать — такие у него длинные ноги. Дик возвращается с виноватым видом. Он не понимает, что ничего тут стыдного нет — не догнать зайца, — Дику кажется, что это позор... А там, впереди, еще какие-то темные точки на скошенном поле, темные неподвижные точки, коричневые; они увеличиваются, одна рядом с другой; издали они похожи на ряд маленьких памятников на серых пьедесталах. Мы подъезжаем ближе, и вдруг памятники исчезают! Раз — и их нет... Как будто они вдруг растворяются в воздухе или проваливаются под землю, в свой серый пьедестал. И они действительно проваливаются, потому что это никакие не памятники — это сурки, живущие под землей. Там у них длинные норы, говорит Ваня, вот они туда и проваливаются. Дик их тоже заметил, он, конечно, сразу бежит туда и начинает

копать землю там, где эти сурки провалились. Он копает долго и постепенно отстает, сам превращается в серую точку, потом опять догоняет нас, запыхавшись, высунув язык, и морда у него вся перепачкана землей. И опять у него виноватые глаза... Что поделаешь! Мир полон загадок, он не так-то прост! Этот мир доставляет Дику много хлопот. Потому что Дик доверчив и наивен. Как всякий горожанин, попадающий за город. Ведь он первый раз едет на дачу. И Гизи первый раз. Я-то не первый. Потому я смотрю на все более спокойно. Хотя мне тоже интересно.

Гизи поражают эти просторы, эти бескрайние поля и леса, эти ручьи и овраги! Этот горизонт! Это огромное небо! Я чувствую себя хозяином всего этого и немножко воображаю. Это ведь все мое — это моя родина. И Ванина родина, и мамина. А для Гизи это чужая, незнакомая страна.

— Я сейчас буду править лошадьё! Jetzt werde ich das Pferd lenken! — говорю я важно.

— Kannst du denn das? — спрашивает Гизи.

«Могу ли я?» — спрашивает она. Конечно, могу! Я — да не могу! Это же моя родина, я тут все могу!

Ваня дает мне вожжи. Он дает их мне просто так, как будто я всю жизнь только и делаю, что правил лошадьми. Молодец Ваня! Он меня понимает. Он подмигивает мне, кивая на Гизи.

— Вези невесту! — говорит он, улыбаясь. — А я часочек вздремну...

Ваня ложится позади нас в сено, подстелив фуфайку под голову. И сразу засыпает от бесконечного потряхивания телеги. А я держу вожжи, и сердце у меня замирает от гордости.

— Но! Но! — говорю я. — Балуй, нечистый дух!

Я стараюсь говорить басом.

Могучий Мальчик удивленно косится на меня из-под дуги огромным бархатным глазом. Он трусит не торопясь, но весело, потому что знает, что едет домой. Домой лошади всегда бегут веселей. В животе у Мальчика екает. Я знаю: это селезенка у не-

го екает, мне Ваня говорил. Селезенка у лошади всегда екает, когда лошадь, усталая, бежит по дороге.

— Weißt du, was bei ihr im Bauch bummelt? — спрашиваю я Гизи.

— Was?

— Die Milz! — говорю я важно. — Селезенка!

И Гизи совершенно подавлена. Она смотрит на меня во все глаза. Она же не знает, что это селезенка. И править лошастью она не может! Она боится! У нее лошадь сразу заедет куда-нибудь в сторону. А у меня не заедет! Я знаю, как править! Меня Ваня научил.

Телега тарыхтит, как будто что-то бормочет: «Тарах-тарах-тарах!» Похрапывает Ваня, наши мамы весело беседуют позади нас, вспоминая свое прошлое. А я сижу рядом с Гизи и держу в руках тяжелые ременные вожжи. Я везу Гизи на дачу! Я теперь главный, я правлю этой огромной лошастью, этой тарыхтящей телегой! Потяну немного левую вожжу — и лошадь идет влево, потяну правую — и лошадь идет вправо. Я могу прямо в поле заехать, если захочу! Вот-то все испугаются! Ну да ладно! Не надо их пугать. Пусть телега катится по дороге. Пусть себе тарыхтит спокойно, как будто стихи бормочет, свои особые тележные стихи:

Тарах-тарах-тарах-тарах!

Тарах-тарах-тарах!

Я смотрю на черный блестящий хвост прямо передо мной; иногда он задевает меня по носу, путаясь в вожжах; тогда я дергаю вожжи, лошадь поднимает голову и чуть прибавляет шаг; и телега тарыхтит сильнее, и в голове у меня складываются стихи; они словно наматываются на колеса, строчка за строчкой, как километр за километром

Огромный мир не так-то прост,

Тарах-тарах-тарах!

У лошади огромный хвост!

Тарах-тарах-тарах!

Сейчас я эти стихи уже точно не помню, я только помню, о чем они были; звучали они примерно так:

Огромный мир не так-то прост,  
Как кажется подчас!  
У лошади огромный хвост,  
Какого нет у нас!

Есть у нее, как у стола,  
Две пары мощных ног!  
Она, конечно бы, могла  
Втоптать меня в песок!

Но лошадь сильная добра,  
Прилежно служит нам:  
В телеге с самого утра  
Везет нас по холмам.

Она не спрашивает, чьи  
Четыре седока. •  
Шагает вброд через ручьи,  
Дорога — далека!

А все вокруг, а все вокруг —  
Из света и из тьмы —  
Глядит, сойдясь в безмолвный круг,  
Как в центре едем мы!

Глядят кузнечики на нас,  
Лягушки и слепни —  
Мильоны любопытных глаз  
На солнце и в тени!

Коровы медленно жуют,  
Когда на нас глядят.  
Сурки на цыпочки встают,  
Выстраиваясь в ряд.



Взирает, крылья распластав,  
Орел из облаков.  
И гусеница, веткой став,  
Нам вслед глядит без слов...

С телеги скоро я сойду  
И лягу возле пня.  
И всех лесных жильцов найду  
В зеленом шуме дня!

Не поднимая головы,  
Дыханье затая,  
Лежать в сетях густой травы  
Так долго буду я,

Что дятел наконец начнет  
В свой барабан стучать!  
Кузнечик танцевать начнет!  
Кукушка — куковать!

Примчатся белка и сурок,  
И заяц прибежит.  
От топота мохнатых ног  
Поляна задрожит!

Увидят все, что мальчик я  
С кудрявой головой!  
Что нету у меня ружья,  
Что всем вокруг я свой!

Мне всяк захочет другом стать,  
Мы перейдем на «ты»  
И будем весело играть  
До самой темноты!

Так мы ехали целый день — то в полях, то в лугах, то в лесу, спускались в овраги, переезжали вброд ручьи и карабкались вверх по склонам. На обед мы останавливались возле ручья, заросшего кувшинками. Здесь Ваня распряг Мальчика и пустил его пастись на дуг, спутав ему передние ноги, чтобы он далеко не ушел.

Мальчик тоже должен был отдохнуть и пообедать. А мы вскипятили чай на костре, как настоящие путешественники. Потом мы отдыхали, раскинув руки и глядя в небо, где бежали без отдыха белые кудрявые облака... А потом опять запрягли и поехали дальше.

Когда мы добрались до Москвы-реки — до последней преграды перед Ваниной деревней, — солнце наконец обогнало нас, скрывшись за горизонтом, и на смену вышла луна, осеребрив потемневший вокруг мир.

Тут дорога спустилась на пляж. Мы слезли с телеги, потому что Мальчику стало трудно ее тащить по песку, и пошли сзади, увязая в холодном песке ногами. Ваня шел рядом с Мальчиком, понукая его, и оба они почти растворились в густом синем воздухе ночи. Дик вообще где-то исчез.

За рекой тявкали и заливались воем собаки, колеса шипели в песке, еле слышно журчала впереди вода, струясь через перекат. Река мне показалась бездонной пропастью, черной как деготь, только в одном месте, куда Ваня направлял Мальчика, тянулась по воде серебряная лунная дорожка. По этой дорожке мы и поехали, взгромоздившись опять на телегу. Шумела вода. Ваня, Мальчик и Дик плюхали рядом, как волшебные существа, посеребренные лунной пылью; сверкали брызги; от шумящей воды веяло холодом; в стороне — внизу и вверх — поблескивали в черноте звезды; я смотрел на них и клевал носом — так мне хотелось спать; и вот я уже спал, все еще продолжая видеть вокруг себя эти редкие звезды; потом я вдруг ощутил тепло маминых рук и тишину... Так я и приехал на дачу — спящий, в окружении звезд, на руках у мамы...

## ГОРИЗОНТ В ЧИСТОМ ПОЛЕ

**П**омните, в первой главе я писал, что вижу свое детство в тумане времени? И это действительно так! Многие я помню хорошо и подробно вам описываю, но еще больше, что я не описываю, закрыто туманом. А в Ваниной деревне, помимо тумана времени, я вижу еще туман настоящий, в подлинном смысле этого слова. Настоящего тумана там было очень много — тумана влажного, состоящего из невидимых капель речных испарений, тумана лилового, голубого и белого, движущегося и неподвижного и густого-густого, скрывающего все вокруг, затягивающего непроницаемой пеленой горизонт, и далекий лес, и берега реки, и деревья, и деревенские улицы с домами. Туман и еще дым от печных труб и рыбацких костров на реке мы очень любили наблюдать вчетвером: я, Гизи и наши мамы. По туману и дыму мы предсказывали погоду. Мы выходили за деревню на широкий луг перед рекой, на котором всегда паслись кивающие головами кони, и среди них наш Мальчик, — мы выходили на этот луг в часы заката и смотрели в туман: как он собирается над рекой, растекаясь по лугу. И на дымки мы смотрели. Если туман стремился вверх, в светящееся от закатного солнца небо, а дымки поворачивали, наоборот, к земле, — значит, погода портится, жди дождя и холода. А если туман прибывало к земле, если он все уплотнялся над рекой и лугом, становясь как вата, а дым, наоборот, поднимался столбом в небо, — значит, жди хорошей погоды. Как тогда говорили — ведро. И что мы предсказывали, всегда сбывалось.

Я отлично помню эти туманы, их в то лето было особенно много. Они жили, бродили, дышали рядом, засовывая все в свой карман: лошадь или часть лошади, дерево или часть дерева, кусок берега, речку, весь мир!

Как только мы приехали на дачу, утром на другой день мы

сразу побежали с Гизи смотреть туман на реке. Пока мы бежали к реке, все вокруг было белым-бело, вся деревня плыла в тумане: в белом молоке висели крыши, окна, куски заборов, колодезный журавель, скамейка возле плетня, не целая, а только кусок — так хитрый туман распахал по карманам весь этот мир, — все это кусками плавало вокруг нас, пока мы бежали, и солнце бежало вместе с нами, и колокольня, но колокольня с кусками деревни быстро отстали, и из тумана вынырнула река, кусочек реки с обрывистым берегом, и синий с прожилками камень над рекой, похожий на конька-горбунка с двумя горбами и седлом посередине.

Мы с Гизи вскочили на этого коня и долго скакали в сказочном мире, который был совсем ни на что не похожим. Мы летели на коньке-горбунке высоко над землей, и только солнце все еще летело вместе с нами в этой заповедной стране, летело, как странная оранжевая планета без горячих лучей, а мы смеялись, и смех звучал приглушенно, как будто мы смеялись в вату, и вместо эха отвечали нам сбоку невидимые в тумане вороны своим хриплым карканьем... Так мы долго парили рядом с солнцем, а потом туман рассеялся, и мы приземлились над рекой, на краю широкого луга, позади которого лежала деревня, а впереди под высоким берегом — река, а за нею пляж, и опять луга, и синяя полоска леса на горизонте...

Так я показал Гизи горизонт в чистом поле; она смогла на него насмотреться, насмотреться впервые в жизни, потому что у себя в Германии она никогда не видела такого горизонта, тем более что жила в городе. Где-то там, где садилось по вечерам оранжевое солнце, жил Гизин папа в Германии; он делал там революции, и поэтому закат был таким красным, как говорила Гизина мама, таким тревожным, потому что Гизин папа писал в своих письмах, что очень скучает по Гизи и по ее маме, что он очень хочет приехать к нам в Россию, посмотреть на наш горизонт и на Гизи, как она тут живет. Ему было там одиноко, у него не было квартиры; он писал, что ночует прямо на столе в комитете партии, что он хотел было снять комнату, но, когда хозяева

узнали, что он коммунист, ему в комнате отказали. Он писал Гизиной маме, что много работает, почти не спит, что работает хорошо, что партия стала сильнее, хотя она все-таки еще маленькая, не такая, как должна быть, и что им мешают какие-то там социал-демократы, и из-за этих социал-демократов им труднее бороться с фашистами... Я успокаивал Гизи, говорил, что я скоро туда поеду, и передам привет ее папе, и посмотрю, как он там живет, и привезу его с собой в Москву. И Гизи улыбалась и говорила: «Давай уж скорее езжай в Германию!» И я обещал ей, что мы скоро поедем.

Когда мы туда поедем, зависело от отца, а он еще от кого-то там зависел в Наркоминделе, а тот в Наркоминделе еще от кого-то зависел — ибо все в этом мире бесконечно друг от друга зависят! — поэтому отец и остался в Москве, на работе, выяснить все эти зависимости.

## КАК ШЕПЧУТСЯ РАКИ

**А** дока я показывал Гизи разные места, которые мне подарил отец в прошлом году... Вы спрашиваете, как мог мне Иосиф подарить какие-то там места? Вы говорите, что хоть он и отец, а этого он никак не мог сделать? Ведь место не вещь, ее не унесешь в кармане! Как он мог, например, подарить мне место на реке, где ловятся раки? А вот и мог, представьте себе! Подарить такое место — это значит *объяснить* его, посвятить вас в тайны этого места, открыть его вам, показать всю его прелесть. Непосвященный человек пройдет мимо этого места, ничего особенного не заметив. А посвященный заметит — я, например! Потому что меня отец посвятил в тайну разных таких замечательных мест. Объяснил их мне. А я их теперь объяснял Гизи. И она была в восторге, клянусь вам... Но сначала я проделал такой опыт. Я привел Гизи на одно такое место на реке, которое подарил мне прошлым летом Иосиф.

Я привел ее туда как бы между прочим, хотя заранее к этому подготовился, нарочно взяв из дому рогульку и кусочек сырого мяса (сейчас поймете зачем!). И мы побежали на речку. Но я-то знал, куда я бегу! А Гизи, конечно, не знала, она просто так бежала. Когда мы подбежали к этому месту, я остановился, и Гизи, конечно, остановилась. Я стоял, заложив руки за спину, и с *нарочно безразличным* видом посмотрел вокруг — на крутой берег, поднимавшийся здесь ступеньками, на густую осоку возле воды и чистое окошко с песчаным дном в этой осоке, на маленький ивовый кустик невдалеке... Обычное место, скажете вы. Но я-то знал, что место здесь необычное! Гизи тоже невольно посмотрела вокруг, следуя за моим взглядом, но ничего особенного не заметила.

— Na komm doch weiter! — сказала она («Пойдем дальше!»), но я все стоял на месте.

— Merkst du hier was Besonderes? — спросил я ее. («Замечаешь ли ты тут что-нибудь особенное?»)

— Nein,— сказала Гизи, посмотрев еще раз вокруг.

— Смотри, смотри внимательней! — сказал я важно и таинственно.

— Да пойдем же! — сказала Гизи нетерпеливо. Она это сказала по-немецки, по-русски она все еще плохо говорила.

Она уже хотела шагнуть дальше, она думала, что я над ней смеюсь, но тут я сказал, таинственно понизив голос:

— Hörst du die Krebse flüstern? (То есть: «Слышишь, как шепчутся раки?»)

В черных глазах Гизи мелькнуло любопытство. Мы оба замолчали и прислушались. В воздухе над берегом стоял еле слышный шепот...

— Das ist das Schilf,— сказала Гизи. Она думала, это осока!

Я рассмеялся, счастливый. Я не знаю, почему я стал вдруг такой счастливый!

— Gleich zeige ich dir, wer das flüstert! — сказал я, доставая из кармана кусочек мяса.

В руках у меня еще была заготовленная дома рогулька. Гизи

смотрела во все глаза! Я привязал мясо к рогульке и подошел к чистому окошку в осоке. Берег здесь был удобный: он подходил к воде невысокой ровной ступенькой, покрытой мягким ковром травы. Я велел Гизи лечь на живот и смотреть в воду. Сам я тоже лег на живот. Я взял свою рогульку за длинную ручку и опустил два коротких конца с привязанным к ним куском мяса в воду, на дно. В прозрачной воде рогульку с мясом было хорошо видно. Она казалась больше, чем на самом деле. Она лежала на светло-коричневом песке, и кончик веревки, которой привязано было мясо, чуть колыхался, теребимый течением. Сюда доставали солнечные лучи, освещая чистый песок и разноцветные камешки на дне, а дальше во все стороны речное дно постепенно уходило в мягкую синевато-коричневую тень, растворяясь в этой холодной тени. Там был особый, таинственный мир, отделенный от нас поверхностью реки. Туда мы смотрели сейчас затаив дыхание. Я знал, что ждать нам недолго... Через минуту я толкнул Гизи локтем, скосив глаза вправо: там, из речной глубины, показался сначала темно-зеленый рачий хвост, потом ноги, потом клешни и голова с усами! Рак двигался задом! Раки всегда двигаются задом, уж не знаю, почему так, им почему-то так удобнее. Вслед за первым показался второй рак, потом третий и четвертый... Они двигались к мясу! Ведь мясо было немножко протухлым и распространяло в реке соблазнительный запах. Вот они и ползли на этот запах! Глупые раки! Это они шептались под водой, а вовсе не осока, ясно вам теперь? Раки всегда шепчутся, как старые заговорщики, как речные сплетники. Положите когда-нибудь в корзину много раков и приложите ухо: вы услышите громкий рассерженный шепот! Это раки ругают вас и весь мир, они все проклинают громким шепотом. Послушайте их когда-нибудь специально, чтоб не быть на них похожими. А то люди иногда бывают похожими на этих раков, и это очень противно...

Сейчас в реке раки залезли на мое мясо, и рвали его клешнями, и всасывались в него острыми мордами, шепотом переругиваясь и отпихивая друг друга. Я немножко подождал, пока они крепко вопьются в мясо, самозабвенно высасывая из него

сок, и тогда я резко взмахнул рогулькой, выкинув ее из воды... Два рака не успели оторваться от мяса; они описала в воздухе полукруг и шлепнулись в траву позади нас! Гизи испуганно отбежала в сторону, а я взял одного рака двумя пальцами сзади, под грудь, и показал его Гизи. Рак хватал клешнями воздух и громко хлопал по собственному животу хвостом. Он хотел меня испугать. Но меня он не мог испугать, как ни старался. Только Гизи он испугал, хотя он ей и понравился. Она даже потрогала его пальцем, но взять побоялась, да это и понятно: ведь она все-таки девочка, хоть и дочь немецкого коммуниста. Все девочки боятся разных таких тварей — лягушек, гусениц, ящериц... На то они и девочки!

Другого рака мы тоже нашли в траве: он было чуть не уполз обратно в реку. Я связал обоих раков веревкой и сказал, что мы их возьмем домой и дома сварим и съедем... И тогда Гизи увидит еще одну интересную вещь: она увидит, как рак в кипятке покраснеет! Он покраснеет от горя, что его сварили. Человек от горя чернеет, а рак краснеет.

Гизи было все это очень интересно; она слушала меня с восторгом и весело прыгала, когда раки хлопали себя по животам хвостами... Теперь Гизи поняла, какое это место! Я ее посвятил! Она согласилась, что это место особенное, что это заколдованное рачье место, на вид такое обычное, если ты в него не посвящен. Я сказал Гизи, что покажу ей еще такие же заколдованные места, только не рачьи, а другие.

— Дай только срок,— сказал я,— я тебе много чего покажу!..

И тут вдруг кто-то хихикнул... Мы оглянулись — никого рядом не было. «Что это, рак, что ли, хихикнул?» — подумал я. Тут опять кто-то хихикнул, громче; ясно было, что это человек, а не рак — но где? Вокруг было пусто!

— Кто это там хихикает? — сказал я громко. — А ну, вылезай! Я тебя вижу!

Так я нарочно сказал, на самом-то деле я никого не видел, но как только я это сказал, из высокой травы над обрывом высуну-



лись две головы. Сами головы были темными, а волосы вокруг них светились ярким золотистым сиянием, потому что сзади на них падало солнце. Это были деревенские ребята из соседнего дома, Санька и Петя. Они быстро скатились вниз по обрыву и подошли, с любопытством глядя на Гизи. Санька был чуть выше меня ростом, худой, а Петька маленький и толстый. Оба были загорелые, с темными веснушками на медных лицах, с копнами седых от солнца волос, босые, в широких черных штанах до колен и пестрых рубахах.

— По-каковски это вы тут балакаете? — спросил Санька.

— По-немецки, — сказал я.

— А ну-ка, скажите еще что-нибудь, — попросил Санька.

— Чего сказать? — Мне чего-то не очень хотелось говорить по заказу; я чувствовал, что надо ему как-то противостоять, этому Саньке, уж очень он был самоуверенный.

— Ну, чего-нибудь... чего-нибудь скажи ей! — повторил Санька.

Не успел я сказать, как вперед выскочила Гизи.

— Was wollen die beide? — сказала она на своем прекрасном берлинском диалекте. («Чего они оба хотят?»)

И Санька вдруг засмеялся ей прямо в лицо. Он хохотал, приседая, глядя на Гизи.

А Петька молчал, широко раскрыв рот, и тоже пожирал Гизи глазами. Под носом у него было мокро. Я увидел, как покраснела Гизи, и почувствовал, что краснею сам. Авторитет мой стремительно падал.

— Это кукла? — выдавил из себя Петька, показав пальцем на Гизи.

Санька еще сильнее засмеялся. Он стал корчиться на траве.

— Кукла! — стонал он. — Кукла! Ой матушки мои! Кукла...

— Никакая она не кукла! — сказал я сердито. — Немка она...

А сам я посмотрел на Гизи и подумал, что она действительно похожа на фарфоровую куклу со своими черными волосами и белым цветом кожи, с нежным розовым румянцем на щеках.

Я же сам вам когда-то говорил, что она похожа на куклу, но никогда это так остро не почувствовал, как в тот момент.

— А можно ее потрогать? — спросил опять Петька.

— Нечего трогать! — сказал я сердито, хотя ничего в этом не было страшного и вполне можно было понять Петьку, который никак не мог привыкнуть к мысли, что Гизи живая. Но я еще раз повторил: — Трогай сам себя, а ее нечего трогать!

— Подумаешь тоже! Уж нельзя ее тронуть, твою куклу! — презрительно сказал Санька.

Он больше не смеялся, он стоял руки в боки, потом нагнулся, сорвал травинку, сунул ее в угол рта и плюнул в сторону. Он мастерски плюнул, ничего не скажешь! Этак зыркнул, оскалив передние зубы. Очень далеко, даже дальше, чем Вовка.

Я тоже нагнулся и сорвал травинку, тоже засунул ее в угол рта и попытался плюнуть в сторону, приложив все свои старания, все навыки, которые преподавал мне Вовка, но у меня ничего не получилось. Слюна осталась у меня на губе, и я ее быстро вытер. Это было ужасно! Санька хмыкнул, увидев мой позор.

— Давай поборемся? — предложил он. — Кто сильнее?

Раздумывать было некогда, хотя Санька был выше меня ростом, и старше, и, наверное, здоровей...

— Давай! — сказал я отчаянно, оглянувшись на Гизи: я очень боялся, что она уйдет, и вместе с тем боялся, что она увидит мое поражение. «Уж лучше бы она ушла, если он меня свалит!» — подумал я и обернулся к Саньке.

Он нагнулся и пошел ко мне, широко расставив руки. И я пошел, тоже расставив руки и следя за каждым его движением. Он вдруг прыгнул, как кошка, и прыгнул меня к земле, обхватив за шею ладонями. Я напрягся изо всех сил, чтобы не упасть, потом быстро опустился к земле и выскочил из-под его рук. Тут же я схватил его одной рукой за спину, а другую упер ему в подбородок. Санька засопел и стал красным... Я сделал отчаянный рывок — и Санька растянулся на земле! Я сел на него, отдуваясь, прижимая его плечи к земле.

— Сдаешься? — спросил я.

— Сдаюсь... пусти! — прохрипел Санька.

Я выпустил его, и мы сели рядом на траву. Санька смотрел на меня серьезно, в его глазах появилось уважение.

— Здорово ты! — сказал он. — Я и не думал, что ты такой сильный!

— Какой я сильный! — сказал я скромно.

А про себя я сам удивился, что я такой сильный. Никогда бы не подумал, что могу его свалить! И — главное! — это видела Гизи. Они с Петей подошли к нам и тоже сели на траву. Я сидел гордый.

— А почему ты давеча плюнуть не смог? — спросил Санька.

— Потому что я утром землянику ел, — сказал я небрежно. — От ягод слюна всегда вязкая делается.

— Это точно! — кивнул понимающе Санька. — А вы у кого живете?

Я сказал.

— А-а, — протянул Санька. — У кулаков!

Я знал, что Ваниных родителей считали в деревне кулаками, потому что у них было три коровы, лошадь и два дома.

— А она, значит, немка? — кивнул Санька на Гизи.

— Немка, — подтвердил я. — Она из Германии приехала... Ее отец там революцию делает! Скоро я тоже поеду в Германию! — Все это я выпалил ему одним духом. Я почувствовал, что Санька совсем покорен.

— А как ее зовут? — спросил он.

— Гизи, — сказал я; я подумал, что он засмеется. Но он не засмеялся.

— Как? — переспросил он. — *Гизя?*

Тут я засмеялся. И Гизи засмеялась, обнажив свои ровные зубы.

— Гизи! — сказал я. — Повтори!

И Санька повторил:

— Ги-зи!

И Петя повторил, но у него получилось:

— Хи-ся-а!..

Тут мы все опять рассмеялись.

— А можно ее потрогать? — спросил Петя.

— Потрогай, Петя! — разрешил я. — Потрогай.

Петя осторожно положил палец на Гизино колено.

— Она живая? — спросил он недоверчиво.

— Конечно, живая! — сказал Санька. — А ты думал — кукла? Сам ты кукла!

— *Er denkt, du bist eine Puppe!* — сказал я Гизи.

Она улыбнулась и потрогала белые Петины кудри.

— *Петья*, — сказала она нараспев. — *Hübscher Name!*

— Здорово это у вас получается! — удивился Санька. — Что она сказала?

— Она сказала, что «Петя» — красивое имя...

— Тоже мне, красивое! — хмыкнул Санька. — Вот «Гизи» действительно красивое... Вы что тут — цветы собирали? — Он кивнул на цветы.

В руках у Гизи были цветы.

— Мы раков ловили, — сказал я. — Вон они в траве...

Санька встал и взял раков.

— Подходящие, — сказал он. — Я вам еще больше могу наловить. Сетку надо... и лягушку ободрать. На лягушку лучше пойдет...

— Я знаю, — сказал я. — Это мы так, я ей просто показывал...

— А цветов я могу ей знаешь сколько нарвать? Я могу ей васильков нарвать! Я знаю, где видимо-невидимо васильков! Во ржи...

— Да я тоже знаю, — начал было я.

Но Санька перебил меня нетерпеливо.

— Ты переведи ей про васильки! — сказал он. — И айда! Если она захочет!

— *Er fragt, ob du die Kornblumen pflücken willst.*

— О, ja! — встала Гизи. — *Das will ich genau!*

— Хочет! — сказал я.

— Тогда пошли! — обрадовался Санька. — Там их видимо-

невидимо! Стрость! Она такого сроду не видала! — затараторил он взახлеб.

И мы побежали за васильками, сразу перейдя в галоп: впереди Санька, за ним я, за мной Гизи, а сзади неуклюже семеня Петя, придерживая рукой свои огромные черные штаны...

## СОЛНЕЧНАЯ КАРУСЕЛЬ

**С**кажите мне, пожалуйста: вы когда-нибудь катались на карусели? Конечно, катались! Вы, конечно, помните ощущение счастья и легкого головокружения, когда катишься в пестрой люльке или на деревянном коне по кругу, все время вперед и вперед и все время возвращаясь на то же место, под легкое, но мощное поскрипывание колеса, где-нибудь в парке в солнечный день, когда под вами и вокруг мелькают блики и тени, и люди, и собаки, и деревья, и цветы, а над головой кружатся солнце и облака? Помните это ощущение счастья и полноты в сердце? Вот такое чувство осталось у меня от тех дней на даче! Я сравниваю то время с солнечной каруселью... Солнечная карусель! Даже в счастливом детстве не всегда бывает солнечная карусель! Солнечная карусель — это классическое воплощение счастливого детства! Именно такая карусель была у меня в то лето. Главными в этой карусели были я и Гизи, а все остальное было вокруг нас и для нас — только для нас! Все было для нас! Я был счастлив, и Гизи тоже — я это видел по ее глазам! Но я был еще больше счастлив оттого, что счастлива была Гизи, что ей все так нравилось. Она прямо на глазах расцвела, как говорила моя мама; она уже не была бледным фарфоровым заморышем, как тогда, когда я впервые увидел ее в нашем дворе, потому что надышалась воздуха, и купалась, и напилась парного молока. Она загорела и окрепла... Солнечная карусель сделала свое дело! С утра мы с Гизи начинали самозабвенно кружиться в этой

карусели, вместе с нами кружились солнце, и облака, и поле, и лес, и река, и дома, и деревья, и цветы, и травы! И птицы кружились с нами, и бабочки, и жуки, и рыбы, и раки, и собаки, и коровы, и лошади — весь мир! То мы кружились на поляне в цветах, то во ржи среди васильков, то на берегу реки, то в воде среди солнечных брызг, то вдруг высоко-высоко, под самым небом, — в колючем и пахучем сене на Ваниной телеге. Ваня часто катал нас, когда возил на Мальчике сено с лугов. Туда мы ехали порожняком и быстро, трясясь на тарахтящих досках в пыли, а назад мы ехали медленно и высоко под голубым небом, раскачиваясь в зеленом травяном облаке. Небесные облака плыли рядом, тоже покачиваясь, как возы с белым сеном... А еще мы кружились в этой золотисто-синей карусели по вечерам, но это уже была не солнечная карусель, а звездная, лунная карусель, медленно затихающая, пока мы не ложились спать, карусель под керосиновой лампой в доме, возле открытого окна, в которое влетали ночные бабочки и начинали кружиться вокруг лампы, опаяя над ней свои пыльные бархатные крылья, а дом вокруг поскрипывал разошедшимися бревнами, несясь с нами куда-то вдаль, в сонное пространство, вместе со всей Землей, которая тоже поскрипывала и потрескивала от ночного звездного электричества. И сверчки тянули свою бесконечную скрипящую песенку, пока мы так сидели в летящем доме, глядя на мерцающие в темном окне звезды... А иногда мы и вечером летели на сене — только уже не на Ваниной телеге, а в сарае, под острой крышей, возле слухового окна, в которое светили те же летящие с нами звезды и где нам пели свою скрипящую песенку те же сверчки... Я часто тогда думал, что сверчки, наверное, самые древние певцы на земле, потому они и поют такими скрипящими от старости голосами, и как хорошо эти голоса подходят к вечерней карусели, к вздохам и скрипам ее невидимых колес! Как здорово она кем-то придумана, эта карусельная музыка ночи!

А иногда в такие вечера пела Гизи. Ведь у нее был замечательный голос — мы узнали об этом на даче, потому что тут мы с ней по-настоящему подружились, тут она сама нам раскры-

лась, она осмелела, войдя в эту солнечно-звездную карусель со своими немецкими песнями.

## ПЕСНЯ ГИЗИ

**Г**изи пела прекрасно! У нее был нежный высокий голос, и моя мама предсказывала, что Гизи обязательно станет певицей. Оно бы так, конечно, и случилось, если бы... если бы все в жизни не пошло по-другому! Но сейчас я не буду забегать вперед, сейчас я хочу вам рассказать, как пела Гизи...

Мы сидели вечером на ступеньках террасы. Солнце уже закатилось где-то на другом конце деревни, и стало быстро темнеть. Выпала роса, и туман клубился в глубине сада, вползая на косогор с реки. Дальний конец сада и Ванин дом внизу совсем исчезли в тумане. Только вверх, над нами, небо было чистым, и там высыпали первые звезды. Стало прохладно. Мы ежились в накиннутых на плечи шерстяных платках. Но уходить не хотелось. Вечерняя карусель медленно поскрипывала, с еле слышным скрипом поворачивалась в небе Большая Медведица, тянули свою песенку сверчки в доме, вдали на реке откликались простуженные лягушки, а мы молчали. Рядом с нами сидел на ступеньке Ваня, он тоже пришел к нам посумерничать; в его руке тлела угольком махорочная сигарка; Дик лежал рядом на светлой песчаной дорожке сада, под черными кустами, поводя ушами в темноту...

И тут Гизина мама сказала:

— Singe doch, Gisi! Пусть Гизи маленько пой!

— Was soll ich denn singen? («Что же мне спеть?») — спросила Гизи.

— Du weißt doch!.. («Ты же знаешь!..») — тихо сказала ее мама.

И Гизи запела... Она сразу вошла своим голосом высоко в небо, под самые звезды, оторвавшись от темной земли. Она оторвала и нас, и мы полетели за ней в эту темно-голубую бесконечность. Гизи сразу заполнила своим голосом весь мир, который, однако же, не замолчал, а звучал рядом, как большой приглушенный оркестр: и сверчки, и лягушки, и таинственный шорох деревьев... Гизи пела трогательную немецкую песню о маме. Мотив я прекрасно помню, но не могу, к сожалению, передать его вам в этой книге. Зато я передам вам слова так, как я их перевел сейчас, спустя много лет. Вот они:

Я построю тебе дворец,  
Такой, как в сказке.  
Там мы будем с тобой  
Всегда вдвоем.  
Я построю тебе дворец,  
Когда я буду большая.  
Там ты будешь спокойна  
И счастлива!

Голубое небо глядит  
Сверху на нас,  
Говорит тебе каждый день,  
Как тебя я люблю!  
И все облака летят  
Так быстро мимо —  
Еще один день  
Для нас двоих!

Я построю тебе дворец,  
Вот увидишь!  
Скоро я вырасту,  
И мы поедем домой,  
Где будут цветы для тебя  
Стоять в саду.  
Тогда будет каждый день  
Как праздник!



...Гизин голос замолк в темноте ночи, громче стал слышен ночной оркестр, а мы все сидели, потрясенные. Первым встрепенулся Ваня: он подошел к Гизи и поцеловал ее. А я прижался к маме, потому что увидел, как она вытирает в темноте слезы...

Гизи после этого еще несколько раз пела. Она пела и эту — самую любимую песню ее мамы, — и другие, революционные немецкие песни: «Песню безработных», и «Спартакоскую», и «Колонну Тельмана»... Но лучше той, первой, песни она не пела ничего! Может быть, это мне сейчас так кажется, потому что это связано с судьбой Гизи, с судьбой всей ее семьи? А может быть, просто тот вечер остался у меня в памяти таким чудесным? Не знаю... Ведь и другие песни Гизи пела прекрасно...

Так мы прожили эту солнечную карусель, которая была недолгой, как всякая настоящая карусель, потому что приехали мы на дачу поздно, а уехали рано: вскоре Ваня привез нам письмо от Иосифа, в котором он писал, что надо срочно собираться в Берлин. Ваня же и увез нас однажды утром в Москву...

## ЖИВОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

**К**огда мы приехали в Москву, дни завертелись еще быстрее. Это тоже была карусель, яркая и пестрая, но совсем другая. Там, на даче, она была нежной и плавной, а здесь дни завертелись в каком-то сумасшедшем колесе. Там была наша *частная* карусель, а здесь началась карусель государственных, даже международных политических событий. И в этой политической карусели мы тоже были не в стороне! Так уж получилось, что и здесь мы оказались в самом вихре событий, даже, пожалуй, в самом центре этого вихря: и я, и Гизи, и, конечно, Вовка... С одной стороны, это получилось случайно, но если вдуматься, то и не случайно: ведь мы были наркоминдельцы, мы и росли в самом центре этих событий!

Когда мы вернулись, меня поразила Москва: весь город был украшен флагами, плакатами и лозунгами. Они висели на каждом доме, на фонарных столбах, были перетянуты на веревках через главные улицы. Всюду было написано: «Привет участникам Первого Всесоюзного слета пионеров!» Москва была полна пионеров, как воробьев! Столько пионеров я в жизни не видел! Еще бы — их съехались в Москву тысячи! Пионеры прибывали, и прибывали, и прибывали — со всех вокзалов и со всех дорог! Со всего мира прибывали пионеры! Из Германии, Америки, Англии...

Мы с мамой много ходили в те дни по Москве: у нас было много дел, которые надо было закончить перед отъездом в Берлин. Мы носились по городу как угорелые. Мы бегали по учреждениям, по магазинам и всюду встречали пионеров.

Как нарочно, стояли теплые солнечные дни, хотя был уже август. Стояла настоящая золотая осень. Все ходили легко одетыми, как летом. И пионеры ходили легко одетыми, в своей пионерской форме: белая рубашка, синие штаны или юбка до колен и красный галстук. Пионеры ходили строем, с барабанами, горнами и знаменами. И просто так — стайками по несколько человек. И все смотрели только на них. И говорили в Москве только о пионерах.

Вся Москва была полна смеха, барабанной дробы, трубных голосов и песен. Движение на перекрестках то и дело останавливалось, замирали на месте извозчики, ломовики, трамваи, пешеходы — всюду шли, и шли, и шли пионеры! Шли пионеры белые, шли смуглые, шли коричневые, шли совершенно черные пионеры. Это были негры! Я раньше никогда не видал негров, только на картинках, а тут шли живые негры! Они меня поразили! Они были такие черные-черные, только зубы у них сверкали белизной и уголки глаз. Это было удивительно! Но больше всего было наших пионеров, советских. Это были пионеры из разных республик. Каких только не было национальностей! Это был настоящий живой интернационал!

В Москве происходили разные интересные встречи прямо на

улице. Это москвичи общались с пионерами разных стран. В толпе слышалась немецкая, и французская, и разная другая речь. Но нам с мамой некогда было останавливаться — мы спешили по своим делам, я же вам говорил, что дел у нас было по горло! Правда, один раз мы невольно задержались возле Иверских ворот, пропуская отряд пионеров, и наблюдали интересную сцену. Эти ворота стояли раньше между Историческим музеем и Музеем Ленина. Раньше там не было широкого прохода на Красную площадь, он был закрыт Китайской стеной, и в ней были ворота, которые назывались Иверскими, потому что к ним примыкала маленькая церковь Иверской божьей матери. Там всегда было много народу — там собирались богомольцы со всей Москвы, и любопытные, и просто прохожие. Ворота были узкими и тесными.

Когда мы с мамой подошли к воротам со стороны Красной площади, навстречу нам показались пионеры — они шли на Красную площадь. Мы остановились, чтобы их пропустить. И другие тоже остановились. Рядом, перед входом в церковь, толпились нищие в лохмотьях и старухи в черном. Из глубины церкви, где в темноте таинственно мерцали свечечные огонечки, тянуло спертым духом и запахом ладана. Когда в воротах показался пионер-знаменосец, а за ним горнист и барабанщик, а следом загорелые пионеры с голыми коленками, черные старухи на паперти стали креститься и плевать, тыча пальцами в эти коленки. К старухам вышел поп в черной рясе с большим золотым крестом на животе и тоже стал смотреть на пионеров.

Знаменосец, горнист и барабанщик прошли мимо церкви строго, подняв головы и глядя вперед, а пионеры, шедшие следом, смеялись, сверкая зубами и с любопытством глядя на старух и попа. И вдруг пионеры запели:

Не надо нам монахов!  
Не надо нам попов!  
Мы на небо залезем,  
Разгоним всех богов!

В толпе, в которой стояли мы с мамой, засмеялись. Поп сразу ушел в церковь, воздев, как крылья, трясущиеся руки, а за ним, как курицы за черным петухом, поплелись старухи...

Если бы вы знали, как я тогда завидовал этим пионерам! Как мне хотелось шагать вместе с ними в строю! Бить белыми палочками в барабан! А еще лучше — дуть в горн или нести знамя! Но я этого не мог, я даже не мог просто с ними идти. Я ведь еще не был пионером. Я даже октябренок еще не был! И Гизи еще не была октябренок. Мы должны были стать октябрятами через год, когда пойдем в школу. В эти дни мы особенно жалели, что мы не пионеры. И завидовали — вы знаете кому! Вовке мы завидовали! Вовка был школьник и пионер, и еще к тому же *делегат*, вот кто он был в эти знаменательные дни! Вовку выбрали делегатом Первого Всесоюзного слета пионеров; он нам делегатское удостоверение показывал. Его выбрали потому, что он был отличник учебы и активный пионер. Он занял в своей школе первое место по борьбе с неграмотностью, вот какой он был молодец, Вовка! Вы же помните, как он учил Фатиму и Ахмета. Фатима и Ахмет давно сдали экзамен на «хорошо», а это же Вовкина заслуга! Сами понимаете! А всего пионеры обучили грамоте в стране один миллион человек, сказал мне Вовка. Это же сногшибательно! Вдумайтесь в эту цифру, и тогда вы поймете Вовкину гордость и значение пионерской работы. Вовка стал теперь такой важный и деловой — просто не подступись! Да и подступиться-то к нему когда было это было *физически* невозможно, потому что Вовки никогда не было дома. Он все время пропадал на слете. Он там тоже был активистом, то есть не просто делегатом, а одним из самых главных делегатов. Это он нам все же ухитрился сказать один раз, когда мы его увидели пробегающим во дворе мимо Памятника Воровскому. Он нам даже сказал, что видел Крупскую и разговаривал с ней. И Максима Горького он видел, самого нашего главного писателя. Правда, с Горьким он не разговаривал, а просто его видел, живого... Но согласитесь, что это тоже здорово! Крупская и Горький приезжали к пионерам

на слет. И там выступали. Все это Вовка нам рассказал *мимоходом*, а так мы его совсем и не видели.

Да, но вы скажете: как же тогда я и Гизи были в центре политических событий? Если мы не были делегатами? Ведь с Крупской-то разговаривал Вовка, а не мы... Но подождите, подождите, дорогие товарищи! Ведь вы же еще не все узнали! Глава-то еще не кончилась! Мы с Гизи тоже были в центре событий и тоже... но... Не буду забегать вперед. Тише едешь — дальше будешь! Хоть дни и вертелись как сумасшедшие, я буду вам о них рассказывать не спеша, постепенно все и узнаете.

Да, еще я вам забыл сказать про Фатиму и Ахмета! Они тоже были в центре политических событий, конечно, не совсем как мы, но все же: в благодарность за то, что пионеры обучили их грамоте (то есть Вовка, но он же был представителем пионеров!), — в благодарность за это они взяли к себе на квартиру двух делегатов слета. Ведь где-то их надо было разместить, все эти тысячи человек! Вот их и распределили по квартирам рабочих московских заводов и фабрик, и Фатима с Ахметом взяли двух делегатов, двух маленьких черных узбеков из Ферганы. Конечно, по рекомендации Вовки. Вовка рекомендовал президиуму слета Фатиму и Ахмета как честных, хороших людей, недавно обучившихся грамоте, и Фатима с Ахметом сами, под диктовку Вовки, написали заявление президиуму, и им выделили двух узбечат. Фатима с Ахметом очень были обрадованы, ведь детей-то у них не было, а тут им сразу привалило двое детей! И вполне взрослых! Даже делегатов! И узбечата были рады — они чувствовали себя у Фатимы с Ахметом как дома, потому что могли с ними разговаривать без переводчика. Ведь татарский и узбекский языки очень похожи. Фатима была особенно рада, что у нее живут эти два узбечонка: она им все время готовила разные вкусные вещи, и покупала им сладости и игрушки, и даже купила им кое-какие серьезные вещи на базаре. Из одежды. Потом, когда они уехали, Фатима очень плакала, потому что опять осталась без детей, но, пока шел слет, она

была счастлива, и узбеки тоже, и Вовка, и мы с Гизи — все были счастливы, и время летело как в сказке!..

Повторяю: вначале мы с Гизи завидовали Вовке, но тут вдруг случилось удивительное — мы тоже попали на слет! Мы стали гостями Конференции участников слета, то есть мы стали участниками встречи на самом высшем уровне, куда даже не все делегаты попали. Произошло это вот как.

На третий день слета, когда мы уже совсем изнывали от зависти к Вовке, а его все не видно было, Иосиф должен был идти в Кремль к Мархлевской. У него были к ней какие-то там дела в связи с Берлином: она должна была ему дать какие-то поручения. И Иосиф решил взять меня с собой, тем более что дома я мешал маме. Она разбирала перед отъездом последние вещи. А я в свою очередь решил взять Гизи: я же давно обещал показать ей Кремль и Царь-пушку и посидеть с ней вдвоем в разбитом Царь-колоколе. В общем, мы отправились втроем.

В Кремле было много пионеров, он уже не был тихим и задумчивым, как обычно, в нем было шумно и весело. Пионеры заполнили весь Кремль. Они шли группами и в одиночку, и все куда-то спешили.

Мархлевская ждала нас возле своего дома, у дверей Потешного дворца. Она вся сияла, была такая возбужденная и радостная. Она всегда была радостная, вы же знаете, но сегодня особенно. Наверное, ей передафось пионерское настроение.

— Ах, какая девочка! — воскликнула она, увидев Гизи. — Это чья?

— Дочь немецкого коммуниста, о котором я вам говорил, — сказал Иосиф.

— Wie heißt du? — спросила она, погладив Гизи по голове. — Как тебя зовут?

— Гизи...

— Чудесно, что ты пришла ко мне в гости! — быстро заговорила по-немецки Мархлевская, прижимая к себе Гизи. — Пойдем, расскажешь нам о Германии...

Мы уже вступили в парадное, как вдруг где-то невдалеке

послышалась барабанная дробь и затрубил горн. Мархлевская остановилась.

— У меня идея! — сказала она весело. — Давайте я отведу их в Георгиевский зал! Там сейчас принимают пионеров, им будет интересно!

— А это удобно? — спросил Иосиф.

— О, вполне удобно! — воскликнула Мархлевская. — Я все устрою! Это будет для них впечатление на всю жизнь. Wollt ihr zu den Pionieren? Хотите к пионерам?

— Ja, — сказала Гизи.

И я сказал:

— Да.

— Dann schnell! Тогда скорей! — Мархлевская взяла нас за руки, и мы пошли.

По дороге нас обгоняли пионеры. А некоторых обгоняли мы. Мархлевская шла очень быстро. Мы бежали за ней вприпрыжку.

У дверей Большого Кремлевского дворца пионеры строились в колонну. Гремели барабаны. Трубил горнист. Шелестели знамена. Сейчас все должны были войти во дворец. Мы успели вовремя!

Это был тот самый дворец с террасой на втором этаже, с которой мы весной любовались ледоходом, — помните? Когда мы увидели Дика на льдине? Я вспомнил об этом, пока мы с Мархлевской спешили вдоль длинной колонны пионеров.

Мархлевская открыла парадную дверь, и мы вошли, и сразу к нам кинулся высокий парень в пионерской форме с комсомольским значком.

— Минуточку! — сказал он, загородив нам дорогу.

Но следом за ним подошли трое каких-то в штатском, и среди них маленький сухонький старичок с большим лбом и густыми, как усы, бровями.

— Бронислава Генриховна! И вы здесь! — сказал старичок по-немецки.

Он пожал Мархлевской руку. Она что-то быстро зашептала

ему, смеясь и показывая на меня и Гизи глазами. Мы стояли немного смущенные; я боялся, что нас не пустят.

— Все ясно! — громко сказал старичок и обратился к стоявшим вокруг товарищам, которые с любопытством смотрели на нас и Мархлевскую: — Это Бронислава Генриховна Мархлевская, прошу любить и жаловать! А это наши дорогие гости слета, будущие пионеры! Гизи и Юра? — обернулся он к нам.

Мы смущенно кивнули.

— Идите вместе со всеми в зал! — весело сказал старичок по-немецки.

— Потом я за вами приду! — сказала Мархлевская. — Встретимся тут, у выхода! Ну, пока... Юра, следи за Гизи! — И Мархлевская пошла к выходу.

Я с гордостью посмотрел на Гизи: вот как мы попали на слет!

Вдруг открылись двери, и в них хлынули пионеры. Они вливались в широкий сверкающий вестибюль, как яркая бело-красно-синяя река.

Нас с Гизи оттеснили в сторону. Волны пионеров всё вливались и вливались навстречу широкой белой каменной лестнице, спускавшейся со второго этажа. Первые ряды ребят вдруг замерли, в изумлении глядя на потрясающую лестницу, залитую из окна солнцем... И вдруг тишина прорвалась громким радостным кличем и смехом, и пионеры, нарушив строй, кинулись бегом вверх по лестнице. Над вихрастыми головами запылали знамена! Это был штурм! Веселый пионерский штурм бывшего царского дворца!

— Ребята! Ребята! Строй! — вмешался было вожатый с комсомольским значком, но его перебил старичок с густыми бровями.

— Прекрасно! — крикнул он, смеясь. — Наша смена не идет, а бежит! Ну, а вы что же? — подтолкнул он меня и Гизи. — Вперед! Смелее!

И мы с Гизи тоже кинулись вверх по лестнице, взявшись за руки, чтобы не потеряться в этой пестрой, бурлящей, хохочущей



ребячьей толпе, несущейся вверх по широкой, как мир, лестнице...

Наверху творилось невообразимое! Огромный, сверкающий, обрамленный витыми колоннами зал со свисающими с вогнутого потолка на длинных цепях гигантскими золотыми люстрами с тысячами свечеобразных лампочек был похож на сказочный каток... Да, да, не удивляйтесь! Паркет блестел, как гладкий лед, в котором отражались колонны! И по этому льду скользили в разные стороны пионеры! Мы с Гизи тоже разбежались и заскользили, как на коньках... Вот было здорово! Я никогда не думал, что слет может быть таким веселым!

— Гизи! Юра! — закричал вдруг какой-то пионер и бросился к нам... Это был Вовка!

Он лихо подкатил, натолкнувшись на меня, и мы чуть не упали.

— Вы-то как сюда попали? — удивился он.

— Нас привела Мархлевская! И пропустил старичок...

— Какой старичок?

— Вон тот! — показал я на старичка с большим лбом, который шел посередине зала рядом с какой-то тетей в очках и белой панаме.

— Сам ты старичок! — обиделся Вовка. — Это же Глеб Максимилианович Кржижановский! Друг Ленина! А рядом с ним жена Ленина — Надежда Константиновна Крупская...

Я так и прирос к месту, глядя на Крупскую.

— Крупская? Ленин? — растерянno спросила Гизи.

Я перевел ей, что сказал Вовка.

— Я с ними запросто знаком! — небрежно сказал Вовка. — Мы вместе вчера заседали...

Мы с Гизи так и открыли рот.

Крупская и Кржижановский остановились возле нас. У них на груди тоже сияли красные галстуки. Надежда Константиновна протянула Вовке руку.

— Здравствуй, Вова! — сказала она.

— Мы пионеры, руки не подаем! — четко сказал Вовка и поднял правую руку над головой.

— Молодец! — сказал Кржижановский. — Не растерялся! Они с Крупской рассмеялись.

— А это что за карапузы? — весело спросила Надежда Константиновна, блеснув на нас очками из-под белой панамы.

— Это не карапузы, — серьезно сказал Кржижановский. — Это гости слета, будущие коммунисты! Их привела Мархлевская...

— Мои друзья, — сказал Вовка. — Мы живем в одном доме...

— Ах, вот что! Тогда извините! — серьезно сказала Крупская. — Ну, раз они гости, надо повязать им галстуки, как почетным пионерам...

— Прекрасно! — обрадовался Кржижановский. — Вова! Отведи их в штаб и скажи, чтоб им повязали галстуки... Вы же будете коммунистами? — спросил он по-немецки, погладив Гизи по голове.

— Да, — сказала, покраснев, Гизи,

Кржижановский с улыбкой посмотрел вокруг, на шумный и пестрый Георгиевский зал.

— Вот вы меня уговаривали на серьезный доклад, — сказал он Крупской, — а им надо сказки рассказывать!

— Ваш доклад и будет такой сказкой! — ответила Крупская, и они пошли дальше.

А Вовка потащил нас сквозь пеструю толпу в глубину зала, а потом по коридорам, в небольшую комнату, где был штаб. Там висели по стенам плакаты, стояли в углу знамена, лежали барабаны и горны на столе, толпились пионеры и вожатые-комсомольцы. Здесь нам, по распоряжению Вовки, выдали галстуки. Вовка поставил нас у стены и сам их нам повязал, а остальные смотрели. Потом Вовка поднял над головой правую руку и сказал:

— За дело Ленина, будьте готовы!

И мы с Гизи подняли руки и сказали:

— Всегда готовы!

Только Гизи сказала эти слова по-немецки, она сказала: «Immer bereit!» И тут зазвенел звонок...

— Скорей! — сказал Вовка. — На заседание!

...В зале заседаний все места уже были заняты. С помощью Вовки мы уселись в первом ряду, который оставался пустым. Сцена была совсем рядом. На ней стоял длинный стол, накрытый красной материей, а сзади, в обрамлении знамен и цветов, улыбался огромный Ленин.

Пионеры в зале еще некоторое время шумели, вскакивая и размахивая руками и что-то крича на разных языках. Потом на сцену с двух сторон вышел президиум — пионеры, и комсомольцы, и Крупская, и Кржижановский, и другие старые большевики. Все были в красных галстуках.

И Вовка тоже был там! Он так и сел рядом с Крупской за стол и помахал нам рукой. И вид у него был ужасно важный.

Пионер, сидевший по другую сторону Крупской, встал.

— Слово для доклада о первой пятилетке предоставляется председателю Госплана товарищу Кржижановскому! — громко сказал пионер.

В зале сразу стало тихо. Раскрасневшиеся от беготни ребята смотрели серьезно.

Кржижановский взошел на трибуну и секунду молча смотрел в зал, как будто не мог на него наглядеться.

— Знаете ли вы, юные товарищи, что больше всего любил делать Ленин? — начал он свой доклад вопросом. И тут же сам ответил: — Ленин любил мечтать! Да, мечтать! И не только мечтать, но и осуществлять свои мечты...

Кржижановский назвал свой доклад путешествием в будущее. Он начал с голода, холода и разрухи, которые охватили нашу страну в первые годы Советской власти. Он говорил о том, что и тогда, когда мы сидели перед ним в зале, наша страна была бедной.

— У нас ездят на телегах, а в Европе и Америке на автомобилях, — говорил Кржижановский. — У нас еще пахут сохой, а

за границей — на тракторах. И в школе у нас еще учится только половина всех детей...

А кончил Кржижановский сказочной картиной будущего, когда наша страна станет богатой и счастливой. Он рассказал о плане борьбы за это будущее — о плане первой пятилетки. И о том, что пионеры, сидящие в зале, тоже внесут — и уже вносят — свой вклад в эту пятилетку...

В зале было так тихо, что слышно было, как шуршали карандаши по блокнотам. Гизи смотрела на докладчика затаив дыхание, а я шепотом переводил. Мне было очень трудно переводить, может быть, я и не все верно переводил, даже, наверное, не все верно, но главное я перевел ей верно! За это я вам ручаюсь! Я очень старался! Краем уха я слышал, как рядом позади и сбоку тоже шептали переводчики. Но это были настоящие, взрослые переводчики, они переводили уже сотни раз. А я переводил первый в жизни доклад. Но потому я и запомнил его навсегда...

## ВОСЬМОЕ, И ПОСЛЕДНЕЕ, ПИСЬМО ВОРОВСКОМУ

**Н**аши сборы в Берлин подходили к концу. Иосиф принес билеты на поезд: через два дня мы должны были уезжать. Мама все эти дни стирала, гладила и штопала, переворотив все наши вещи. Порядок в комнате был нарушен, все было перевернуто вверх дном, все лежало где попало, сваленное в кучи: и на столе, и на диване, и на шкафу, и прямо на полу — кастрюли, чулки, ботинки, тряпки, книги, тарелки, подушки... Это было очень интересно! Комната стала необычной; мы то и дело натыкались на какую-нибудь забытую вещь. Я вдруг нашел на полу книжку с картинками, которую мама читала мне когда-то очень давно. Там были такие стихи: «Поймал в оркестре карася, сварю его к обеду!» И нарисован

был толстый усатый человек на фоне оркестра, который держал в руках удочку с болтающимся на крючке карасем. А в куче белья я вдруг увидел свой давно позабытый лоток и бублик, которые мне Ваня сделал! Я их опять надел на голову и немножко походил с ними по квартире. И лоток, и бублик, и книжку про карася я решил взять в Берлин. Но мама сказала, что там у меня будет полно игрушек, мы их там купим, и вообще, сказала она, надо брать из вещей только самое необходимое, без чего первое время нельзя обойтись...

Она так сказала, а сама запаковала целых два чемодана! А я что же? Я тоже должен иметь какой-нибудь свой чемодан с необходимыми вещами, без которых я никак не могу обойтись! Особенно первое время! И мама дала мне маленький чемодан.

Лоток в него, конечно, не влез, и я решил его оставить. И бублик я решил оставить, потому что неудобно там, в Берлине, изображать из себя продавца, сказала мама. Там начнется совсем другая жизнь. Но книжку про карася в оркестре я все-таки взял, без нее я никак не мог обойтись! Я ее очень любил и давно искал, и все не мог найти. Я уложил еще альбом для рисования с несколькими цветными карандашами, китайского чертика «уйди-уйди!» и еще кое-какую мелочь, которая была мне дорога. А еще я взял с собой пионерский галстук, который мне подарили в Кремле. Без него я уж никак не мог обойтись.

Когда мы всё упаковали, мы пошли к Зусману на третью примерку. Третья примерка — последняя. Тогда вы просто надеваете свою вещь и идете домой. Если портной хороший. А если плохой, то снова надо что-нибудь переделывать. Но Зусман был хороший портной. Поэтому мой костюм был готов. И пальто тоже. И шапка. И сидели они на мне прекрасно!

Когда я все надел с помощью Зусмана, он отошел в сторону и посмотрел на меня, склонив голову набок.

— Совсем другой человек! — сказал Зусман. — Вы только посмотрите!

— Да, — сказала мама, — прекрасно!

— Не ребенок, а кукла! — сказала Жарикова.

— Похож на буржуя! — сказал Вовка.

Мне стало неловко, и Зусман это почувствовал.

— Вы их не слушайте, молодой человек! — сказал он. — Вы только скажите — вам удобно?

— Удобно! — сказал я.

Мне было смешно, что он обращается ко мне на «вы»!

— Здесь не жмет? — спросил Зусман, зашекотав меня под мышками.

— Ха-ха! Нет! — сказал я.

Мне действительно было очень удобно. Ни в какой одежде я еще не чувствовал себя так удобно!

— Взгляните в зеркало! — сказал Зусман.

И я взглянул...

Там, в зеркале, стоял действительно кто-то совсем другой! Таким я себя еще никогда не видел!

— Вот что искусство делает с человеком! — сказал Зусман. — Оно его преобразует!

— Да, — сказала мама. — Я вам очень благодарна.

— Кто такие портные, Вова? — вызывающе спросил Зусман. — Скажи-ка товарищам!

— Портные — первые художники на земле! — с улыбкой сказал Вовка.

— Совершенно верно! — кивнул Зусман. — А почему это так?

— Потому что они одели человечество, когда оно было голым!

— Портные — это первые культуртрегеры! — сказал Зусман. — Тебе ясно? — спросил он меня.

— А кто они такие, культуртрегеры? — спросил я тихо.

— Культуртрегеры — это люди, несущие культуру в народ! Садись-ка вот сюда, сейчас я тебе объясню...

И тут Зусман произнес целую речь. Он стоял посреди комнаты, отражаясь в зеркале, и мы отражались в зеркале, и манекены — как будто там, в глубине, Зусмана слушала целая толпа.

— Мы, портные,— самые древние культуртрегеры! Самые древние художники на земле! Чем отличается человек от животного? Своей одеждой! Кто одел первого человека, Адама, когда тот познал стыд? Скажите мне это! (Все молчали.) Мы одели! — воскликнул Зусман.— Мы облагородили голое человечество, когда прикрыли его стыд первыми шкурами! Мы совершенствовали одежду в течение веков и вот к какому пришли результату! — Зусман указал на меня пальцем.— Вы сами видели, как сейчас, на ваших глазах, преобразился человек! Потому что к нему прикоснулось искусство! В бездушной материи мы осуществляем живую красоту линий и форм и несем ее человечеству! Представляете, как выглядело бы человечество без нас? Вы уже можете себе это представить! — саркастически воскликнул Зусман.

Я представил себе это на минутку, и мне действительно стало не по себе.

— Я бы мог говорить на эту тему без конца! — сказал Зусман.— Но вы, наверное, спешите...

— Да, нам надо еще зайти в магазин,— сказала мама, вставая.— Все это очень интересно. Я вам бесконечно благодарна, Липа Борисович, за Юру! И за прекрасную речь!

Мы со всеми попрощались и отправились с мамой в магазин — купить на дорогу продукты. И еще я должен был попрощаться с Воровским. У мамы в сумке лежало письмо — мое прощальное письмо Воровскому. Вот оно:

«Дорогой товарищ Воровский! Я уезжаю в Берлин! Я там тоже буду делать революцию, как ты! И как Гизин папа! Я его там встречу и передам ему привет от тебя и от Гизи. И привезу его к нам. А ты здесь не волнуйся за нас. Мы там будем вести себя как настоящие большевики. Я все время буду начеку, чтобы нам не выстрелили в спину. Ну, до свидания! Когда я вернусь, я тебе все расскажу. С коммунистическим приветом! Юра».

## НЕПРИКОСНОВЕННЫЕ БОЛЬШЕВИКИ

**И** вот мы едем в поезде. Мы едем уже давно — три дня! И за окном уже не СССР — за окном капиталистическая Германия. Это такая иностранная держава. В общем, все почти такое же, как у нас, — деревни, города, дома и деревья, — только управляют всем этим буржуи. А коммунистов сажают в тюрьму.

Но я-то их не боюсь! И отец тоже не боится. И мама. Потому что мы советские. Советские никого не боятся. А они нас боятся. И меня боятся. Не верите? Сейчас я вам расскажу...

Дело в том, что едем мы в отдельном купе. Купе — это такая квартира. В вагоне. В этой квартире все есть, как в настоящей: и стол, и кровати, и лампа, и сундуки, и шкафчики. Даже ванная за стенкой: хотите помыться — открываете дверь в стене и входите в ванную! Дверь там вдвигается прямо в стенку! Вот интересно! И вы открываете дверь, и входите в ванную, и моетесь... а поезд все идет, и вагон катится по рельсам как ни в чем не бывало! И еще мне нравятся там кровати: они расположены одна над другой вдоль стен. Четыре кровати, с двух сторон, — две внизу, две наверху. Мама не любит залезать наверх — она спит внизу. У нее там даже две кровати, потому что нас ведь трое, а кроватей четыре. А отец и я любим наверху — там удобно лежать и смотреть в окно, как за окном мелькает Германия. Мелькают дома, деревья, повозки, лошади, коровы, собаки, люди... Они мелькают, и кружатся, и уходят назад — ближние быстрее, дальние медленней, горизонт с облаками кружится еле-еле, а солнце днем и луна ночью едут вместе с нами! Солнце и луна везде одинаковые — куда бы вы ни поехали!

Вот так я лежал и смотрел в окно, смотрел долго-долго, и у меня прямо голова закружилась от этой карусели за окном, и я решил выйти в коридор. В коридоре тоже интересно. Он тя-



нется вдоль всего вагона; с одной стороны — окна, с другой — двери купе. Там ехали разные иностранцы, буржуи конечно, потому что бедные в таких поездах не ездили. Мы ни с кем из буржуев не разговаривали, хотя едем уже три дня. Нечего нам с ними разговаривать! Мы просто смотрим на них свысока. Это не значит, что надо быть выше их ростом. Мой папа, например, маленького роста, а смотрит на них свысока. И мама тоже. И я тоже смотрю на них свысока. Смотреть свысока — это значит иметь собственную гордость! Папа прочел мне стихи Маяковского, там так и сказано: «У советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока!» Вот я и стоял в коридоре и смотрел на них всех свысока. А иногда и совсем не смотрел. А они все ходили вокруг меня и все громко разговаривали и даже смеялись. А я думал: «Смейтесь, смейтесь! Хорошо смеется тот, кто смеется последним!» И тут вдруг ко мне подходит один такой толстый со стеклышком на цепочке. Как он выглядел, я сейчас совершенно не помню — помню только его толстый живот и на этом животе золотую цепочку со стеклышком. Так вот, подходит он ко мне и говорит:

— Guten Tag! («Добрый день!») — и улыбается. По-немецки. Он, конечно, принял меня за своего, за маленького немецкого буржуа.

Но я в ответ промолчал. А он опять говорит мне по-немецки:

— Почему ты молчишь? Ты невежливый мальчик! Ты должен отвечать, когда к тебе обращается взрослый!

У меня прямо в груди закипело, и тогда я ему сказал:

— Rot Front! — и поднял вверх правый кулак.

Это такое приветствие немецких рабочих. И тут этот живот прямо подпрыгнул на месте! Вот было здорово! Он подпрыгнул на месте, и задергался, и закричал:

— Was? Was? (Значит: «Что?»)

А я опять повторил:

— Rot Front!

А он тогда взял дрожащей рукой свое стеклышко на цепочке, ловко вставил его в правый глаз — будто фокусник! — и стал

смотреть на меня, как одноглазый таракан! Мне даже стало немножко страшно. Но я держался. И тогда он спросил:

— Was hast du gesagt? Что ты сказал? Ты знаешь, что ты сказал? Это очень нехорошие слова!

А тут как раз мимо шел проводник вагона, тоже немец, и этот буржуй спросил его дрожащим голосом:

— Это чей ребенок?

А я не дал проводнику ответить, я сказал сам:

— Я большевик! И мой папа большевик! И мама!

Тогда этот буржуй стал совсем красный, рот у него открылся, и стеклышко выпало из глаза и повисло на цепочке... А проводник вдруг улыбнулся и сказал только одно слово.

— Sowjetunion! (Это значит: «СССР».)

И буржуй смылся! А проводник погладил меня по голове и тихо сказал:

— Ты хороший мальчик! Смелый! — и пошел.

И я тоже пошел. Я пошел в свое купе и все рассказал родителям. И они очень долго смеялись. И я смеялся. И проводник тоже смеялся, когда приходил к нам в купе. Тогда мы закрывали дверь и смеялись вместе с ним. Потому что проводнику нельзя было открыто смеяться — он рабочий и его могли за это посадить в тюрьму. А нас не могли посадить, потому что мы неприкосновенные! Неприкосновенные большевики! Мы можем смеяться сколько нам влезет! И никто с этим ничего не может поделать!

Так мы ехали в поезде целых три дня и три ночи, и я все смотрел в окно на бесконечный далекий горизонт, на поля и леса, на синие полосы рек, на мелькавшие за стеклом перроны маленьких станций, на которых мы не останавливались, и на шумные вокзалы больших городов, на которых мы долго стояли, и вспоминал Москву, и наш дом, и Памятник Воровскому, и Вовку — всех-всех! — и, конечно, Гизи с ее мамой, которых мы видели последними, потому что они, грустные, провожали нас на вокзал... Все это как-то сразу осталось позади. Я даже чувствовал себя немножко одиноким...

## КОГДА ЭТО НАЧНЕТСЯ?

**К**ак только мы приехали в Берлин, я все время стал ждать, *когда это начнется...* Что — это? Дипломатическая война, конечно! После того случая в поезде я сразу подумал: вот, началось! То-то ли еще будет в Берлине! Надо быть начеку, чтобы не выстрелили в спину, как Воровскому! И я все время был начеку, но ничего не начиналось.

Первое время я испытывал странное чувство: как будто я уехал из города на три дня, а когда вернулся, там уже все выучились по-немецки говорить. В трамвае, в автобусе, в магазинах, просто на улице — всюду звучала немецкая речь. Это звучало необычно, хотя я сам говорю по-немецки. Но в Москве всегда удивлялись, когда я говорил по-немецки, а тут наоборот: удивлялись, что я говорю по-русски! Даже собаки удивлялись, честное слово! (Об этих собаках я вам еще расскажу.) В одном месте только не удивлялись, но там все между собой говорили по-русски: в нашем советском посольстве. Наше посольство было таким маленьким русским островком в большом немецком море. Мы с мамой часто туда ходили. Мама брала там работу на дом, переводила разные русские статьи на немецкий и немецкие — на русский.

Мы с мамой в Берлине много гуляли, гораздо больше, чем в Москве. Мы ходили в центре по улицам — по Лайпцигер-штрассе, на которой было много магазинов, и по Унтер-ден-Линден, где росли огромные вековые липы. «Унтер-ден-Линдеи» в переводе означает «Под липами». Это самая главная улица Берлина, она похожа на длинный сквер, хотя по ней и мчатся машины. На этой улице много кафе — столики стоят прямо на асфальте под липами — и ресторанов. И самое главное — на этой улице, в доме № 7, помещалось наше советское посольство, куда мы ходили чуть ли не каждый день.

В Берлине я увидел страшно много машин! Это были машины разных марок: и «линкольны», и «форды», и «паккарды»! Зато извозчиков и ломовиков с телегами почти не было. Ломовиков заменяли грузовики. И я вспомнил слова Кржижановского, которые он говорил в Кремле: что у нас пока еще ездят на телегах, а на Западе на машинах. И это было действительно так, сейчас я в этом сам убедился. «Но ничего! — думал я. — Вот кончим мы свою пятилетку, и у нас тоже будет много машин!»

Автобусы в Берлине были очень смешные: двухэтажные! Такие высокие, что, когда они катились по улице, казалось, что они вот-вот упадут! Мама не любила на них ездить: у нее на втором этаже кружилась голова. А у меня не кружилась. Я любил ездить на втором этаже, оттуда все было очень хорошо видно, тем более что второй этаж был без крыши. Там люди ехали и курили, стряхивая пепел прямо на улицу! А еще я любил на них ездить потому, что там можно было получить у кондуктора чистенький блокнот! Да, да! Замечательный маленький чистенький блокнотик, розовый, или голубой, или желтый. Все берлинские ребятишки получали от кондукторов блокноты. Взрослые, конечно, нет — это была детская привилегия. Войдя в автобус, вы должны были просто сказать кондуктору: «Schaffner, geben sie mir, bitte, einen Block!» В переводе это значит: «Кондуктор, дайте мне, пожалуйста, блок!» А иногда кондуктор сам вам говорил: «Junge, willst du einen Block?», то есть: «Мальчик, хочешь блок?» — и протягивал его тебе. Вы спрашиваете, что это за блокноты? Это были корешки от билетов, вот что! У нас автобусные билеты висели на груди кондуктора толстыми рулонами, от которых он отрывал билеты. А у немецкого кондуктора на груди висели не рулоны, а такие маленькие книжечки. Когда все билеты были оторваны, от них оставались сброшюрованные корешки, довольно большие — настоящий маленький блокнот. Этот блокнот кондуктор и отдавал ребятам.

А еще я любил ездить на «S-Bahn» и «U-Bahn». S — это надземная железная дорога, а U — подземная. Надземка грохочет посередине города, верхом на железной эстакаде, прямо над до-

мами! Представляю, каково было людям спать в этих домах! «Не хотела бы я быть на их месте», — говорила мама. И я бы не хотел. Но ездить в надземке я хотел! Хотя еще больше я любил ездить в подземке, то есть в метро, которого в Москве тогда еще не было. Московские газеты только еще обсуждали этот вопрос. Но большинство москвичей — рабочих и служащих — высказывались против. Потому что у нас в то время были дела поважнее. Наша страна была еще бедной, мы только еще выходили из голодной разрухи, до метро ли нам было? Потом-то мы метро построили, и оно сразу затмило все подземки мира. Потому что мы его отгрохали из мрамора! Такой красивой подземки теперь нигде нет! В Берлине подземка не из мрамора, она вся из железобетона, производит серое и довольно неряшливое впечатление, потому что всюду валяются окурки и кожура бананов, даже целые газеты. Но все равно я любил там ездить больше всего, потому что это было в новинку. Когда вы спускались в подземку, над которой торчит буква «U», оттуда всегда тянуло сквозняком, пахнувшим железом, и жженой резиной, и еще чем-то особенным, чем пахнет только подземка. Пока вы спускаетесь вниз по лестнице, этот сквозняк сильно дует вам в лицо, играя волосами, а на перроне вас сразу оглушают поезда. Они выскакивают из черного туннеля, как фантастические змеи с ярким глазом во лбу! Я очень любил ездить на этих змеях!

Берлин меня вообще оглушил, когда мы туда приехали. Он оглушил меня своими бесчисленными машинами, двухэтажными автобусами, грохочущими эстакадами надземки и подземными змеепоездами! Берлин ослепил меня своим серебристым каменно-железным обликом и яркими рекламами, особенно вечерними. Днем эти рекламы смотрели спокойно, не двигаясь. А по вечерам они оживали! Буквы на них прыгали как сумасшедшие, они то вспыхивали, то гасли. Разные смешные человечки на них танцевали, и бежали на месте, и размахивали руками, и подмигивали! Просто удивительно, во что только не превращались эти рекламы! Они сходили с ума! Не просто так сходили с ума — это они призывали вас что-нибудь купить.

Какую-нибудь зубную пасту, или духи, или ботинки, или автомобиль! «Купите, купите, купите!» — беззвучно кричали рекламы. Но все это купить мог, конечно, только очень богатый человек. А бедных эти рекламы только дразнили. И портили им настроение. Мне они тоже портили настроение, когда рекламировали игрушки. Мне сразу хотелось купить все эти игрушки. И некоторые мама покупала. Но все она ведь не могла купить! Так что рекламы, конечно, интересны. Но без них как-то спокойней. И в кармане больше денег остается. Если они, конечно, у вас есть.

## СОБАЧИЙ ПРОМЕНАД

**М**ы с мамой иногда ездили за город, в самый красивый берлинский парк Grunewald. В переводе это значит «Зеленый лес». Там росли огромные вековые деревья посреди аккуратных лужаек на берегах знаменитых берлинских озер — Шлахтензее, Ваннзее и Круммерзее. Стояла поздняя осень, и было особенно красиво. Трава на лужайках была еще зеленой, зелеными были сосны и ели, а дубы и клены стояли как огромные горящие факелы на гигантских черных рукоятях, и небо над ними дымилось облаками. Листопад казался издали сонмом холодных искр. Аккуратные немецкие садовники аккуратно подгребали эту листву на аккуратно подстриженной траве.

В Груневальде было очень чисто, не то что в подземке, — это было богатое дачное место. Там встречались уютные домики под островерхими черепичными крышами за увитыми плющом каменными оградами, в которых жили богачи. Гулять туда ездили немцы разного достатка, но, конечно, тоже не из самых бедных, потому что бедным гулять некогда. Им надо работать. А если у них нет работы, они тоже не гуляют: тогда они устраи-

вают забастовки или демонстрации или сидят дома, положив зубы на полку. Это ведь тоже дело, и очень мучительное: это называется голодать. У бедных всегда есть дело, даже когда у них никакого дела нет! Наслаждаться бездельем могут только люди мало-мальски обеспеченные. Вот такие люди и гуляли в Груневальде. И еще там гуляли собаки. Не какие-нибудь бездомные, беспризорные собаки, а тоже зажиточные, которые тоже наслаждались бездельем. Каких только там не было собак! Там гуляли таксы, и немецкие овчарки, и болонки, и карликовые пинчеры, и бульдоги, и даже сенбернары. Гуляли они, конечно, не одни, а со своими хозяевами. Они чинно шли рядом на поводках. Иногда было непонятно, кто кого прогуливает: хозяин собаку или собака хозяина. Эти прогулки назывались по-немецки Promenade или Lustwandeln, что значит «прогулка в охоту». А мы с мамой называли это «собачьим променадом». Потому что главными персонами в этих прогулках были не люди, а собаки. Это по всему было видно. И по тому, как важно собаки шествовали, и по тому, как хозяева к ним обращались. Они обращались к ним чуть ли не на «вы»! Но и собаки выдрессированы были что надо! Они повиновались малейшему приказанию, даже сказанному шепотом. И понимали они только по-немецки, как и их хозяева — собачники. Такие собачники появляются от очень зажиточной жизни, сказала мама. У нас в Москве, после революции, гражданской войны и разрухи, собачников совсем не осталось. Потому что не до собак было в годы военного коммунизма. Сейчас, когда я пишу эту книгу, у нас тоже появились собачники. Мама говорила, что их зовут зоофилами. Зоофилы — это люди, которые больше всего на свете любят животных. Они их любят больше, чем людей, больше, чем детей! Вот как они их любят! Это уже не любовь, а болезнь. Всякое чувство, переходящее границы, становится болезнью. Зоофилия и есть такая болезнь. Это очень древняя болезнь. Слово *зоофилия* составлено из двух греческих слов: *зооп* — животные, *philos* — любовь. Все эти зоофилы люди ущербные, говорила мама. Вы видели на небе ущербный месяц? То есть идущий на убыль? Вот такие же эти

люди. У них, как правило, нет детей. Почему у них нет детей — этого уж я не знаю. Может, они не хотели детей, а может, и хотели, но им, как говорится, «бог не дал». Вот они и перекладывают всю свою любовь на собак. Или на кошек. А когда у них есть дети, они все равно перекладывают всю свою любовь на животных. Это-то и ненормально!

Первый раз меня эти зоофилы с собачками очень удивили, потому что я никак не ожидал увидеть такую картину, как в этом Грукевальде. Я же вам говорил, что ожидал увидеть жестокую войну, сплошные выстрелы, поединки, драки! А тут такая собачья идиллия! «Где же война? — спрашивал я маму. — Ну где?» И мама смеялась. Она говорила, что дипломатическая война идет здесь все время, но она идет *подспудно*, то есть скрытно, невидимо для обычного взгляда, и не на улице, а в дипломатических кругах. Там, в этих кругах, дипломаты разных стран воюют между собой на заседаниях. И вовсе не кулаками они воюют, а словами, в разговорах. Они, как правило, очень вежливо воюют, благовоспитанно, беспрестанно улыбаясь друг другу, даже кланяясь, но все время делая друг другу неприятности. Они действуют хитростью, а не кулаками. А убийство дипломата — это крайняя мера, после этого часто начинается открытая война, война с переходом границы, с пушками, танками и самолетами. Белогвардейцы, убившие Воровского, и хотели вызвать именно такую открытую войну, они хотели такую войну спровоцировать, то есть вызвать ее этим убийством, но им это не удалось.

Обо всем этом мы беседовали с мамой, когда гуляли в Груневальде. А еще я там подслушал, как разговаривали две собаки...

Мама сидела на лавочке и читала, а я прохаживался по полюне и собирал красивые осенние листья. И тут появились собачки — болонка и карликовый пинчер. За ними показались две зоофильские старушки. Они спустили своих собачек с поводка и медленно шли следом. Я стал наблюдать за собаками. Они были очень маленькие и смешные. Лохматая толстая бо-



лонка еле волочила по траве свой живот. Желтоватые от старости волосы свисали у нее прямо на глаза, отчего у нее был какой-то насуспенный вид. Карликовый пинчер был, наоборот, очень тонкий, стройный, черный и гладкий. Глаза у него были какие-то рыбы, выпуклые, с набухшими морщинистыми веками. Особенно поразил меня этот карликовый пинчер. Он еще был похож на какое-то насекомое, на жука со сложенными крыльями. К тому же он все время дрожал мелкой дрожью. Он дрожал не переставая! Я долго на него смотрел, и он все время дрожал. Я тогда подумал, что он от холода так дрожит, но потом, когда я увидел его весной, в теплый солнечный день, я понял, что он так всегда дрожит. Может, он так от старости дрожит? Мордочка у него была действительно старая-старая, как у древнего собачьего гномика. Может быть, он и вправду собачий гномик, кто его знает! К тому же он был не голый, как другие собаки: он был одет во фрак! Это такой черный костюм с длинным пиджаком, полы которого висят сзади, как два сложенных крыла. У отца был такой фрак, он иногда надевал его, собираясь вечером в посольство. Этот фрак сшил ему Зусман. Так вот, этот пинчер тоже был в своем маленьком собачьем фраке. Фрак у него был, правда, без штанов: только черный пиджак, обшитый по краям красной тесемкой. Оттого этот пинчер еще больше походил на насекомое, на жука со сложенными крыльями.

Пинчер мне очень понравился, и я сказал ему: «Эй, старичок, иди сюда!» Я это по-русски сказал. Пинчер посмотрел на меня с удивлением... «Не понимает!» — решил я и повторил по-немецки: «Komn doch her, du Alter!» — и тогда он подошел! Он приблизился, все время дрожа, обнюхал меня морщинистой мордочкой и вернулся к своей болонке. И они стали о чем-то шептаться... «Неужели они там шепчутся по-немецки? — удивился я. — Надо послушать!» Я спрятался за толстым стволом дерева и напряг слух. Разобрать что-нибудь было трудно, потому что ветер шелестел опавшими листьями, и пинчер к тому же все время кашлял скрипучим старческим голосом... С трудом я разобрал несколько слов — они действительно говорили по-

немецки! Это было удивительно! Вот вам отрывок собачьего диалога:

ПИНЧЕР. Кхе! Кхе! Кхе! Ein Parteitier! Партийный зверь!  
БОЛОНКА. Ужасно! Почему его не арестуют?

ПИНЧЕР. Кхе! Он русский...

БОЛОНКА. Ну и что же?

ПИНЧЕР. Пахнет советским подданным... Кхе!

БОЛОНКА. Зачем их только сюда пускают! Ужас! И без них холодно.

ПИНЧЕР. Да, кхе, кхе! Погода какая-то антибуржуазная...

Тут голоса смешались с шорохом листьев.

Я вышел из-за своего прикрытия и подошел ближе. Но собачки сразу замолчали. Вот хитрющие! «Это уже похоже на что-то! На дипломатическое! — подумал я. — Надо будет их еще подкараулить!»

Может быть, вы скажете, что этого не могло быть? Но почему же я тогда так хорошо помню этот разговор, помню его все эти годы? Все было именно так, можете не сомневаться! Такое бывает. Мне мама читала одну такую немецкую книгу. Только в ней не собаки разговаривают, а кошки, но разница не велика. Там кошка даже ведет дневник. Книга так и называется: «Записки кота Мура». Можете сами почитать, если вы мне не верите...

## ПЕЙЗАЖ ЗА ОКНОМ

**Т**ак я и жил в Берлине, в основном гуляя с мамой по центру города и в Груневальде. Иногда я играл дома. Разыгаться теперь было где — квартира у нас была большая, из трех комнат! Не то что в Москве, где мы все ютились в одной комнате. Здесь у меня была своя комната, и у отца, и у мамы.

А еще у нас была своя кухня с газовой плитой и ванная! Все

это мне было в новинку. В Москве кухня была общая. А в ванной никто не купался: она стояла законсервированная с дореволюционных времен. Когда-то вода в ней подогревалась дровами, газа тогда еще не было, но дровяная колонка для воды сломалась в годы революции, и ее никто не чинил; все наши жильцы ходили в баню. В ванной комнате мыли только лицо и руки холодной водой в умывальнике. В самой ванной, всегда запущенной, был склад разных старых вещей, принадлежавших жильцам. А здесь, в Берлине, мы никогда не ходили в баню, здесь мы всегда мылись дома в белоснежной ванне с горячей водой.

Так что квартира у нас была замечательная. Мы в нее въехали прямо с вокзала; она уже ждала нас — ее сняли нам товарищи. И еще одна необычная вещь удивила меня в этой квартире на другое утро после нашего приезда.

Когда мы утром проснулись и умылись в ванной, мама решила сварить на завтрак кофе со сливками. Но я же знал, что у нас нет никаких сливок! И хлеба нет, потому что мы приехали поздно и сразу с вокзала завалились домой, а потом в кровать.

Поэтому я спросил:

- Ты пойдешь в магазин? (Я хотел пойти с ней.)
- Нет,— сказала она,— я сейчас все возьму на площадке...
- На какой площадке? — удивился я.
- На лестничной! — сказала мама.

И действительно! Я пошел вместе с ней по коридору, она открыла парадную дверь, и я увидел снаружи возле двери, на каменном полу площадки, плетеную корзинку с ручкой, накрытую чистой белой салфеткой! Мама откинула салфетку и взяла оттуда бутылку сливок, и бутылку молока, и пачку сливочного масла, и еще несколько румяных булочек в пакете! И кофе! Это было просто сногшибательно! Я растерялся. Я подумал, что это принес какой-то добрый волшебник...

- Это волшебник принес? — спросил я.
- Какой волшебник? Это принесли из магазина...
- В подарок?

— Почему в подарок? За деньги! — сказала мама.

Оказывается, товарищи все это заказали в магазине! И нам это привезли!

С тех пор у нас на площадке каждое утро появлялись молоко, сливки и булочки. Я всегда сам брал утром корзинку и тащил все на кухню. А пустую корзинку ставил обратно.

Так текли дни за днями, полные разных новостей. Когда мы не гуляли, я играл один в своей комнате. Мне купили замечательную железную дорогу, с настоящими рельсами, настоящим паровозом и вагонами. С такой железной дорогой скучать было некогда.

А иногда я смотрел в окно. Там, за окном моей комнаты, был вовсе не городской пейзаж, а горный! Там громоздились увенчанные снежными шапками горы, напоминавшие Кавказ. На склонах гор кудрявился кустарник, а еще ниже лес, а у подножия текла река и стояли белые домики с острыми красными крышами... никакого Берлина и в помине не было! В ярко-синем небе над горами светило солнце! Вместе с тем откуда-то сверху шел то снег, то дождь — время летело, и наступила зима, а она в Берлине сиротская, с дождем и снегом... Да, зима-то наступила, *но пейзаж за окном не менялся!*

Ну, этого быть не может! — скажете вы. Это уже полный бред! Хотя немцы и умные люди, но этого они никак не могли сделать! Разве что за окном жил действительно какой-то волшебник... Да, скажу я вам! И это был тот же волшебник, что и в случае с булочками. Ну, может, не тот самый, но такой же: а именно волшебник *за деньги!* Как так? Очень просто. *Этот пейзаж за окном был нарисован!* Он был нарисован на глухой стене противоположного дома! А вы-то думали, что он был настоящий! Потому-то солнце в нем и не двигалось, что он был искусственный. Его велела нарисовать наша хозяйка, фрау Аугуста, которая сдавала нам квартиру. Она очень беспокоилась, что не сможет свою квартиру дорого сдать, потому что окна смотрели в стену соседнего дома. Согласитесь, что это некрасиво: все время видеть из окна глухую кирпичную стену!

Вот она и наняла художника, чтобы он эту стенку разрисовал. Она ему, конечно, заплатила деньги. Но и квартирную плату она тогда повысила, потому что накинула сколько-то марок за этот пейзаж. Она так и в объявлении писала: «Сдается квартира с видом на Швейцарские Альпы»... Хитрющая была хозяйка! Это мы с мамой все потом выяснили.

Вот такая вещь деньги в капиталистической стране! За них можно почти все купить, объяснила мне мама. Хочешь купить горный пейзаж — пожалуйста! Выкладывай денежки! И будет тебе за окном пейзаж! Но тут есть одно «но», сказала мама: пейзаж-то искусственный! Настоящего пейзажа, как у нас на Кавказе или на Урале, не купишь! Или, например, любовь — разве можно настоящую любовь за деньги купить? Нет! Мама сказала, что некоторые люди даже свою любовь продают. Но это тоже не настоящая любовь, а искусственная, потому что настоящую любовь ни за какие деньги не купишь. Например, мою любовь к маме, или к отцу, или к Гизи — разве можно такую любовь купить? Нет, конечно! Настоящая любовь не продается. Так же, как настоящий пейзаж. Его в кармане не унесешь. Вот то-то и оно...

Сначала мне этот пейзаж за окном нравился; я все смотрел на него и утром и вечером, сквозь снег и сквозь дождь и в тихую погоду. Но потом он мне надоел. Нельзя же все время смотреть на одно и то же, даже если это красивая картина! В этом есть что-то ненормальное! Все это я сказал маме. Я сказал, что за эту квартиру надо бы вообще ничего не платить из-за этого идиотского пейзажа или платить совсем немного. «Надо куда-то пожаловаться,— сказал я,— чтобы замазали этот пейзаж. В домоуправление, что ли...» Но мама сказала, что тут мы не вольны. Мы не дома, не в Москве, сказала мама, и пожаловаться тут некуда. Потому что никакого домоуправления нет, есть хозяйка, этот дом принадлежит ей, и соседний тоже, и она может с ними делать что хочет. Хоть кладбище нарисовать на стене, и никто ей этого не запретит. Я очень удивился и сказал, что тогда надо съехать с этой квартиры и снять другую. Но мама

сказала, что и это не так просто. Квартиру в Берлине снять очень не просто, особенно с ребенком и особенно иностранцу, тем более советскому подданному, — не каждый сдаст. А если сдаст, то очень дорого. А эта квартира сравнительно недорого, как раз из-за этой стены за окном, из-за этого злополучного пейзажа. Поэтому мы ее и сняли. Ведь мы не миллионеры. Так что надо примириться с этим пейзажем. А если он очень надоел, то просто на него не смотреть. И я перестал на него смотреть.

«333-05»

**С** этими игрушками получилась пренеприятная история. Кто больше всех виноват, сказать трудно. Считалось, что я. Но всю вину я на себя взять не могу. Это было бы несправедливо. Я считаю, что реклама тоже виновата. Она-то как раз виновата больше всего, а я только немножко... Но судите сами!

Когда мы с мамой возвращались по вечерам домой на Унтер-ден-Линден, мы все время любовались рекламами. Я же вам говорил! Одна реклама, высоко на крыше, нравилась мне больше всего. Ее можно было разглядывать без конца! Такая она была веселая и богатая. На ней бегал по рельсам игрушечный поезд: зеленый паровоз и разноцветные вагончики — такие же, как у меня дома. Но там было не только это! Там были еще станционные постройки! И семафоры! И зеленая, поросшая лесом гора с туннелем! И мосты через речку, и стрелочные будки со стрелками, и тупики, в которых стояли запасные составы! Когда поезд подходил к станции, семафор поднимал руку. Когда он руку опускал, поезд останавливался. Начальник вокзала на перроне тоже поднимал руку с жезлом перед отправкой. И даже продавец газет стоял на перроне со своей тележкой.

Пассажиры покупали у него малюсенькие газеты, а потом садились в вагоны. Поезд трогался, скрывался в туннеле, потом выскакивал из него, останавливался на станции и мчался дальше... Просто удивительно! Все было сделано из лампочек, как — я не знаю, но вид у рекламы был потрясающий! Все это сверкало, мерцало, двигалось! А над железной дорогой стоял на коленях мальчишка в синей форме с желтыми пуговицами и желтым кантом на фуражке. Из рта у него выскакивали большие буквы: они бежали по краю рекламы и в конце гасли...

Дома я с мамой занимался и уже знал почти все немецкие буквы, а некоторые она объяснила, и так мы вместе с ней читали, что там было написано. Из рта мальчика катилась все время одна и та же фраза: «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА СО ВСЕМИ К НЕЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ! ЗВОНИТЕ 333-05, И ВАМ ВСЕ ДОСТАВЯТ НА ДОМ! СПАСИБО!» Потом все начиналось сначала: «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА СО ВСЕМИ...» — и так далее, без конца. Все время одно и то же! Вы стояли и смотрели, и забыть потом эти слова вы уже не могли! Особенно если вы смотрели на эту рекламу часто и долго, как я, например. Через несколько дней я знал все эти буквы наизусть! Реклама их просто вдолбила мне в голову! Я все время повторял — и вслух, и шепотом, и мысленно: «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА СО ВСЕМИ К НЕЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ! ЗВОНИТЕ 333-05, И ВАМ ВСЕ ДОСТАВЯТ НА ДОМ! СПАСИБО!» Мне казалось, что это отпечатано у меня в мозгу! Я никуда не мог деваться от этих букв! Я сказал маме, что надо позвонить, а она сказала: «Ладно, как-нибудь позвоним! Вот будет Новый год и елка — тогда... А пока играй так, у тебя же хорошая дорога!» Но я все не мог успокоиться. Ведь там были такие замечательные вещи, на этой рекламе! Моя собственная железная дорога казалась мне теперь какой-то жалкой. Совсем голая дорога! А до Нового года ждать еще долго. Ведь стоит только позвонить по телефону, и вам все принесут! Да еще скажут спасибо! Зачем же ждать?

И вот как-то раз я остался дома один. Иосиф был на работе,

а мама ушла по делам. Она сказала, что вернется к вечеру. Хозяйка квартиры, фрау Аугуста, придет меня проводить.

Мама ушла, а я стал играть с железной дорогой. На блестящем пустынном паркете она казалась особенно бедной: ни тебе гор, ни лесов, ни туннеля, ни станции! Не говоря уже о пассажирах! Мне даже плакать захотелось. Было обидно. «ТАК В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО? — прошептал внутри меня голос. — ЗВОНИТЕ 333-05, И ВАМ ВСЕ ДОСТАВЯТ НА ДОМ! ЧЕГО ВЫ МЕДЛИТЕ?»

«Действительно, — подумал я. — Телефон-то в коридоре! Стоит только набрать номер! И всё сейчас же принесут!»

«СПАСИБО! — прошептал тот же голос. — РАЗРЕШИТЕ СКАЗАТЬ ВАМ СПАСИБО! ПОЗВОНИТЕ! НУ ЧТО ВАМ СТОИТ! ЗАЧЕМ ПРИЧИНЯТЬ ХЛОПОТЫ РОДИТЕЛЯМ! ВЫ ЖЕ СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК!..»

И тут я не выдержал: я побежал в коридор к телефону, поднял трубку и набрал дрожащей рукой заветный номер: 333-05... На том конце провода звякнуло, потом раздался гудок. Я слушал затаив дыхание. Потом опять звякнуло, и где-то вдали зазвучал нежный девичий голос:

— Hallo? Bitte?

У меня сперло дыхание, и я на секунду замешкался.

— Алло! — повторил голос. — Пожалуйста! Фирма слушает!

И тут меня прорвало.

— ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ СО ВСЕМИ К НЕЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ! — сказал я погромче, чтобы услышали. — ПОЖАЛУЙСТА, ДОСТАВЬТЕ! СКОРЕЕ!

— Кто это говорит? — спросил голос.

— ЭТО Я ГОВОРЮ! — крикнул я.

— Адрес? — спросил голос.

Я назвал адрес. Адрес я хорошо знал: мама велела мне его вызубрить на всякий случай. И вот такой случай подвернулся!

— Какие вам нужны принадлежности? — спросил голос.



— ВСЕ! — заорал я. — СОВЕРШЕННО ВСЕ! ДОСТАВИТЬ НА ДОМ!

— Когда? — спросил голос.

— СЕЙЧАС! — заорал я. — СКОРЕЙ!

У меня даже руки вспотели.

— Сейчас доставим! — сказал голос. — Вы не волнуйтесь! Большое спасибо!

В трубке опять звякнуло и раздалась частые гудки. Я положил трубку на место...

А сам я себе места уже не находил! Взволнованно слонялся я от двери к окну, перешагивая через свою сиротливую железную дорогу в середине комнаты. «НИЧЕГО! СЕЙЧАС ЧТО-ТО БУДЕТ! — думал я. — НЕЧТО ТАКОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ! ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА СО ВСЕМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ! НАДО ТОЛЬКО НЕМНОЖКО ПОТЕРПЕТЬ!»

Я выглянул в окно. Там, внизу, в правом углу, виднелся краешек мостовой, если плотно прильнуть к окну носом. «Не увижу ли я, как подъедет машина с игрушками?» — подумал я. Но там ничего нельзя было разглядеть. Только дурацкий пейзаж на стене был хорошо виден. Другие наши окна тоже смотрели на стену, лишь кухня смотрела в другую сторону, но там был сад. Приходилось ждать.

«Не надо волноваться!» — успокаивал я себя, но все равно волновался. «А может, они обманут? — подумал я. — Сказали, а сами не приедут? Может, они не поверили, что мне нужны все эти принадлежности? Или я не туда попал?» Мне стало тоскливо.

Я опять подошел к телефону, взял трубку и набрал: «333-05»... Раздался гудок, и тот же голос сказал:

— Hello! Bitte!

Я молчал, тяжело дыша.

— Hello! Bitte?! — повторил тот же нежный голос. — Фирма слушает!

Я положил трубку. Второй раз спрашивать не солидно, решил я. Так можно все испортить. Да и прошло-то всего минут

двадцать, надо же им все упаковать и доехать... И тут вдруг раздался звонок!

Я прыгнул к двери и отодвинул задвижку, даже не спросив, кто там, как велела мама... На площадке стояла наша квартир-ная хозяйка фрау Аугуста. Она жила над нами и пришла меня провести по просьбе мамы. «Вот уж некстати!» — подумал я.

— Guten Tag! — сказала Аугуста, входя в коридор.

Она была седая, в очках, в синем платье с фартуком. От нее опять пахло ванилью. От нее всегда уютно и вкусно пахло мылом, ванилью, куличами...

— Добрый день! — буркнул я.

— Ну, как ты здесь поживаешь?

— Хорошо!

— Играешь?

— Играю!

— Почему ты такой красный? Ты что, прыгал?

— Прыгал! — сказал я.

— Надо пообедать! Пойдем, я разогрею тебе суп...

— Не хочу! — буркнул я.

До супа ли было мне, посудите сами!

— Ты же голодный! Мутти велела тебя покормить! Надо слушаться мутти!

— Я уже ел! — соврал я. — Хлеб с маслом и молоко.

— Ах, бедняжка! — Она погладила меня по голове. — Ел холодное! Это я виновата! Я немножко опоздала! — Она опять меня погладила. — Может, все-таки суп?

«О, хоть бы ты ушла! — думал я. — Хоть бы скорей ушла!» Ее слова звучали для меня как с того света. Я отвечал ей полумашинально. Я был, наверное, очень невежлив. Я это потом только понял. В тот момент я был вне себя от ожидания... И тут опять зазвенел звонок!

— Странно! — сказала фрау Аугуста. — Может, это меня... — и пошла открывать.

Я тоже пошел за ней. Она открыла дверь, и тут я увидел его! Мальчишку в синей форме с желтыми пуговицами! И в

синей фуражке с желтым кантом! Я его сразу узнал, и сердце у меня провалилось куда-то в пятки...

— Извините! — сказал он, улыбаясь. — Тут заказали железную дорожку...

— Я ничего не знаю... — начала было фрау Аугуста.

— Да, да! — выпалил я из-за ее спины, протискиваясь в дверь. — Заказали! Здесь!

— Ах, это тебе! — весело блеснула очками фрау Аугуста. — Тогда это здесь! Родителей нет дома, но я могу принять...

— Спасибо! — улыбнулся мальчишка. — Так можно вносить?

— Да! Да! Пожалуйста! — И фрау Аугуста широко распахнула дверь.

Я стоял сам не свой. Мальчишка стал вносить картонные коробки с яркими наклейками! Столько коробок с игрушками сразу я в своей жизни еще не имел! И ни у кого не видел! Разве что в магазинах! Мальчишка их вносил и вносил обеими руками, пока не завалил всю мою комнату. Я стоял посреди этих коробок смущенный, растерянный, вне себя от радости. Я чувствовал себя как во сне! И вместе с тем я чувствовал какое-то странное угрызительное скобление в глубине души от количества этих коробок... Это было какое-то подсознательное скобление души, я толком не понимал, в чем дело, но что-то было не так!

— А вот это тебе премия! — сказал мальчишка, протягивая мне огромную коробку с нарисованным на ней автомобилем. — Подарок фирмы! Передай маме нашу глубокую благодарность!

Я взял коробку дрожащими руками. Этого уж я никак не ожидал!

— А вы, пожалуйста, распишитесь! — протянул он листок фрау Аугусте.

Она взяла его двумя пальцами, внимательно глядя сквозь очки.

— Kolossal! — выдохнула она. — Это колоссально: такая огромная сумма! Подумать только! Как тебя все-таки любит твоя мутти!

И она расписалась ручкой, которую вручил ей мальчишка.

— Большое спасибо! — сказал он, забирая листок. — Я могу быть свободен? — И вышел...

На этом я сейчас прерываю — я больше не могу писать! От волнения. Перед следующей главой, которая называется «Расплата», я должен немного отдохнуть...

## РАСПЛАТА

— Э то что такое? — спросил вечером отец, входя в комнату.

Мама выглядывала из-за его спины. У обоих был растерянный вид.

— Железная дорога! — сказал я.

— Откуда? Кто ее принес? — спросил отец.

— Мальчишка! — сказал я.

— Мальчишка? — переспросила мама. — Какой мальчишка?

Она стояла рядом с отцом, машинально стаскивая шубу. Отец застыл в пальто, со шляпой в руках.

— Ну, «какой, какой!»! — сказал я. — С рекламы! С желтыми пуговицами! Вот какой!

Отец сел в кресло.

— Из какой еще рекламы? — спросил он упавшим голосом.

— Ну, как вы не понимаете! — сказал я. — Реклама игрушек! И там нарисован мальчишка! Вот он и принес...

— Ах! — вздохнула мама. — Помню! «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА СО ВСЕМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ...»

— Ну да! — сказал я. — Мальчишка от фирмы!

— Не понимаю! — сказал отец.

— Ну как ты не понимаешь! — сказала мама. — Служитель фирмы, реклама которой висит на Унтер-ден-Линден, при-

нес вот эту железную дорогу! — и тоже плюхнулась в другое кресло.

Отец посмотрел на разложенные на полу рельсы, на разбросанные вагончики, паровозы, платформы, станции, чело-  
вечков, на мосты и туннели, потом на меня.

— Мистика! — сказал он.

— И совсем не мистика! — сказал я. — Он еще автомобиль принес! Подарок от фирмы! И сказал, чтобы я передал вам глубокую благодарность!

— Действительно мистика! — сказала мама. — Странно!

— И совсем не странно! — сказал я.

— Кому это потребовалось заказать! — сказал отец. — Ума не приложу!

— Это я заказал! — сказал я.

— То есть как? — спросил отец.

— Ну да! — сказал я. — По телефону! Вот и квитанция: фрау Аугуста расписалась...

Отец взял квитанцию и углубился в нее. И мама в нее углубилась: она смотрела отцу через плечо. Я видел, как их лица постепенно мрачнеют. Потом отец опустил руку с квитанцией и посмотрел на меня тяжелым взглядом. Я почувствовал, что дело принимает плохой оборот.

— *Немедленно отправить все назад*, — раздельно сказал отец глухим голосом.

Я почувствовал, как внутри у меня что-то оторвалось...

— Это невозможно! — сказала мама. — Это скандал!

— А это не скандал? — спросил отец, тряхнув квитанцией.

— Да, — сказала мама, — это тоже скандал... Но это среди нас! А если мы вернем, это примет огласку. Нет, вернуть никак нельзя!

Они помолчали.

— Пятьсот марок! — сказал отец. — Возмутительно!

Они помолчали.

Он опять взглянул на меня *так*, что я опустил глаза. Сердце мое провалилось куда-то в пятки.

— Ты понимаешь, *что* ты натворил? — сказал отец. — Где я возьму эти деньги?

Он встал, резко снял пальто и повесил его в коридоре на вешалку, перешагнув через злополучную дорогу, и опять вернулся.

— Ты понимаешь, *что* ты натворил? — повторил отец. — Отвечай!

Я молчал.

— Отвечай, когда тебя спрашивают!

— Понимаю, — прошептал я.

— Пятьсот марок! — тихо сказал отец. — Понимает ли твоя медная голова, что это за сумма?

— Понимаю, — сказал я, хотя вовсе этого не понимал. Я только понял, что это, наверное, очень много. Мне стало невыразимо тоскливо и страшно, из глаз у меня брызнули слезы, и я открыл было рот, чтобы заплакать...

— Замолчать! Не смей плакать! Чтобы я не слышал ни звука! Он еще тут будет плакать!

Звуки застряли в моем горле.

— Полюбуйтесь на этого новоиспеченного буржуя! — Отец взмахнул рукой в мою сторону, как будто в комнате было полно народу, а не одна только мама, которая молчала с убитым видом. — Ты вел себя как самый отвратительный буржуй! Понимаешь?

— Понимаю, — сказал я еле слышно.

— Ничего ты не понимаешь! — воскликнул отец. — Миллионер! Рокфеллер! Сильнее ты не мог меня оскорбить, чем этим твоим поступком! — Он повернулся к маме: — Ну, что ты скажешь об этом юном буржуре?

— Отвратительно! — развела мама руками. — Что я могу еще сказать...

— Более чем отвратительно! — сказал отец. — Пусть сидит тут и думает о своем поступке... Пойдем!

Они встали и вышли.

## ВЕРНЕР

**И** в этот самый неприятный для меня момент появился — знаете кто? — Гизин папа! Он свалился как снег на голову, хотя я его давно ждал, давно хотел с ним познакомиться, и он давно хотел к нам зайти, как говорила мама; она его уже несколько раз где-то видела, и отец его видел, а я все не видел, и вдруг он пришел в этот злополучный момент, когда, как вы сами понимаете, мне вообще никого не хотелось видеть! Даже Гизино папу! Вот потому я и говорю, что он свалился как снег на голову. Но то, что он пришел именно в этот момент, было очень хорошо, я это потом понял, и вы поймете, потому что он *разрядил обстановку*... Вот вы сами увидите, как он ее разрядил!

После того как меня отчитали, я сидел один, мрачный, посреди своих бесчисленных игрушек. Родители пили на кухне чай; я слышал, как они там разговаривали и даже смеялись. «Они еще могут смеяться!» — думал я. Мне было очень страшно — больше за них, чем за себя! «Что теперь будет! — думал я. — Где Иосиф возьмет эти проклятые марки? А если он их не достанет? И его посадят в тюрьму? Что тогда? Что будет с нами?» Слезы неудержимо полились из глаз, я уже не мог их сдержать, я бросился на диван, лицом в подушку, чтобы затлупить рыдания. Я ревел в подушку, подавленный ужасными мыслями, весь содрогаюсь... Потом я затих, как затихает рыба, выброшенная на песок. Я лежал и думал. «Как все в этом взрослом мире полно загадок! — думал я. — Особенно здесь, за границей! Устраивают своими рекламами какую-то ловушку. Уж если вы так свои игрушки навязываете, то отдавайте их бесплатно! А то говорят, автомобиль — подарок, а сами потом столько денег требуют! Какой же это подарок, если он связан с такими неприятностями!» Я даже пнул автомобиль ногой...

Я вспомнил, как отец называл меня буржуем. Мне опять стало стыдно, слезы опять подступили к горлу, но тут я услышал дверной звонок... «Фрау Аугуста! — подумал я. — Ее только не хватало!» Я лег на диван и отвернулся к стене, притворяясь спящим...

Я слышал, как мама пошла открывать, как открылась и захлопнулась дверь и раздались громкие восклицания... Голос гостя был раскатистый и басовитый; это был голос мужчины, а вовсе не фрау Аугусты! Но мне было все равно!

Гость с мамой прошли на кухню, и там продолжались восклицания, смех и веселый разговор. Потом все направились в мою комнату, шаги приблизились к двери, она открылась, и на мгновение все замолчали.

— Na, Jura, schau doch, wer gekommen ist! («Посмотри, кто пришел!») — сказала мама. — Это Вернер, Гизин папа.

Я лежал, крепко стиснув веки, лицом к стене. Мама подошла, силой приподняла меня с дивана и повернула лицом к двери. Я открыл глаза и увидел Гизиного папу! Он стоял в дверях, высокий, чуть не касаясь дверной притолоки, худощавый и стройный. На загорелом лице сверкала ослепительная улыбка. Глаза сияли голубиной, а спутанные волосы падали на высокий лоб, как спелая солома. Он был очень похож на Гизи — такой же точеный нос, и лоб, и губы, только волосы не черные, а желтые. Он мне сразу понравился, этот веселый большой человек, но я смотрел на него исподлобья, я был еще полон своей неприятности. А потом я стеснялся. Незнакомых я вначале всегда стеснялся.

— Guten Abend, Jura! — сказал он, перешагивая огромными ногами через коробки, разбросанные по полу, и протянул мне руку.

Я мрачно пожал его большую ладонь. Он сел рядом со мной на диван:

— Какой-то ты сердитый!

Я молчал, глядя прямо перед собой.



— У него сегодня неприятность! — сказал отец, входя в комнату.

И они с мамой, перебивая друг друга, рассказали про железную дорогу. Они рассказывали смеясь; Гизин папа хохотал, откинувшись к стене. «Чего это они смеются?» — думал я. От этого мне было еще обиднее.

— Миллионер! — закончил отец. — Ты видишь перед собой новоиспеченного миллионера!

— Так надо его экспроприровать! — смеялся Вернер.

— В том-то и дело, что это миллионер без денег! — смеялся отец.

— Есть песня прямо про этот случай, — сказал Вернер. — Там такой припев, слушайте. — И он запел, глядя на меня:

Wem hat das gefallen?  
Wer hat das bestellt?  
Wer kann, wer kann  
Das bezahlen?  
Wer hat so viel Geld?

И все опять засмеялись. Мне песня тоже понравилась. В переводе это значило:

Кому это приглянулось?  
Кто это заказал?  
Кто может, кто может  
Это оплатить?  
У кого столько денег?

Под конец я тоже стал улыбаться.

— А что такое экспроприровать? — спросил я.

— Это значит: потрясти денежный мешок! — объяснил Вернер. — Отнять у миллионера деньги!

— Для чего?

— Для нашего общего дела — в пользу народа!

— А вы отнимали? — спросил я.

— Приходилось! — улыбнулся Гизин папа.

— А вы можете у них отнять эти деньги? — спросил я. — За железную дорогу?

— Ишь чего захотел! — улыбнулась мама.

— Времена изменились, — сказал Гизин папа. — Я уж за-  
был, когда это было...

— Помнишь ту операцию? В девятнадцатом? — спросил отец.

— Да, — сказал Гизин папа. — Золотые времена!

— Почему золотые? — спросил я.

— Потому что была революция в Германии. Баварские  
Советы...

— А почему сейчас не Советы?

— Потому что нас победили фашисты! — сказал Вернер. —  
И кое-кто предал...

— Кто предал?

— Кое-кто...

Я задумался.

— Так вы Иосифа давно знаете? — спросил я.

— О, очень давно! — воскликнул отец. — Тебя еще не было  
на свете! И Гизи не было!

Он хлопнул Гизиного папу по спине. И тот его хлопнул по  
спине. Потом опять отец хлопнул. А потом опять Вернер. Мама  
смотрела на них с улыбкой.

— Ну вот что!.. — сказал Вернер. — Раз игрушки заказаны,  
надо их оплатить! Ты их, конечно, оплатишь?

— Конечно, оплачу! — развел руками отец. — Куда  
денешься!

— Мы вот как решим, — сказал Вернер. — Сейчас, Иосиф,  
заплатишь ты, а когда Юра вырастет, он тебе эти деньги отдаст!  
Заработает и отдаст! Идет? — спросил он меня весело.

— Идет! — сказал я. — Или экспроприрую миллионера!

— Надеюсь, их тогда не будет! — И Вернер встал. — А те-  
перь давайте соберем дорогу! Раз она здесь, надо ее собрать!  
И играть в нее! Можно, я буду с тобой играть?

— Можно! — обрадовался я, соскакивая на пол.

— Давайте играть все! — сказал Вернер. — И ни слова больше о политике! Надо отдохнуть! Это же игрушка для взрослых — твоя дорога!

— Как — игрушка для взрослых?

— Очень просто! Это такая замечательная игрушка, что в нее могут и взрослые играть!

И мы стали собирать мою дорогу: я, мама, отец и Вернер. В тот раз мы играли до глубокой ночи. Вот так Гизин папа разрядил обстановку. Такой уж он был замечательный человек.

## ПРИВЕТ ОТ ВЕРНЕРА

**П**омню: в густом табачном дыму, как в синем тумане, плавают столики, головы жующих и хохочущих людей, оплывающие янтарными сосульками свечи с огненными язычками, вокруг которых мерцают разноцветные сияния, пронзенные прямыми, как оранжевые спицы, лучиками... Лучики движутся: прищуришь глаза — они удлиняются, впиваясь в дымный воздух; откроешь глаза — съеживаются возле самой свечки... В ушах звенит от гомона голосов, смеха, звона ножей и вилок, от плача скрипок и визга цыган на маленькой эстраде в глубине зала. Поют по-русски, и говорят по-русски, и даже смеются по-русски... Мы очень мило сидим в середине зала за круглым уютным столиком, накрытым крахмальной скатертью. Стол уставлен разными вкусными вещами в стеклянной посуде: калачи, икра, семга, соленые грузди... И еда-то вся своя, русская, какой я в Берлине еще не видал! Но на сердце у меня беспокойно, на душе противно, несмотря на то что сижу я очень удобно — на подушке, которую подложил в кресло официант (он, кстати, тоже говорит по-русски), — противно, несмотря на всю эту вкусную еду и, главное, несмотря на то что говорят и поют по-русски. От этого даже еще противней,

оттого, что все по-русски говорят, потому что все эти люди вокруг нас — наши враги! Это белые эмигранты, бывшие царские офицеры и заводчики, дворяне и недворяне, разный сброд,— все те, которых революция вымела из нашей страны в семнадцатом году. «Бывшие люди», как говорит отец.

Я сижу в костюме, который сшил мне Зусман, с салфеткой на груди, и отец в зусмановском костюме, тоже с салфеткой, а мама в шикарном немецком платье, со взбитой прической, такая красивая-красивая, что на нее нельзя не смотреть! Мы изображаем из себя — знаете кого? — добропорядочных немцев! И говорим только по-немецки! И делаем вид, что по-русски ничего не смыслим! Просто бред какой-то! Но так велел отец.

Это он сказал мне дома, когда мы сюда собирались. Он сказал, что мы пойдем в белоэмигрантский ресторан, *что это так надо*, для дела надо, что больше он ничего мне сказать не может. Что надо просто идти и изображать добропорядочных немцев. И не задавать вопросов — говорить на *отвлеченные темы*... Вы знаете, что это значит — отвлеченные темы? Это темы, которые находятся далеко от вас, да и то не все. Наркоминдел, например, сейчас от нас очень далеко, но о нем говорить нельзя. И о нашем советском посольстве, которое, кстати, намного ближе, даже совсем недалеко, тут, в Берлине, через несколько кварталов,— о посольстве тоже нельзя говорить, что вы! Упаси вас боже! Ни-ни! А о погоде, например, можно говорить, о дожде, о солнце, об игрушках — об игрушках пожалуйста, говори сколько хочешь! Особенно о немецких, о моей железной дороге, например. Поняли, что это такое — отвлеченные темы? Чтоб вам проще объяснить, скажу, что это темы, на которые говорить в данный момент не хочется. Но надо.

Вот я и говорю:

— Josef!

Но отец не слышит меня через стол из-за цыганского хора. Он о чем-то быстро говорит по-немецки с мамой, из чего я тоже не могу ни слова понять.

— Иосиф! — повторяю я громче.

— Да?

— Очень хорошая сегодня была погода, когда мы гуляли в Груневальде! — Я это по-немецки говорю, с набитым семгой ртом, и улыбаюсь.

— Ja, sehr gutes Wetter! — улыбается отец.

— Und gestern war auch gutes Wetter! («И вчера тоже была хорошая погода!») — говорю я.

— Да,— говорит отец,— и вчера тоже! — Он понимающе подмигивает мне, как заговорщик заговорщику.

И я вспоминаю, как мы с Вовкой перемигивались, когда скрывали Дика у Фатимы с Ахметом — помните? Но тогда что! Тогда все было не так, как сейчас! Сейчас все намного важнее! И я опять подмигиваю отцу и говорю:

— Наверно, завтра тоже будет хорошая погода!

— Ну ладно, хватит! — говорит отец.— Помолчи!

Ну, вот вам и пожалуйста! Конечно, скучно все о погоде говорить, но о том, что думаешь, ведь нельзя! Проклятый ресторан! Называется «Родина»! Какая же это родина, если это просто яма, подвал! Мы спускались сюда по обшарпанной лестнице. Довольно грязный ресторанчик, замечая я. Пол каменный замусорен. И свечные огарки коптят; дыму от них еще больше становится. И семга пересоленная, и скатерть в рыжих пятнах — противный ресторанчик!

— Вон, видишь,— говорит отец, наклоняясь к маме и кося глазами в сторону,— это Конради!

Мне становится жарко! Тот самый Конради, который убил Воровского! И которого я ранил в бреду, когда мы спускались с Воровским во двор,— тот самый Конради разгуливает здесь как ни в чем не бывало! Он сидит где-то позади меня, я пытаюсь обернуться, но отец стучит ножом по столу и строго смотрит на меня.

— Не вертись! — говорит он.— И не смотри никому в лицо!

— А он не выстрелит в спину?..— спрашиваю я шепотом, но отец вдруг сделал такие строгие глаза, что я чуть не подавился последним словом.

Я сижу как на иголках! Я спиной чувствую этого Конради, который сидит где-то сзади, с пистолетом в кармане, конечно! «Вот, начинается! — думаю я. — Начинается эта война!» Коснувшись спинки кресла, я вздрагиваю; мне кажется, что это Конради приложил мне к спине пистолет... «И зачем мы только сюда пришли! Уж лучше в немецком ресторане, там хорошо! Уютно, спокойно, чисто! Даром что среди чужих! А тут — среди *своих врагов* — страшно!»

«Зве-е-езды и в сердце мо-о-е-ем!..» — тянут конец песни цыгане и под шум рукоплесканий сходят с эстрады.

«О каких они звездах поют? — думаю я. — У меня-то, я знаю, какие звезды в сердце! У меня красные пятиконечные звезды! А у них, наверное, белые и не пятиконечные!»

Бородатые цыгане в красных рубашках и сапогах и смуглые цыганки в ярких пестрых платьях, в шалих с кисточками, золотозубые, с золотыми серьгами в ушах и браслетами на запястьях скрываются толпой за занавеской. На эстраду выскакивает какой-то юркий человечек в черном фраке с болтающимися сзади фалдами, похожий на карликового пинчера, которого мы видели в Груневальде. Он кланяется в зал, прикладывая руку к сердцу. Раздаются жидкие хлопки. Человечек садится к роялю, верхом на круглый стульчик, и, взмахнув руками, ударяет по клавишам.

«Как стра-ашно воспомина-ать! — поет он высоким плакси-вым голосом. — Что где-то есть страна-а, которая для на-ас как будто бы мертва-а-а!»

Пьяные голоса в разных концах зала начинают ему подпевать:

«...Я вернусь, я вернусь в край родимый, где березы льют слезы весно-о-ой!»

— П-жалте! — говорит над моим ухом официант, ставя на стол тарелку с красным дымящимся борщом.

Толстый румяный человек за соседним столом пялит на меня пьяные глаза. Он немец — я слышал, как он говорил с официантом по-немецки. И лицо у него белобрысое, немецкое; я не

могу этого объяснить, но сразу видно, что немец. «И чего он пялит на меня глаза?» — думаю я и отворачиваюсь...

Человечек на эстраде уже играет какой-то танец, и в середине зала начинают танцевать парочки. Пьяный немец встает и идет прямо к нашему столику нетвердыми шагами, бессмысленно улыбаясь... Он подходит к маме и наклоняется над нашим столом... На мгновение его лицо становится серьезным и совсем не пьяным.

— Привет от Вернера! — говорит он быстро по-немецки и добавляет по-русски: — Добрый вечер!

Показалось мне или он действительно все это сказал? Нет, конечно! Он же пьян, даже качнулся! Странный какой-то пьяный! Я смотрю на него во все глаза...

— Разрешите, мадам? — бормочет пьяный заплетающимся языком.

Он приглашает маму танцевать! Сдурел он, что ли? Сейчас отец ему задаст! Но отец кивает маме, и она встает! И идет с этим пьяницей танцевать! Что это отец — испугался, что ли? Я чувствую, что краснею и у меня набухают глаза...

— Что это ты такой надутый? — тихо говорит отец.

— Зачем она пошла с этим... с этим пьяным дураком! — выпаливаю я по-русски. Я совсем забыл, что это нельзя. Я чуть не плачу...

— Hög'auf! Сейчас же прекрати! — сердито шепчет отец, а сам улыбается. — Это наш товарищ и вовсе не пьяный... Я смотрю на отца растерянно-вопросительно.

— Выше голову! — говорит отец. — На нас смотрят! — Он весело улыбается, но в голосе звучат железные нотки.

«Вот оно что! — думаю я. — Отец сказал «товарищ» по-немецки: «Genosse». А немец сказал: «Привет от Вернера!» Как это я сразу не понял. Это же от Гизиного папы привет! Вот это дела! Здорово! Вот так дела!»

Я смотрю на маму: она кружится в толпе танцующих, обнявшись с этим таинственным немцем. И о чем-то с ним весело говорит, поглядывая на меня. И немец поглядывает на

меня. У него толстое веселое лицо. И совсем он не пьяный, он здорово танцует! Мне становится весело: значит, мы не одни здесь! Недаром мы сюда пришли, недаром! Да, да, недаром!

Музыка смолкает, и человек на эстраде встает, кланяясь публике, и танцующие расходятся по своим столикам. Наш новый товарищ ведет маму под руку, и опять у него пьяные глаза и противная улыбка... И опять он покачивается! Просто удивительно! Но теперь меня не проведешь, дудки! Я весело улыбаюсь этому хитрому немцу, когда он подводит маму к столу. «Сейчас поговорим», — мелькает у меня в голове, но отец не обращает на немца никакого внимания! Даже не смотрит на него! И мама на него не смотрит! Как будто его рядом и нет! А немец глупо кланяется маме, громко говорит: «Благодарю вас, мадам!» — и уходит из зала... На прощание он молниеносно подмигивает мне, но так молниеносно, что я опять сомневаюсь: не показалось ли это?

— Все так же, — говорит мама, — товарищ еще в тюрьме, но на днях его выпустят...

Возле эстрады шум — несколько пьяных что-то наперебой говорят пианисту... Потом длинный, худой, с усиками протягивает деньги, и пианист берет их с поклоном.

— Господа! «Богом хранимый!» — кричит длинный, оборачиваясь в зал.

Раздаются хлопки, шум...

— Черт, — говорит отец, — придется задержаться...

Черный человечек садится к роялю и начинает играть очень громко. Все встает, отодвигая стулья, и отец встает.

— Вы сидите! — говорит он нам с мамой.

«Богом хранимый, держа-авный! — запекает зал. — Властитель великой страны!» — все поют вразнобой, некоторые режут, как быки, выпатив животы во фраках... А длинный с усиками, который давал деньги, дирижирует, стоя возле эстрады.

— Полюбуйся, — кивает мне отец, — вот это и есть Конради... — Он сказал это еле слышно.

«Царствуй, наш царь православный!» — ревел зал.



«Какой там царь, если его уже нет! — думаю я.— Ведь царя расстреляли! Мне отец говорил! А они поют «царствуй»! Дураки какие-то! А Конради какой противный, подлец! В спину Воровскому стрелял! А теперь стоит тут и дирижирует! И в тюрьму его даже не посадили! А наши сидят в тюрьме! Так бы и выстрелил этому Конради прямо в черный рот, которым он орет свою песню...»

Когда песня кончается, мы рассчитываемся с официантом. Он спросил у отца:

— Вы какими будете платить — долларами или марками?

И отец сказал:

— Марками...

Мы берем у швейцара свои пальто и поднимаемся вверх по грязной, выщербленной лестнице. На улице уже темно, нас охватывает морозный воздух. В черном небе тускло горят рекламы, потому что туман и изморозь. Противная зима в Берлине! Снега нет, а такой холод! Мокрый, пронизывающий. Бегут машины, прохожие спешат, подняв воротники. В конце улицы они растворяются в сером тумане, в извечном тумане, который так часто сопровождает мое детство!

Отец берет меня за руку.

— Теперь побеседуем! — говорит он.— Должен сказать, что вел ты себя хорошо, но не очень...

— Почему?

— Чуть не расплакался, как баба, когда мать пошла танцевать!

— Приревновал,— смеется мама.

— Зачем вы тогда меня брали! — обижаюсь я.

— Не надо было бы — не брали! — строго говорит отец.— У нас был семейный немецкий ужин, понятно?

— Понятно...

«Хитрые они какие! — думаю я.— Вот хитрые! Но почему они тогда не убьют этого Конради? И не сделают поскорей мировую революцию?» Я иду и... думаю, думаю, думаю...

Горят рекламы. Машины разных марок шуршат по мокрой

блестящей мостовой, отражаясь в ней, как в черной реке. Спешат прохожие. Ключья тумана висят над Берлином, как надо всем миром...

## СМОТРИТЕ, ЛЮДИ!

**Д**ни шли за днями, зима в Берлине становилась все более снежной — не очень снежной, но все-таки. Приближался Новый год и дни сплошных праздников: почти целый месяц! Как так, спрашиваете вы? А вот смотрите сами!

Дело в том, что в Германии новогодние праздники начинаются за неделю до Нового года — вечером 24 декабря. Этот вечер и ночь после него считаются в Германии очень большим праздником. Все наряжают у себя дома елку, которая стоит до Нового года. Возле этой елки танцуют и поют и просто сидят, и так длится целую неделю, до 1 января. Все дни между двумя праздниками тоже праздники, и называются они «Weihnachten», то есть рождество. 1 января праздники кончаются, тогда елку опять разряжают, игрушки складывают в коробки до Нового года, а елки выбрасывают на улицу. Но это так у немцев, а у нас, у русских, праздники в Новый год только начинаются — они начинаются 31 декабря и длятся аж до 13 января, потому что 13-го начинается старый Новый год! Дело в том, что у нас в России до революции Новый год начинался на две недели позже, вернее, на тринадцать дней позже, потому что раньше мы жили по старому календарю. А революция ввела новый календарь, как на Западе, — на тринадцать дней раньше. Вот и получилось в России два Новых года! Потому что некоторые стали праздновать его по новому стилю — 31 декабря, а некоторые продолжали праздновать по старому — 13 января. По старому его продолжали праздновать разные старушки и старички, которые никак не могли согласиться с новым календа-

рем. А самые веселые люди — вроде нас, например, и наших знакомых — праздновали Новый год два раза: по-старому и по-новому! Ведь человек в существе своем оптимистичен, шутил отец, почему бы ему не попраздновать лишний раз?..

В общем, так или иначе, но мы праздновали дома Новый год и по-новому и по-старому — два раза! Тем более, что родился-то я в Новый год по-старому, то есть в ночь с 13 на 14 января! Тут уж никак нельзя не праздновать, согласитесь со мной! Вот и было так, что в Москве мы всегда начинали праздновать 31-го, и это праздничное настроение длилось у нас до 14 января, когда мы отмечали старый Новый год и мое рождение. И эту семейную традицию мы захватили с собой в Берлин, а там прибавились еще немецкие праздники, которые начинались 24 декабря, и получается почти целый месяц веселых праздников! Ведь не могли же мы в Германии ходить все эти дни мрачные, когда все вокруг веселились и праздновали! Говорят же: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят!» Вот мы и праздновали вместе с немцами, а потом некоторые немцы, наши друзья, продолжали пребывать с нами в праздничном настроении до русского старого Нового года и моего рождения! Должен вам сказать, что и сейчас, по прошествии многих лет, где бы я ни был, я начинаю праздновать Новый год 24 декабря и праздную его до 14 января! Потому что это связано у меня с воспоминаниями детства, с воспоминаниями о моих родителях и о Гизиных родителях и о днях, проведенных в Германии. И моя жена, и мои дети тоже празднуют вместе со мной. И наши знакомые тоже. И вы, если хотите, тоже можете к этой традиции присоединиться. Потому что всегда приятно присоединиться к какой-нибудь традиции, особенно если это веселая традиция. Вы можете присоединиться к этой традиции после того, как прочитаете мою книгу. Уверяю вас, что хуже вам не будет!.. Так что приближались праздничные дни, и все в Берлине готовились к этим праздникам. И я тоже готовился, внутренне, — я ожидал чего-то веселого и, конечно же, подарков. Хотя отец говорил, что я себе достаточно заказал подар-

ков — он имел в виду тот злополучный случай с железной дорогой. Отец говорил, что я сам обеспечил себя подарками на несколько лет вперед. Но я чувствовал, что он шутит, что он просто подтрунивает надо мной. С железной дорогой я, конечно, поступил нехорошо, но нельзя же меня из-за этого лишать подарков на несколько лет! Это было бы несправедливо! Уж елку-то должны были купить, а к ней и какие-нибудь украшения и подарки, ну хоть самые малюсенькие, — совсем без них ведь нельзя! Это просто невозможно! Это не лезет ни в какие ворота, как говорили у нас дома. Так я себя убеждал, спорил сам с собой, и с отцом, и с мамой, а они все улыбались и подтрунивали. Иногда мне вечером казалось, что они не подарят, а утром опять казалось, что подарят! Немножко я, конечно, волновался и боялся, но в высшем смысле был уверен, что елка и подарки все-таки будут. Вот это и называлось: внутренне готовиться к праздникам... Я очень ждал эту самую пресловутую елку, потому что это было тогда для меня в новинку. В те годы елок у нас в Москве не бывало — после революции елки были запрещены. В детских садах и школах даже разучивали стихи против елок, не против елок вообще, а против устройства елок в домах. Это считалось религиозной традицией, связанной с праздником рождества Христова, ибо раньше елки ставились в сочельник — канун рождества. А советские елки появились несколько позже, когда я уже ходил в школу; их тогда связали с праздником Нового года, с советским праздником, и ввел эту новую советскую традицию секретарь ЦК Постышев. Так тогда все говорили и в газетах писали, что новогоднюю елку ребятам подарил товарищ Постышев. Это все он придумал, и благодарны мы должны быть ему. Но это произошло позже, а в тот год я должен был увидеть праздничную елку впервые, и то не в Москве, а в Берлине, и именно 24 декабря, в начале немецких новогодних празднеств. Так что вы можете себе представить, как я ждал эту первую в своей жизни елку!

Хозяйка нашей квартиры, фрау Аугуста, когда заходила к нам в эти праздничные дни, то и дело спрашивала:

— А вы будете делать елку?

И я говорил:

— Будем!

А отец говорил:

— Не знаю, посмотрим! — и улыбался, хитро глядя на меня.

Тогда я кричал:

— Нет, будем! Будем! Обязательно будем!

И все смеялись. И фрау Аугуста говорила: непременно надо делать елку! Но она это говорила со своей мелкобуржуазной религиозной точки зрения, потому что она верила в бога! Мы-то не верили в бога! Ни в немецкого, ни в русского! Но все равно я хотел елку, я хотел ее не с религиозной точки зрения, а с ребяческой точки зрения, потому что праздничная елка — это красиво и весело, а все, что красиво и весело, должно принадлежать людям. Особенно детям, вы со мной согласны? Вот то-то и оно! И в этом вопросе — должен вам сказать это без лишней скромности — я предугадал мысль товарища Постышева! Да, да, нечего, конечно, хвалиться, но это так! Об этом еще никто не знает, это я вам впервые сейчас в этой книге говорю: что эту мысль предугадал я — устраивать наши советские елки! Тут уж ничего не поделаешь, вы же сами видите, что это так! Я про эту елку потом Вовке рассказывал, а Вовка другим ребятам, а те еще другим, — кто его знает, может быть, это и дошло до товарища Постышева! Это желание ребят иметь елку на Новый год! Вот он взял и подарил нам ее — всем советским ребятам! Может быть, все именно так и произошло, и я не советую вам со мной спорить, потому что обратных доказательств у вас нет!

Между прочим, Гизин папа тоже был со мной согласен: что надо купить елку. Пусть верующие устраивают свою елку и поют возле нее религиозные песни, а мы устроим свою красную елку, сказал Вернер, и будем возле нее петь наши революционные песни! «Мы подведем под эту елку наш марксистский базис, — сказал Вернер, — и все будет в порядке!» Вот какой молодец был этот Вернер, не правда ли? Он был человек без предрассудков, настоящий коммунист!

Он теперь приходил к нам все чаще. Он говорил, что любит побыть со мной. Иногда он, правда, подолгу беседовал с отцом в его комнате. Тогда они оба закрывались и сидели там чуть ли не до утра, выкуривая по несколько пачек папирос, так что в комнате можно было вешать топор — столько там было дыма, как говорила мама, которая приносила им туда чай. Мой отец и Вернер решали там важные мопровские дела. Этих дел у них было по горло. Но чаще всего Вернер сидел со мной. Он говорил, что отдыхает со мной от работы. Мы играли с ним в железную дорогу, а иногда просто разговаривали. Он любил слушать мои рассказы про Гизи, потому что очень скучал по ней, ведь он ее давно не видел. И я ему много рассказывал про Гизи: как мы с ней познакомились, и как я ее сначала стеснялся, и как я на кухне когда-то хотел поразить ее своими яблоками на голове — помните? — и рассыпал эти яблоки по полу! И как мы с ней попали в Кремль на пионерский слет. И как мы жили на даче. И как я научил ее пить рыбий жир — это я ему, конечно, тоже рассказал! Он часто просил меня повторить ему этот рассказ и другие рассказы тоже. Он так любил свою Гизи, что мог слушать эти рассказы без конца. Так мы с ним без конца беседовали и беседовали, и нам не было скучно. Иногда мы с ним даже в ванной беседовали! И тут вовсе нет ничего удивительного...

Дело в том, что иногда, когда Вернер приходил к нам в гости, он заставлял меня в ванне. Вечером, конечно. Он часто заставлял меня там, потому что я очень любил купаться и купался почти каждый день. Ванна-то стояла всегда наготове — большая, сияющая белизной! И горячая вода всегда была под рукой: зажги колонку — и пожалуйста! И потечет горячая вода! Я любил сидеть в ванне, когда вода течет, низвергаясь из крана как водопад! Я тогда любил петь! Вода в ванне была прозрачной до дна, светло-зеленой, как в каком-нибудь горном озере! Тело в этой воде становилось розовым, руки и ноги, если смотреть на них сверху, увеличивались, как будто они были не в воде, а в зеленом увеличительном стекле! Можно было нырять

и смотреть на них в воде — на свои собственные руки и ноги! И вверх можно было смотреть из воды — это было очень красиво! Белые кафельные стены, и зеркало, и ярко-желтая лампа над полкой выглядели из воды таинственными и волшебными. Они колебались, дрожали, и очертания у них были смазаны водой. Как будто вы смотрели в какой-то сказочный мир! Так рыбы видят из воды наш мир! Вот вы небось не знаете, каким представляется рыбам наш человеческий мир, а я знаю, потому что научился смотреть из воды! Вот попробуйте сами, и вы увидите, как это интересно.

А еще я любил наливать в ванну жидкого немецкого мыла — тогда становилось еще красивей! Вы наливаете в ванну немножко этого мыла, а потом пускаете сильную струю воды, и мыло вскипает под водопадом белоснежной пеной! Эта пена даже пышней, чем у самого настоящего горного водопада. И ты сидишь в облаках этой пены, как какой-нибудь водяной! Как морской царь! Одна только голова торчит из пены, и на ней тоже пена — как драгоценная корона морского царя! Так простое купание превращается в веселую игру, если, конечно, обладать хоть некоей толикой фантазии. А еще я брал с собой в ванну игрушки и играл там с ними, пока не надоест.

Я любил, чтоб смотрели, как я купаюсь! Потому что я там кувыркался и показывал разные фокусы: с игрушками и без игрушек. Я всегда кричал из ванны: «Эй, смотрите, люди!» И люди всегда приходили смотреть — это были в основном родители. А иногда и гости, которые оказывались в это время у нас. Чаще всего Вернер. Как только я слышал в коридоре его голос, я сразу кричал: «He, komm doch her! Werner!» — и Вернер сейчас же шел ко мне, и мы с ним сидели и разговаривали. Он, конечно, не в воде сидел — он сидел рядом на табуретке, а я в воде показывал ему разные штуки. Нырлял как рыба, и пускал корабли, и пел. А иногда он со мной тоже пел. Он любил петь, так же как и Гизи. Он очень хорошо пел, у него был хороший голос, это Гизи от него унаследовала свой голос. «Ну, что ты там с ним все время сидишь и поешь! — говорила

Вернеру мама. — Не скучно? Иди лучше чай пить!» Но Вернер говорил, что ему, наоборот, очень хорошо и просил принести ему чай в ванную. Один раз он даже сказал, что это его идеал — вот так сидеть в ванной, когда я там плескаюсь. Ему тогда кажется, что это Гизи плескается, а он, счастливый, сидит рядом. «Такая жизнь — мой идеал, — говорил Вернер, — за это я и борюсь, и не сплю ночей, и иду под пули фашистов!» Ради нашего общего дела! Чтобы немецкие рабочие когда-нибудь все так жили! Все бедные, и нищие, и безработные — все! Ибо что такое идеал? Это самое лучшее, что только можно себе представить, это счастье, в данном случае семейное, а каждый нормальный человек стремится к семейному счастью, к своему идеалу. Коммунисты — такие люди, как Вернер и мой отец, — и борются за этот идеал для всех. Они ведь борются за коммунизм. А что такое коммунизм? Это идеальная жизнь для всех — вот что это такое. Ведь они борются за коммунизм не ради самого коммунизма, идут на баррикады не ради самих баррикад и под пули идут не ради пуль, не ради смерти, а ради жизни, ради идеальной жизни *для всего человечества!* Вот это и есть «наше общее дело», как любил говорить Вернер.

Я часто спрашивал Вернера: «А мировую революцию вы скоро сделаете?» И Вернер говорил, что скоро. Он был в этом абсолютно уверен. Так же как и мой отец.

## НА БЕГАХ

**Д**олжен открыть вам один секрет: у нашей квартирной хозяйки — фрау Аугусты — была одна страстишка, как выражался Иосиф. Страстишка — это увлечение, привычка довольно неблагоприятного характера. Начинается она вроде бы с пустяков, а потом так овладевает человеком, что приносит ему один только вред. Человек тогда и рад бы от нее избавиться, да уже не может. Иногда человек от нее



даже гибнет. Фрау Аугуста, правда, еще не погибла, но уже была захвачена своей страстишкой вполне. Вы спрашиваете — что это за такая страстишка была у фрау Аугусты? Дело в том, что фрау Аугуста любила играть на бегах! Она там играла на деньги. Когда она выигрывала, то была очень гордой и веселой. Но чаще она проигрывала и ходила грустная. Вот это и есть самое неприятное. Вы представляете, что было бы, если б она проиграла все свои деньги? Даже все вещи? Как бы она тогда жила? Ведь работать-то она не умела! Вот в этом смысле я и говорю, что подобная страстишка может человека погубить. Но пока этого не произошло. Фрау Аугуста жила на деньги жильцов, которым она сдавала квартиры, в том числе нам. Она владела большим домом, доставшимся ей от мужа. Ее муж пал на русском фронте в первую империалистическую войну. Фрау Аугуста уже давно была совсем одинока, к тому же она стала старой, а у старых одиноких женщин, говорил Иосиф, часто водятся кое-какие скрытые страстишки. Возникает такое от тоски. Ни к чему хорошему это не ведет, но тут уж ничего не поделаешь. Мама не раз советовала фрау Аугусте бросить эти несчастные бега, но та отвечала, что бега — ее единственная радость в жизни. Смешно, правда? Разводила бы цветы, например! Вот это была бы радость — и себе и другим. А то нашла себе радость — проигрывать деньги. Хоть она иногда и выигрывала, но выигрывала она во много раз реже, чем проигрывала. И все равно продолжала играть. Ей казалось, что завтра она выиграет так много, что сразу вернет все свои проигранные деньги. Но это ей только казалось. Вот такая грустная это была история. Мама всегда жалела фрау Аугусту, когда та приходила к нам плакать о своих проигрышах. И когда она радовалась маленькому выигрышу, мама ее тоже жалела. Фрау Аугуста очень к нам привязалась, и меня она всегда ласкала и даже говорила маме, что чувствует тягу к загадочной славянской душе: то есть к нам, русским. Иосиф смеялся над этой тягой, он говорил, что это просто сентиментальная болтовня, которую нельзя принимать всерьез. Кто знает, что думала про себя эта фрау Аугуста.

Все-таки она была буржуйкой, крупной собственницей — этим все сказано, говорил Иосиф.

И все же мы ее немножко жалели, сочувствовали ей. А она все приглашала нас пойти с ней на бега — отдохнуть и развяться. И над этими словами Иосиф тоже смеялся, и мама смеялась, и я — когда мы были одни, конечно, — а фрау Аугусте мы говорили, что нам некогда. И нам действительно было некогда. К тому же никто из нас — ни Иосиф, ни мама, ни я — не считали, что бега — это отдых. Какой это отдых, если это сплошная нервотрепка! Поговорите с фрау Аугустой, и вам сразу все станет ясно.

Но один раз я услышал, как Иосиф посоветовал маме пойти. Он даже велел ей взять с собой меня. Представляете? Мне это, конечно, очень понравилось. Еще бы: посмотреть бега! Кому не хочется посмотреть бега! Тем более, если ты не знаешь, что это, собственно, такое. Одно я только не понимал: почему Иосиф вдруг изменил свое решение? Хотел успокоить фрау Аугусту? А может, у него была еще какая-нибудь мысль?..

— Я думаю, надо сходить, — сказал маме Иосиф. — Успокоить этим старушку и... — и тут он еще что-то добавил, но я не расслышал: дело было вечером, я уже лежал в кровати, а отец с матерью разговаривали в другой комнате...

В общем, на другой день утром фрау Аугуста, мама и я отправились на берлинский ипподром Карлсхорст. Ипподром — это лошадиный стадион, там наперегонки лошади бегают — это и есть бега. Мы же бегаем наперегонки, ну и лошади тоже. Только лошади на нас, людях, не играют, когда мы бегаем, а люди на лошадях играют... Но подождите, сейчас вы увидите, как они играют!

В тот день, который я подробно запомнил на всю свою жизнь, погода в Берлине была на редкость морозной и солнечной. Свежевыпавший снег лежал тонким слоем на асфальте, на деревьях и на крышах домов. У нас в Москве такой снег можно увидеть только в самом начале зимы, у нас это называется «первый снег», а в Берлине такой «первый снег» можно видеть всю

зиму, потому что он там не лежит в сугробах на асфальте, а то и дело тает и выпадает снова. Я же вам говорил, что в Берлине зима сиротская. Снег там чаще всего жидковатый, как кашлица, и грязный, он долго не держится, но иногда, особенно по утрам, можно видеть вот такой нежный и чистый снег. Даже автомобили, отдыхавшие гуськом вдоль тротуаров, потому что воскресенье, а в узких улочках даже на тротуарах, были покрыты легким покровом сверкавших на солнце снежинок. Народу на улицах было мало, но праздничное настроение все равно чувствовалось. Оно было в чистом небе и солнце, в этом сверкающем снеге, в витринах магазинов, украшенных нарядными елками. И среди немногочисленных прохожих встречались люди, тащившие под мышками елки. В витринах елки стояли пушистыми, расправив в воздухе свои темно-зеленые лапы, увешанные игрушками. А под мышками прохожих елки были еще будничными, лапы у них были опутаны веревками, и такие елки напоминали издали большие зеленые незажженные свечи. Мне тоже должны были купить елку — после бегов, сказала мама, — а пока я шел по заснеженной улице, полный смутного ожидания чего-то интересного. Фрау Аугуста и мама медленно шли сзади, разговаривая вполголоса...

...На бегах зато народу было полным-полно! Люди толпились и сутились у входа и возле касс, втекая с улицы рекой. Мы купили программу, а потом постояли в кассовом зале, поглядывая на большие часы под потолком и на людей, сновавших вокруг. В воздухе стоял гул голосов, прерываемый откуда-то ударами колокола. Все спешили в глубину, и я тянул туда же маму. Наконец мы двинулись. Мама шла позади фрау Аугусты, задумчиво кутаясь в свою огромную черную шубу, а я вприпрыжку рядом с ней, держа ее за руку. Мы быстро двигались в этой толчее, потому что перед мамой все расступались, несмотря на то что впереди шла фрау Аугуста, — я видел, что расступались именно перед мамой, перед ней всегда все расступались, — и вдруг мы очутились на трибуне под открытым небом. Длинная многоярусная трибуна была забита народом! Люди сидели на

скамьях и стояли в проходах с разноцветными программками в руках, и все смотрели на посеребренное снегом огромное зеленое овальное поле. Там, по краю, тянулись темные скаковые круги, и по ним туда-сюда бегали поджарые лошади с перебинтованными ногами. Верхом на лошадях красовались жокеи, то есть наездники, в пестрых разноцветных камзолах и кепочках с длинными козырьками. Все они были так пестро и по-разному одеты, чтобы их можно было хорошо различить издалика.

Мы нашли себе на скамейке место и уселись, и я стал смотреть на лошадей. Фрау Аугуста что-то о них рассказывала маме, тыкая пальцем в программку, но я ее плохо слышал из-за гула голосов. А лошади были прекрасны! Они грациозно скакали по дорожкам, одни медленней, другие быстрей, с развевающимися по воздуху гривами и хвостами, выгибая шеи. Мне только не нравилось, что лошади были так далеко. Покататься бы самому на такой лошади — вот было бы здорово! А то сиди тут и смотри, да еще так далеко вверху, среди всего этого сонмища людей, которые все разом что-то быстро говорят, и в результате ничего не поймешь! Я пытался прислушаться, о чем это все говорят, но в толпе так быстро тараторили по-немецки — бу! бу! бу! — что я ничего разобрать не мог...

— Erlauben sie? — услышал я над собой голос. — Вы разрешите?

— Да, да, — сказала мама, — пожалуйста!

Какой-то толстый дядька с рыжими волосами и большой рыжей бородой уселся рядом. Раздались удары колокола, шум голосов усилился, и многие встали.

— Мальчику, наверное, не видно, — сказал рыжий дядька. — Хочешь встать на скамейку? — спросил он меня.

Мне действительно стало плохо видно, потому что некоторые загораживали мне поле своими спинами, и я сказал:

— Хочу.

Обычно мама не любила, когда со мной заговаривали посторонние, и я подумал, что она скажет: «Не надо! Ребенку и так хорошо!» — но этому дядьке мама улыбнулась и сказала:

— Конечно, пусть встанет.

Я посмотрел на дядьку: что-то в его лице удивило меня. Особенно в глазах! И еще в горле... Глаза и голос показались мне странно знакомыми. И вместе с тем он был мне совершенно незнаком! Я встал и хотел было залезть рядом с дядькой на скамейку, но он вдруг сказал:

— Становись-ка лучше на барьер, я тебя подержу.— Он поднял меня и поставил на барьер.

Внизу, под барьером, была глубокая яма — там был запасной выход нижнего яруса.

— Смотри не упали! — крикнула фрау Аугуста.

— Я держу его крепко, мадам! — откликнулся дядька.

— Спасибо,— спокойно сказала мама.

Дядька и правда держал меня крепко, обхватив сзади руками. Я смотрел на поле — лошади не спеша сбегались со всех сторон в левый угол. Особенно мне понравилась там одна: черная как ночь и тоненькая-тоненькая! Похожих лошадей я видел у отца на палехской табакерке. У этой вороной тоже была маленькая голова, длинная шея и ноги. Всадник на ней был одет в белый камзол с красными шашками. Мне теперь было все очень хорошо видно.

— А ты играешь, малыш? — громко спросил меня дядька...

— Конечно, играю! — сказал я.— Дома, в железную дорожку...

Стоявшие рядом оглянулись на меня и засмеялись. «Поняли-таки мой юмор!» — подумал я.

— Да нет, здесь, на бегах,— сказал дядька.— Ты поставил на какую-нибудь лошадь?

— Чего поставил? — не понял я.

Рядом опять засмеялись. «И чего они так расхохотались?» — подумал я.

— Сейчас я тебе объясню! — быстро сказал дядька.— Ты можешь выбрать какую-нибудь лошадь и поставить на нее — купить лотерейный билет. И если она придет первой, ты выиграл! Понял?

Я кивнул. Я очень удивился: так просто и можно выиграть! Почему же тогда фрау Аугуста все время проигрывает?

— Мутти не купила тебе билета? — спросил дядька.

— Нет, — сказал я. — Она и себе не купила.

— Говори быстрее, какая лошадь тебе нравится!

— Вон та! — крикнул я весело. — Вот та, черная!

— Эта не придет первой! — прошамкал рядом старичок в пенсне. — Она сделает проскачку. Она всегда делает проскачку. — Программка в руках старичка мелко тряслась.

«Ну, этого старичка страстишка уже совсем погубила!» — подумал я.

— Посмотрим! — весело сказал мой дядька. — Эй, молодой человек! — крикнул он кому-то.

К нам подбежал мальчишка лет тринадцати.

— Я вас прошу, молодой человек, — сказал мой дядька, — купите мне, пожалуйста, билет на девятый номер, за три марки. — Он протянул мальчику деньги. — Только быстро!

Мальчишка сейчас же скрылся.

— А он не сбежит? — спросил я.

— Не сбежит! — весело успокоил меня дядька. — Он здесь так подрабатывает: бегаёт всем за билетами...

Я обернулся: фрау Аугуста и мама сидели и с улыбкой смотрели на нас, а вовсе не на поле.

— Я сейчас выиграю! — сказал я. — Моя лошадь черная и придет первой!

— Бедняжка ты! — воскликнула фрау Аугуста. — Черная не придет первой!

— Нет, придет! — крикнул я.

— Первой придет Смолл-мисс, — сказала фрау Аугуста, уверенно блеснув очками. — Надо было спросить меня!

Мама рассмеялась.

— Игроки! — сказала она. — Но напрасно вы его балуете, господин! — обратилась она к дядьке.

— Ничего, мадам! Пусть мальчик разок выиграет!

— Ничего он не выиграет! — проворчала фрау Аугуста. —

Вы ничего не понимаете в лошадях, молодой человек! — Это она облила презрением моего дядьку. Но он ей ничего не ответил.

Я опять стал смотреть влево — там, на кругу, лошади сбились в кучу, переступая ногами. Всадники, ожидая сигнала, сидели на лошадях чуть пригнувшись.

В объятиях рыжего дядьки я чувствовал себя удобно, я был теперь на целую голову выше соседей! Дядька наклонился ко мне совсем близко, и его борода зашекотала мне ухо. Я чуть-чуть отстранился, но его борода опять зашекотала мне ухо, еще сильнее, и дядька быстро зашептал мне прямо в ухо, жарко дыша:

— Смотри вперед и не оборачивайся! Скажешь матери, что товарища сегодня утром выпустили из тюрьмы! Понял? Пусть сообщит в МОПР... Не оборачивайся! Это я! Я танцевал с твоей мамой в ресторане... Смотри вперед!

У меня прямо голова закружилась! Если б он меня не держал, я упал бы в эту яму под барьером. В этот запасной выход. Так вот это кто! Конечно, это он! Те же глаза и голос... Как это я сразу не узнал? Только откуда борода и усы?

— Господин! — крикнул сзади мальчишка. — Вот билет.

— Спасибо! — громко сказал таинственный незнакомец, товарищ отца, наш друг, обнимая меня одной рукой, а другой протягивая мне билет. — Вот, возьми!

— Спасибо! — сказал я, оборачиваясь.

Он смотрел на меня, ласково улыбаясь, и вдруг подмигнул — как тогда в ресторане. И я ему подмигнул! Мы перемигивались, как настоящие заговорщики. Мы и были настоящими заговорщиками! А что вы думаете? Разве я не прав?

И тут я быстро наклонился к его уху — так, чтоб никто не заметил, — и прошептал:

— Привет от Вернера!

— И тебе привет! — прошептал он и громко добавил: — Смотри, смотри, начинается!

Я взглянул на поле и увидел, что лошади уже мчатся по кругу, приближаясь к нам. Первой скакала какая-то ярко-ры-

жая лошадь с янтарной гривой, за ней белая, а моя, черная, шла в середине других...

— Смолл-мисс ведет! Смолл-мисс! — зашамкал рядом со мной старик.

И другие тоже закричали:

— Смолл-мисс! Смолл-мисс!

Рыжая Смолл-мисс промчалась мимо трибун вихрем, далеко обогнав остальных лошадей, другие тоже промчались мимо нас цепочкой, и моя, черная, которую звали Тирошь, в середине цепочки.

— Моя отстает! — крикнул я вне себя от волнения.

Кто-то сзади ехидно хмыкнул.

— Тирошь всегда отстает! — прошамкал сзади старик. — Не на ту поставили!

— Еще посмотрим! — весело ответил «Привет от Вернера».

А я страшно волновался. Во-первых — вы знаете почему: из-за этой неожиданной встречи. Во-вторых, из-за новости для МОПРа. Что товарища выпустили из тюрьмы! Я не знал этого товарища, но все равно! Раз «товарищ» — значит, наш, и хорошо, что его выпустили! Это ему МОПР помог. Конечно, МОПР, а то кто же еще? Я ведь тоже член МОПРа, значит, я тоже помог! От радости и гордости мне даже стало жарко! А тут еще эта моя лошадь! Это в-третьих. Я страшно хотел выиграть, и у меня была такая красивая лошадь, и жокей — в белом с красными шашками камзоле, — а тут вперед вырвалась какая-то Смолл-мисс!

Все эти мысли бурей пронеслись в моей голове...

Лошади скакали теперь по другую сторону поля и были плохо видны — стали совсем малюсенькими. Они опять сбились в кучу, и трудно было разобрать, где мой Тирошь... А впереди была все та же Смолл-мисс...

— Смолл-мисс сделала проскачку! — крикнули сбоку.

Там стоял кто-то с биноклем.

— Не может быть! — прошамкал старик и даже привстал на цыпочки, держась трясущимися руками за барьер.



«Наверное, он поставил на эту Смолл-мисс,— подумал я.— Как и фрау Аугуста».

Я оглянулся на фрау Аугусту. Она сидела плотно сжав губы, блестя очками куда-то в небо. Мне ее опять стало жаль.

— Проскачка! — опять крикнул кто-то.

— А что это — проскачка? — спросил я.

— Сбилась в галоп,— сказал «Привет от Вернера».— Все лошади должны идти рысью, видишь — только рысью...

— А если проскачка?

— Выбывает из игры!

— Ваша Смолл-мисс выбыла из игры! — сказал я старичку.

— Сам ты выбыл из игры! — разозлился старик.

Он все еще стоял на цыпочках, судорожно цепляясь за барьер, теперь у него был открыт рот и губы тоже тряслись. Он щурился сквозь пенсне. Наверное, плохо видел.

— Тироль идет! — закричали в толпе.

— Тироль! Тироль! — откликнулись громко и шепотом. В сотнях голосов звучали удивление и растерянность.

Я это отметил с удовольствием. В ушах у меня звенело и сердце колотилось бешено — от всех этих переживаний.

Уцепившись одной рукой за воротник своего друга, я весь вытянулся вперед, влево — лошади скакали там поперек поля, приближаясь к нам. Еще один поворот — и они поскачут вдоль трибун... Впереди мчалась теперь белая лошадь с наездником в зеленом камзоле, Смолл-мисс драпала где-то далеко позади, а все остальные шли в середине кучей... но из этой кучи вырывался на голову мой Тироль!

— Тироль! — закричал я.— Тироль, дорогой!

Рядом уже никто не смеялся.

Я не отрывал взгляда от лошадей. Тироль медленно, чуть заметно и вместе с тем быстро отрывался от других. Вот он уже на полкорпуса впереди других! А вот он уже оторвался совсем и медленно настигает белую лошадь! Тироль как будто не бежит, а летит по воздуху над землей. Шея вытянута, голова вперед, грива и хвост по ветру! Мой жокей в белом с красными шашка-

ми камзоле прильнул к шее Тироля, втянув голову в плечи и отставив локти, которыми он поводит, как крыльями...

— Нокдаун! Вперед, Нокдаун! — взревели в толпе.

Нокдаун — белая лошадь — тоже здорово скачет! Она еще впереди, но Тироль настигает ее... они приближаются к нам... вот они уже рядом... из-под копыт летят камешки... лошади идут голова к голове...

— Тиро-о-оль! — ору я, подпрыгивая на барьере.

Голова Тироля с оскаленными зубами выплывает вперед... как в кино «Великий немой»... и вдруг сильные руки ставят меня на пол. «Привет от Вернера» сам вскакивает на барьер, взмахнув, как птица, руками, и проваливается туда — через барьер — в яму. Над моим ухом оглушительно верещит свисток... Что такое?

— Что такое? — Was ist das? Was? Was? Was?

— Verdammt! («Проклятье!»)

— Где он? — Wo ist er?

Все расступаются, черное пальто отталкивает меня и свешивается через барьер, рядом еще двое в таких же черных пальто и шляпах-котелках... Люди вокруг стоят кольцом... они молча сторонятся...

— Er ist weg! Verdammt noch ein mal! («Его нет!»)

Трое кидаются в толпу, к выходу. Я ошеломлен. Что это такое? Мама незаметно берет меня за руку.

— Пошли! — тихо говорит мама.

Мы пробираемся к выходу.

— А где... — начинаю я.

— Молчи, — говорит мама и тащит меня.

Я иду сам не свой. Мы выходим в кассовый зал. В зале тихо. Люди стоят группами, переговариваясь. Но тех, в котелках, не видно. И нашего друга не видно...

— А фрау Аугуста? — спрашиваю я.

— Ich komme! («Я иду!») — откликается она из-за колонны.

Она взволнованно спешит за нами. Мы с мамой идем к выходу. Быстро идем, я еле поспеваю. На улице пустынно. Мама

машет рукой, и к нам подъезжает такси — большая черная машина.

— Wohin fahren sie denn? — запыхавшись, спрашивает фрау Аугуста. («Куда вы едете?»)

— Я так устала! — вздыхает мама. — Мы поедем в кафе...

— Я вас понимаю! — говорит фрау Аугуста. — Этот ужасный тип с бородой держал Юру в руках! Жулик какой-то! Мало ли что могло случиться!

— Да, — говорит мама, крепко сжимая мне руку. — Это все очень неприятно.

Я смотрю в землю, чтобы не рассмеяться. Если б фрау Аугуста знала, что «этот ужасный тип» — наш друг...

— Und das Geld? — удивленно спрашивает фрау Аугуста. — А деньги? Вы забыли про выигрыш!

— Я не забыла, но бог с ним! — улыбается мама. — Мне все это очень неприятно...

— Какие деньги? — спрашиваю я.

— Du hast doch gewonnen! («Ты же выиграл!») — говорит фрау Аугуста. — Надо пойти получить!

— Нет, — улыбается мама, опять сжимая мне руку. — Это, фрау Аугуста, совсем не для нас...

— Ach, das ist ja toll! Machen sie keine Dummheiten! («Это же дико! Не делайте глупостей!») — Фрау Аугуста говорит, высоко поднимая брови, так, что ее очки почти падают с носа.

— Нет, — спокойно улыбается мама. — Мы едем. Я не хочу здесь больше оставаться. Мне очень жаль, но это не в наших правилах, фрау Аугуста.

— Да, я вас прекрасно понимаю... но... славянская душа всегда была для меня загадкой! — Фрау Аугуста растерянно улыбается.

— А много я выиграл? — спрашиваю я, не сдержавшись.

— Много, — говорит фрау Аугуста. — Я никогда в жизни не выигрывала столько денег! Ты удивительный мальчик!

— Мы едем, — нетерпеливо говорит мама и открывает дверцу машины. — Может, вы с нами?

— О нет! Я еще попытаю счастья... Но это просто уму не постижимо...

— До свиданья! — прерывает ее мама.

Мы садимся в машину, мама называет какую-то улицу, и мы едем.

В голове у меня полная неразбериха — свистки, крики, мелькание лошадей, прыжок через барьер... и удивленное лицо фрау Аугусты со свалившимися на кончик носа очками... А выигрыш?

— А выигрыш? — спрашиваю я.

— Помолчи, — говорит мама.

Я понимаю, что сейчас говорить неудобно. Из-за шофера. А нашего друга жаль! Зачем он прыгнул?.. Его хотели арестовать, вот что! Но он убежал! Убежал! Ловко же он убежал! Мне становится весело. Я вспоминаю его слова про товарища, которого выпустили из тюрьмы. Сейчас, конечно, сказать об этом нельзя. Из-за шофера. А все-таки жаль выигрыш! Интересно, сколько это я выиграл? А может, я и не выиграл? Может, потом вперед вырвалась белая лошадь?

Мы доезжаем до какого-то угла и выходим.

И сейчас же входим в маленькое пустое кафе. Черные стены с красными маками, красные занавески, красные мраморные столики. Мы садимся в углу. Сразу подбегает улыбающаяся официантка.

— Кофе, пирожное и взбитые сливки, — говорит мама.

Официантка убегает.

— Это удивительно, как они его выследили! — тихо говорит про себя мама.

— Он мне сказал... — начинаю я.

— Помолчи, — говорит мама.

Официантка ставит на стол заказ и опять убегает.

— Надо успокоиться, — говорит мама и наливает себе из кофейника кофе.

Она сразу выпила чуть ли не полчашки кофе! Без сахара. Она всегда пьет кофе без сахара. И странно — другие пьют

кофе, когда они слишком спокойны, чтобы возбудиться, а мама наоборот: пьет кофе, чтобы успокоиться.

— Он мне сказал... — начинаю я опять.

— Ты не можешь помолчать? — смотрит мама устало.

— Выпустили! — выпаливаю я.

— Что выпустили?

— Товарища выпустили! — говорю я. — Из тюрьмы! Он велел тебе передать. Он сказал, это важно для МОПРа...

Мама чуть не опрокинула свой кофе! Она радостно улыбается.

— Ну, это другое дело. Значит, все в порядке. Что же ты сразу не сказал?

Мама сразу становится веселой. И спокойной. От кофе, наверное. И от этой новости. Мама просто сияет.

— Молодец ты! — говорит мама и целует меня в лоб.

Я гордо ем пирожное и запиваю его кофе. Сладким кофе со взбитыми сливками. Это очень вкусно.

— А этот «Привет от Вернера» убежал? — спрашиваю я.

— Наверное, убежал, — говорит мама. — Это мы узнаем.

И мама смеется. И я тоже смеюсь. И пью кофе. Чудесная жизнь!

— Меня еще интересуют три вещи, — говорю я.

— Какие?

— Первое — про МОПР! Это значит, что я помог товарищу убежать из тюрьмы?

— Почему — ты? — удивляется мама.

— Но ведь я же член МОПРа? У меня есть красная книжечка! И у Вовки есть. Значит, Вовка тоже помог? Так?

— Выходит, так! — улыбается мама.

Я сразу становлюсь страшно счастливый.

— А второе что? — спрашивает мама.

— Второе — борода! Он что — наклеил бороду?

— Конечно, — говорит мама. — Не могла же она вдруг вырасти!

— А третье — это мой выигрыш: выиграл я или нет?

— Да забудь ты об этом выигрыше,— говорит мама.

— Может, первым пришел Нокдаун — белая лошадь?

— Нет, Тироль пришел первым,— говорит мама.— Когда они перешли черту финиша, Тироль был впереди на целую шею! Это я видела.

— А сколько я выиграл?

— Ты хочешь получить свой выигрыш?

— Хочу!

— Это невозможно,— качает головой мама.

— Почему?

— Мы не можем туда возвращаться...

— А сколько я выиграл?

— Наверное, много. На Тироля никто не ставил, значит, сумма приличная. Марок семьсот, а то и больше!

— Семьсот! — выпаливаю я.

Я даже не могу себе представить, как это много... сколько можно купить игрушек на эти деньги! Подумать только!

— Жаль, что их нельзя получить,— говорю я.

— Должен сам понимать,— говорит мама.— Ведь ты не какая-нибудь фрау Аугуста! Ты член МОПРа!

— Я член МОПРа! — повторяю я с гордостью.

— Вот именно! Надо думать о деле. Дело превыше всего.

— Какое дело?

— Мопровское!

«Вот тебе и на! — думаю я.— Столько выиграл, а получить не могу! Я бы мог сейчас вернуть отцу деньги за железную дорогу: пятьсот марок! И еще осталось бы! Но — мопровское дело. Мопровское дело превыше всего!»

— Ты не грусти,— говорит мама.— Дело не в деньгах! Все-таки ты выиграл — это раз! Это чего-нибудь стоит! Фрау Аугусту ты этим покори! И потом... — мама открывает сумочку,— вот тебе двадцать пять марок. Сейчас поедem в универмаг, и ты купишь себе что-нибудь. Что хочешь! Вот это и будет твой выигрыш...

— Это как-то не то,— говорю я.

— Очень даже то! Это тебе премия! За успехи.

— За какие успехи?

— За талант игрока! — смеется мама. — И за талант моповца!

— Спасибо! — говорю я, а у самого из головы не выходят те семьсот марок. Просто даже противно!

Мы расплачиваемся и выходим из кафе. И опять садимся в такси.

— К Тицу, пожалуйста! — говорит мама шоферу.

## Я НЕ БОЮСЬ ДЕДА-МОРОЗА

**Т**иц — это самый большой универсальный магазин Берлина. Во всяком случае, так было во времена моего детства. Там можно было купить все!

Когда мы входим, мама говорит:

— Я хочу посмотреть кое-какие вещи... Что мы, сначала посмотрим вещи, а потом купим игрушку? Или наоборот?

— Сначала игрушку! — говорю я.

Я вообще очень не любил ходить с мамой по магазинам! Среди игрушек-то я любил, а *вообще* не любил! Мама всегда долго ходила по разным отделам, все расспрашивала, рассматривала, раздумывала, а потом в результате ничего не покупала! А я любил сразу прийти и купить! И ехать домой.

— Можно было бы сначала посмотреть вещи, — робко говорит мама. — А потом спокойно купить игрушку и ехать домой...

— Нет! — говорю я. — Мне все мученья уже надоели! И там какие-то мученья, и тут какие-то мученья! Я хочу сразу купить. И все!

— Ну ладно! — говорит мама. — Ты сегодня победитель!

Мы разговаривали, поднимаясь по широкой лестнице. Рядом — вверх и вниз — шли люди. Их было много и еще больше

оттого, что они отражались в зеркалах. И мы отражались в зеркалах, я и мама,— мы там умножались! Потому что в зеркалах отражались еще другие зеркала, и во всех этих зеркалах шагали мы с мамой. Это было очень интересно. Смотреть, сколько нас там шло — меня и мамы! Мы там все одинаково поднимали ноги, и одинаково размахивали руками, и одинаково кривлялись — это я кривлялся! — и одинаково расстегивали воротник — это мама! Все мы там с мамой делали, помноженное на много раз! Я подумал: а что, если бы нас действительно было столько — меня и мамы! Вот было бы здорово! Стоит, например, дом, где живет меня сто человек. И моей мамы в нем сто человек! И мы вдруг выходим гулять из всех квартир. Одновременно! Представляете? Тут любые шпики с ног собьются, любая тайная полиция! Только кинется за нами шпик — глядь, а там еще иду я с мамой! Он — туда, а там еще я с мамой иду! И так без конца! Вот как здесь, в зеркалах...

— Что это ты так кривляешься? — спрашивает мама.

— Смотрю в зеркало! — говорю я.

— Нехорошо так кривляться,— говорит мама.— Иди прилично!

Тут мы сворачиваем с лестницы и попадаем в зал игрушек... Ого, сколько здесь игрушек! В середине стоит огромная елка, до потолка, она загораживает ползала! И на ней игрушки! Целые большие автомобили висят на ней! И огромные куклы — ростом с ребенка! И шары величиной с голову! И вокруг на прилавках игрушки, игрушки, игрушки...

— Ну, куда пойдем? — спрашивает мама.

— Вон! Автомобили! — киваю я на ближний прилавок.

Мы подходим к автомобилям. Автомобили там стоят замечательные! Как настоящие! Просто удивительные автомобили!

— Hier gibt's keine Puppen, Mädchen! — говорит веселая продавщица в фуражке с желтым кантом.— Здесь нет кукол, девочка!

Я мрачнею.

— Это мальчик! — говорит мама.



— Ах, какой мальчик! — удивляется продавщица. — Так похож на девочку! С такими локонами!

— Ну, какую ты хочешь машину? — спрашивает мама.

— Не надо мне машину! — передумываю я. — Они плохие! Посмотрим конструкторы! Я давно мечтал о конструкторе!

В конструкторах я копаюсь долго.

— Ну, какой? — спрашивает мама.

— А можно купить конструктор и еще подводную лодку? Для ванной? — спрашиваю я.

— Может не хватить денег, — говорит мама.

— Тогда лучше подводную лодку! Я давно мечтал о такой лодке!

И мы идем искать подводную лодку. Вокруг ходят взрослые и дети, смеются, ахают, разглядывают игрушки. И несут игрушки. У меня начинает рябить в глазах. Вон один дядька несет трехколесный велосипед...

— Я хочу велосипед! — говорю я.

— Ну, знаешь! — сердится мама. — Сам не знаешь, чего хочешь!

— Нет, знаю!

— Ты же говорил — подводную лодку!

— Велосипед! Я о нем давно мечтаю!

— Надо сосредоточиться! — говорит мама. — Мало ли о чем ты мечтаешь. Все мы купить не можем!

А я думаю о тех семистах марках! Сколько можно было бы на них купить! Я тяжело вздыхаю...

— Ты просто устал, — говорит мама. — Давай купим велосипед и пойдем! Мне же еще нужно посмотреть одежду...

Мы подходим к веревочному загону, где столпились у стены велосипеды. Сколько здесь велосипедов! Красных, синих, черных трехколесных! И настоящих двухколесных!

— Хочу двухколесный! — говорю я и бегу к двухколесным.

Двухколесные стоят важные, высокие, сверкая спицами огромных колес, кожаными сиденьями, хищным изгибом никелированных рулей! Как какие-то звери, приготовившиеся к

прыжку! Оседлать бы такого зверя! Я пытаюсь вскарабкаться...

— Юра! — догоняет меня мама. — Прекрати сейчас же! Они для тебя велики!

— Ничего не велики! — говорю я глухим голосом.

Я карабкаюсь на сиденье. Сердце у меня стучит так, что заглушает все посторонние голоса! Даже маму я слышу откуда-то издалека.

— Ты не достанешь до педалей! — доносится ее голос.

— Вы хотите купить велосипед, мадам? — Это продавщица. Она стоит рядом, поддерживая меня за плечо.

— Замечательные велосипеды, мадам!

— Но он же ему велик!

— Ему он, конечно, велик!

— Не велик, — говорю я замогильным голосом, пытаюсь дотянуться до педали... но чуть не падаю!

Продавщица ссаживает меня на пол. «Эх, не везет мне!» — думаю я.

— Пойдемте, я покажу вам то, что надо! — говорит продавщица.

Мы идем за ней в дальний угол. Там стоят трехколесные. У них тоже руль, но вовсе не хищный. У них зато три колеса! Но два считаются лучше! На двух интересней ездить! Уж я-то знаю! Тут меня не проведешь!

— Садись! — улыбается продавщица и выкатывает мне велосипед.

Я сажусь, нажимаю на педали и качу! Ловко! Не так-то уж плохо! Я делаю круг по паркету и лихо подкатываю к маме.

— Ну как? — спрашивает она.

— Ничего! — говорю я небрежно. — Надо бы двухколесный...

— Ну ладно! — машет она рукой. — Когда-нибудь будет и двух... Ну, берем?

— Берем! — говорю я.

Потому что мне уже жалко расстаться с этим велосипедом. Как-то я уже к нему привык.

— Большое вам спасибо! — кланяется продавщица. — Пожалуйста, приходите!

Мама кивает ей и идет в кассу. А я еду за ней на велосипеде.

— Теперь вот что, — говорит мама, уплатив деньги. — Сейчас я пойду посмотрю кое-что, а ты можешь остаться и поиграть...

— Где поиграть?

— Здесь есть детская площадка и нянечка, и ты можешь там поиграть. Хочешь?

— Не очень-то, — говорю я. — Какая-то нянечка...

— Мне будет с тобой трудно ходить по отделам, — говорит мама. — Трудно с велосипедом...

— Ну ладно! — говорю я. — Поедем на площадку!

Мы едем в дальний конец зала, то есть я еду, мама идет, — в дальний конец, где возле стены отгорожено желтой решеткой место для игр. Там прыгают дети. И стоит нянечка — девушка в белом переднике и в фуражке с желтым кантом. Из-под фуражки ниспадают длинные волосы. Красивая девушка! Я думал, нянечка старая, а это не старая...

Мама открывает калитку, и я ловко въезжаю в загон на своем велосипеде. Нянечка бежит к нам.

— Bitte! — улыбается она приветливо. — Guten Tag! Wie heißt du? — Она приятно растягивает слова.

— Его зовут Юра! — говорит мама.

— О, Jura! Такое редкое имя! — удивляется нянечка.

— Я отлучусь ненадолго, — говорит мама.

— Пожалуйста, пожалуйста! — кивает нянечка. — Как вам угодно!

— Ну, играй! — машет мне мама и уходит.

«А тут ничего, на площадке! — думаю я. — Много игрушек!»

Две девочки и мальчик возятся в углу с кубиками. Совсем карапузы! Я подъезжаю к ним на велосипеде. Я смотрю на них свысока. А они на меня робко — снизу. Игрушек у них много, а велосипеда нет!

— Хотите покататься? — спрашиваю я.

Малыши молчат. Нянечка садится рядом с ними на корточки.

— А ты не хочешь поиграть с нами, Юра? — спрашивает она. — Мы строим дом!

— Я не маленький, чтобы играть в кубики! — говорю я.

— Тогда можешь взять какую-нибудь другую игрушку! — говорит она. — Возьми вон танк!

— Не хочу! — говорю я. — У меня велосипед! Лучше я покатаюсь! — И делаю круг по загону.

— Можешь взять этот танк домой! — говорит нянечка.

— Как — домой?

— В подарок от фирмы!

Я останавливаюсь.

— Знаем мы эти подарки! — говорю я. — Сначала подарите, а потом пришлете счет на сумму!

Нянечка смеется, подняв брови:

— Вот ты какой! Напрасно ты так говоришь!

— Нет, не напрасно! Я знаю!

— Фирма дарит просто так! Это реклама!

— Знаем мы эту рекламу! — презрительно говорю я. — Буржуазный обман!

— Ну и ну! — удивляется нянечка.

Она смотрит на меня с любопытством. А мне надоели все эти их штучки! «Хватит! — думаю я. — Меня больше не проведешь!»

— Вот я выиграл себе велосипед и катаюсь! — говорю я.

— Как ты его выиграл?

— На бегах! — говорю я важно. — Моя лошадь пришла первой! Я семьсот марок выиграл!

— Семьсот марок! — ошеломленно повторяет нянечка. — И ты играешь на скачках? С таких лет? Мутти тебе разрешает?

— Мне мутти все разрешает! — говорю я.

— Ну и ну! — удивляется нянечка. — А ты не обманываешь?

Малыши смотрят на меня широко открытыми глазами. Я останавливаюсь прямо возле них, картинно развернувшись.

— Я никогда не обманываю! — говорю я.

— Schau! — говорит нянечка. — Der Weihnachtsmann bestraft dich! («Смотри, Дед-Мороз тебя накажет!») — Она кивает на сердитого Деда-Мороза в углу зала.

Я смотрю в левый угол — там, над прилавком, под самым потолком, стоит большой Дед-Мороз — «Weihnachtsmann» по-немецки — с белой бородой и усами, в красной шубе и шапке... Как это я его раньше не заметил! Он механический! И размахивает руками! Сначала одной, потом другой! В одной руке у него корзина с игрушками, в другой какие-то прутья...

— А что это у него за прутья? — спрашиваю я.

— Как — что за прутья? Это розги! Разве ты никогда не видел розог?

— Видел! — говорю я небрежно. — На картинке! Но я их не боюсь! Я не боюсь никакого Деда-Мороза!

— Напрасно! Вот будешь говорить такие слова, он тебя выпорот!

— Еще чего! — смеюсь я. — Детей пороть нельзя!

— Стыдись! — сердится нянечка. — Gott bestraft dich! («Тебя бог накажет!»)

— Какой бог?

— Dort, unterm Christbaum! («Вон там, под Христовым деревом!») — говорит нянечка.

Я вижу под елкой восковую деву Марию с маленьким Христом на руках. У них сияние вокруг голов! А рядом с ними ангелочки! Как на иконах в деревни у Вани... Знаем мы эти штучки!

— Я знаю! — говорю я. — Это Христос, но его не было! А если и был, то он не бог.

Нянечка чуть не падает в обморок — я вижу. Она всплескивает руками.

— Кто тебе это сказал? — шепчет она.

— Фати мне сказал! И мутти! Да я и сам знаю!

— А... а кто твой фати?

— Мой фати коммунист! — говорю я. — И мутти! У нас все коммунисты! Все наши друзья! И я тоже!

Ну тут она испугалась, скажу я вам! Даже побледнела! Здорово они все-таки нас боятся! То-то!

Я опять делаю круг на своем велосипеде. «Надоели они мне все! — думаю я. — Надо бы здесь скорее делать революцию! А то вон как они запугали этих бедных карапузов: дрожат, как мокрые курицы! Розог испугались!»

Нянечка наклонилась к малышам, что-то шепчет им тихо, и они, бедненькие, смотрят на меня со страхом! Безобразие!

А Дед-Мороз в углу все машет руками — то одной, с игрушками, то другой, с розгами... Просто смех!

Нянечка смотрит на меня с ужасом, я катаюсь и думаю: «Хоть бы скорей мама пришла! Надоели вы мне все!»

## МОЯ ПЕРВАЯ ЕЛКА

**Е**лку мы купили через несколько дней — замечательную большую елку! И привезли ее тоже замечательно: я ее привез на своем велосипеде! Ведь у меня был теперь собственный транспорт! На елочном базаре нашу елку обмотали веревками и бумагой; я привязал ее сзади к велосипеду и потащил по асфальту! Благо было недалеко. Мама шла рядом и была немного смущена. Потому что все прохожие оборачивались и удивлялись этому замечательному способу транспортировки елок. Это я настоял на этом способе. По дороге мы встречали детей, которым родители тащили елки под мышками. Или на плече. А я вез ее сам!

Дома мы ее сразу распаковали и установили в углу моей комнаты. Она расправила свои широкие пушистые лапы и обняла весь угол! В квартире сразу запахло смолой, хвоей. Москвой! Подмосковной дачей запахло, вот чем! Эта елка была нам очень дорога, особенно мне, потому что это была моя

первая елка, к тому же вдали от Родины. Теперь надо было ее наряжать! Но тут было одно «но»...

Дело в том, что елочных игрушек в магазинах продавалось множество — стеклянные шары, и бусы, и разные фигурки животных, и еще игрушки с религиозным уклоном. Например, фигурки богоматери с младенцем Иисусом на руках. Или белые восковые ангелочки с крыльями. Продавались еще картинки с изображением яслей, в которых родился Христос, и так далее. Все это в Германии вешали на елку или ставили под елкой на пол. Все это было не для нас. Но нам тоже хотелось повесить на елку что-нибудь очень важное, не просто какую-нибудь морковку или яблоко из марципана — это мы купили, — что-нибудь особенное, что напоминало бы нам о Москве, о Советском Союзе. Допустим, изображение Кремля со Спасской башней! Или серп и молот. Или красную звезду. То есть нам хотелось подвести под нашу елку марксистский базис, как говорил Вернер. И тогда мы с мамой решили сделать это сами.

Мы взяли бумагу, краски, ножницы и клей и работали целый день не покладая рук. Я в основном рисовал, а мама клеила и помогала мне развешивать. На ветках мы повесили золотые серпы и молоты и длинную гирлянду красных флажков, тоже с серпами и молотами в уголках, а внизу, под елкой, рядом с Дедом-Морозом, я поставил изображение Кремля со Спасской башней. Кремль я нарисовал на бумаге, потом наклеил его на картон, а мама его вырезала, и он стоял у стены как живой! А на самой макушке елки мы укрепили большую красную пятиконечную звезду! В общем, елка получилась на славу, настоящая советская елка! Еще мы повесили на нее разные стеклянные шары и бусы, и позолоченные орехи, и конфеты, и фрукты и овощи из марципана и укрепили на ней сверху донизу маленькие разноцветные свечи. Вечером, когда стемнело, мы их зажгли, потушив люстру, — и наша елка засияла, как в сказке! Она мерцала и переливалась всеми цветами радуги! Ведь огонечки на ней были живыми, это был живой огонь, который тихонечко потрескивал и колебался, отражаясь в

стеклянных игрушках, и в стеклянной посуде на столе, и в зеркале шкафа, и в темном зимнем окне... Вся комната наполнилась этим таинственным праздничным живым светом, тихим потрескиванием свечей, словно они о чем-то шептали, и запахом подмосковных лесов! Я закричал «ура» и бросился танцевать возле елки!.. В тот день я долго не ложился спать. Потому что я был очень возбужден елкой. А потом предстояла рождественская ночь, и были гости. Первая пришла фрау Аугуста. С первого взгляда ей наша елка очень понравилась; старушка даже ахнула и всплеснула руками. Она очень смешно ахнула, вскинув седую голову; когда она вошла, в ее очках не было глаз: там горели две малюсенькие елки. Потом фрау Аугуста подошла поближе и опять ахнула, но уже не восторженно, а как-то тихо и растерянно. Ее смутили наши игрушки — красная звезда, и серпы и молоты, и Кремль под елкой.

— А где же ангелочки? — вырвалось у нее.

— Мы же не верим в бога, фрау Аугуста! — крикнул я. — Мы же большевики!

Родители засмеялись.

— На, ја,— прошептала фрау Аугуста. (То есть: «Ну да!») — Это ваша звезда? — спросила она.

— Это наша красная звезда! — сказал я. — Пятиконечная! Пять концов этой звезды говорят о том, что коммунизм скоро победит во всем мире, во всех пяти частях света!

— На, ја,— сказала фрау Аугуста.

— А вот это серпы и молоты! — объяснял я. — Я их сам раскрасил! Это наши символы мирного труда!

— На, ја,— повторила она.

— А вот это наш московский Кремль! В нем работает правительство! Там возле стены в Мавзолее спит Ленин. А перед Мавзолеем бывает парад!

— Вот что! — склонилась над Кремлем фрау Аугуста. — Кремль — ваш самый главный дворец?

— Самый главный! — подтвердил я. — Я в нем часто бываю, с отцом!



— Ты в нем был?

— Ну да! В гостях! — сказал я, и фрау Аугуста посмотрела на меня с уважением.

— Ты удивительный мальчик! — пробормотала она и села в кресло.

Она все никак не могла оправиться от моего выигрыша. Она все время о нем говорила.

А потом пришел Вернер. Он, конечно, совсем по-другому отнесся к нашей елке, хотя тоже был немцем и с детства воспитывался на этих немецких елках. Но ведь немцы все разные! Так же как и русские разные, и англичане — во всех на свете национальностях отдельные люди очень разные. Я надеюсь, что это вы уже поняли.

Когда к нам пришел Вернер, он сразу сказал:

— Вот это елка! Это я понимаю! Это первая настоящая елка в моей жизни!

Я очень обрадовался и сказал:

— И в моей!

Вернер тоже сел возле елки, но он совсем не так сел, как фрау Аугуста. Он сел просто, чтоб уютно посидеть, отдохнуть. А фрау Аугуста «села» в высшем смысле. Вы, наверно, знаете, что это значит. Ведь когда говорят «он так и сел», это вовсе не значит, что человек действительно сел. Он может в это время стоять, и все равно он *сел*! Это и значит, что он «сел в высшем смысле». Это значит, что человек растерялся, оторопел, смешался, опешил, стал в тупик, потерял почву под ногами. Вот так именно растерялась фрау Аугуста, а Вернер вовсе не растерялся — он обрадовался.

— Надо бы сделать такую елку детям рабочих, — сказал он.

— Твой идеал? — спросил отец.

— Мой идеал! — улыбнулся Вернер.

— Идеалист ты! — сказал отец.

— Да, — улыбнулся Вернер, — что касается чувств, то я оставляю в душе место для идеализма...

Я ничего не понимал в их разговоре, я только понял, что

Вернеру моя елка понравилась. Теперь, по вечерам, когда он, усталый, приходил к нам отвести душу, мы играли с ним в железную дорогу возле елки. Освещенная мерцающими елочными огнями, железная дорога казалась теперь настоящим огромным сооружением, только расположенным где-то далеко внизу, на Земле, которая нам, волшебным великанам, видится откуда-то из-за облаков, из темной Вселенной! Там внизу, на Земле, тускло мерцали рельсы и грохотали поезда, и светились маленькие окна домов, и горбатились горы, и чернели туннели, а в городах и на станциях сустились малюсенькие человечки... Мы с Вернером стояли надо всем этим, как неземные великаны, управляя всем этим миром. И во всем виновата была моя елка!

Она стояла у нас долго — все эти праздничные вечера. Мне сейчас даже кажется, что в те новогодние три недели и дней-то не было! Были одни только вечера, освещенные разукрашенной елкой! Где-то в середине этих вечеров таилась веселая новогодняя ночь — *Silwesternacht*. В эту ночь все сначала сидят дома у своих елок и встречают Новый год, а потом высыпают на улицы, на балконы, на крыши домов и веселятся там до утра. Мы тоже сначала посидели вчетвером возле нашей елки: я, мама, отец и Вернер. А потом мы пошли на балкон к фрау Аугусте, она нас пригласила. В наши окна мы бы ничего не увидели, потому что с одной стороны был этот идиотский альпийский пейзаж на стене, а с другой стороны — темный, заколоченный сад. Зато у фрау Аугусты все было видно прекрасно, потому что ее окна выходили на фасад, и там у нее был балкон. С балкона хорошо просматривалась вся улица — вправо и влево — и дома напротив, тоже с балконами, на которых в эту ночь стояло много людей. В дверях балконов и в окнах домов светились елки и вспыхивали бенгальские огни. И на балконах вспыхивали бенгальские огни, и на улице, и на крышах домов. Улица внизу была забита народом! Там, обнявшись, толкались ряженные в масках и в шутовских колпаках. Все кричали, пели, смеялись. И на балконах тоже пели и смеялись. И стреляли в воздух ракетницами, из которых

сыпались конфетти. И бросали разноцветные ленты серпантина. Мы тоже стреляли ракетницами, и бросали серпантины, и жгли бенгальский огонь. Все балконы и карнизы домов были увешаны лентами серпантина; он провисал над улицей, от балкона к балкону, болтался на электрических проводах и на столбах и покрывал разноцветной сетью толпу. А когда вдруг внизу, в гуще народа, показалась одинокая легковая машина, со всех балконов стали кидать в эту машину серпантин! Машина продвигалась вперед еле-еле, потому что вокруг нее прыгали и танцевали и потому что она была вся опутана серпантинном... Такую веселую ночь я тоже видел впервые в жизни!

Ну и было работы дворникам на другой день, скажу я вам! Улица выглядела так, как будто по ней пронесся бумажный смерч! Но после этого новогоднего ночного смерча все стихло, как по команде: праздники кончились. Улица опять стала деловой и скучной, только у нас дома еще оставалось праздничное настроение и по вечерам продолжала сиять елка, потому что — я же вам говорил! — приближался старый русский Новый год и мой день рождения — 14 января. Мне должно было исполниться целых семь лет! Осенью я должен был идти в школу, но не в Берлине, а в Москве, потому что мы вскорости должны были вернуться в Москву. И я очень хотел в Москву! Иногда мне очень хотелось увидеть наш дом на Кузнецком, и Памятник Воровскому, и Кремль! Мне хотелось видеть Гизи, и Вовку, и даже Ляпкина Маленького. И проведать Дика на даче у Вани. «Как он там поживает, наш Дик? — думал я иногда. — Сидит ли на цепи возле своей будки или бегаёт по полям да лесам?» Обо всем этом я часто думал, потому что скучал по дому. Там ведь я чувствовал себя свободнее. И проще. И друзей у меня там было больше. Здесь у меня не было друзей, кроме Вернера. Я все время сидел дома и ни с какими ребятами не играл. Разве что иногда в Груневальде. Вернера я все время звал с собой в Москву. Я говорил ему, что обещал Гизи привезти его с собой. И Вернер, конечно, очень хотел приехать. Но он говорил, что это не так просто. Он говорил, что у него

здесь партийная работа, что он не может — просто потому, что ему хочется повидать Гизи, и Москву, и Кремль,— взять и поехать! Сейчас его место здесь, где он работает для нашего общего дела. И еще он говорил, что он принадлежит не себе, а партии, немецким рабочим, а партия его сейчас никуда отпустить не может. Когда-нибудь он непременно придет! Неизвестно только когда!

А пока время шло, елка по вечерам горела и ждала вместе со мной моего дня рождения. И вот он наконец наступил, и мне опять подарили много подарков, и опять у нас были гости, и конечно, Вернер, и все было прекрасно! Должен вам сказать откровенно, что эти праздники мне под конец немного надоели. Ведь нельзя же без конца праздновать. Как и все на свете, празднование тоже надоедает. Поэтому я не буду вам описывать свой день рождения, можете мне и так поверить, что все было прекрасно... Да и не это главное! Главное здесь совсем в другом, не в праздниках, а в другом, о чем мне и хочется с вами скорее поговорить. Когда о чем-нибудь рассказываешь, всегда хочется скорее сказать о главном, хочется поскорее переступить через разные подробности и сказать об этом главном, которое, как правило, всегда бывает где-то в конце... да, мой рассказ, к сожалению, подходит к концу! К сожалению — потому, что мне грустно расставаться со своим первым детством — уже в который раз! Ведь я много раз расставался со своим детством — и наяву, и во сне, и в воспоминаниях — и вот теперь расстаюсь с ним снова — уже в который раз! — заканчивая эту книгу. Заканчивая и опуская разные мелочи, я с болью перехожу к главному... Но до этого самого главного я все-таки должен еще кое о чем рассказать.

После моего дня рождения Вернер вдруг куда-то исчез. У него было очень много работы, говорила мама. Где-то там началась крупная стачка, и Вернер руководил этой стачкой. На одном заводе уволили рабочих, а товарищи вступились за них и тоже бросили работу. Тогда хозяева завода вызвали штрейкбрехеров, чтобы не останавливать завод, чтобы эти

предатели работали, но рабочие выставили у ворот завода пикеты и штрейкбрехеров прогнали! Их пытались провезти в полицейских машинах, под охраной, но все равно ничего не вышло — рабочие их так и не пропустили. Очень много рабочих забастовало, вот в чем дело. Они были сильны! Они требовали возвращения своих товарищей на завод и повышения зарплаты. Переговоры с хозяевами завода затянулись, потому что хозяева не хотели уступать и рабочие не хотели уступать — «нашла коса на камень», как говорится. Там шла целая война, уже не дипломатическая война, а настоящая открытая война между рабочими с одной стороны, хозяевами и полицией — с другой.

Многие рабочие голодали, и, главное, голодали их дети, потому что отцы и матери долго не получали зарплаты. Семьям бастующих помогали рабочие других заводов, и МОПР им помогал. Эта помощь была очень важна, потому что благодаря ей рабочие могли держаться, и они должны были держаться как можно дольше, чтобы победить хозяев, чтобы выиграть! Все это объяснили мне родители; они очень волновались, сочувствуя рабочим и, конечно, Вернеру, который этой борьбой руководил.

Потому-то мы Вернера теперь и не видели — где-то он там выступал на митингах, стоял в пикетах, дрался с полицией, а по ночам урывками спал на столах в стачечном комитете.

♦ Жизнь у него была нелегкая, можете себе представить! Не говоря уже о том, что каждую минуту его могли арестовать.

Стачка все продолжалась, шли дни, наступила весна. Отец приходил поздно. А мы с мамой пропадали по целым дням одни в Груневальде. Я говорю «одни», потому что никого своих с нами не было. Я там, конечно, видел разных мальчишек и девчонок и даже иногда с ними играл, но все это было не то. И зоофильских старушек я там видел, и карликового пинчера, но это тоже было не то. Снег в Груневальде уже почти весь сошел, он лежал синими тенями только кое-где под деревьями. Солнечные лужайки были покрыты зеленым ежиком травы,

деревья одевались в сине-зеленую дымку, а глубокие овраги были полны грязной талой воды. Зато в аллеях было чисто; они были посыпаны свежим песком и ярко желтели на солнце.

## ЧЕРНЫЙ ЦЫПЛЕНОК

**Н**акануне Первого мая Вернер вдруг пришел к нам поздно вечером.

Отец еще не приходил с работы, мы с мамой были одни. Я уже лежал в кровати, готовый заснуть, как вдруг раздался звонок, потом шелкнул замок, и я услышал тихие голоса.

— ...Und Jura? — услышал я голос Вернера.

— Er schläft schon! — сказала мама. — Он уже спит!

— Я не сплю! — крикнул я весело.

— Aha! — рассмеялся Вернер. — Der ist aber schlau! («Вот хитрец!»)

Вернер был теперь редкий гость и очень хотел меня видеть, и поэтому мама тоже была рада, что я не сплю. Они сразу вошли в комнату. Вернер был в черном костюме с красной гвоздикой в петлице. «Это он ее прицепил в честь Первого мая!» — подумал я. Я знал, что гвоздика — революционный цветок. И в руках у Вернера был маленький яркий букет красных гвоздик. Он вручил его маме.

— С наступающим! — сказал он и сел ко мне на кровать.

Вид у Вернера был усталый, но веселый. Он похудел и уже немного загорел на своих весенних митингах. Под глазами лежали синие тени, как снег в Груневальде, обветренные скулы выступали резче, бледные губы плотно сжаты, а волосы на голове были как солнце.

— Давно я хотел тебя видеть, — сказал он, — но все не мог.

Я молчал. Мне почему-то стало грустно — может быть, потому, что вид у него был такой усталый.

— Долго еще продлится эта стачка? — спросила мама.

— Конец близок,— сказал Вернер.— И мы должны победить.— Он опять улыбнулся.— Дело вот в чем,— продолжал он, все еще улыбаясь; улыбка в его глазах разгоралась, освещая тонкое лицо внутренним светом.— Дело вот в чем — вы, наверное, скоро уедете?

— Да,— сказала мама.— Очень скоро... Иосифа отзывают.

— Я тут принес один пустячок.— Вернер полез в карман.— Для Гизи...

Он достал маленький сверток, что-то завернутое в тонкую шелковистую бумагу.

— Ну-ка, разверни! — протянул он его мне.

Я долго разворачивал шуршащую бумагу — ее было много,— и в самой середине этого вороха оказался маленький пушистый цыпленок! Он был совсем черный, с розовым клювиком! И еще там лежал железный ключик: цыпленок был заводной...

— Какой смешной! — сказал я.— Черный!

— Черные цыплята тоже бывают,— сказала мама.— Правда, редко!

— Я знаю,— сказал я.— Я видел у Вани на даче!

— Мне этот цыпленок напоминает Гизи,— сказал Вернер.— Такой же черненький, как она...

И я тоже увидел, что этот цыпленок похож на Гизи!

— Заведи-ка его! — сказал Вернер.

Я взял ключик, нащупал в боку у цыпленка граненый железный стерженек и завел. Потом я поставил его на тумбочку возле кровати, и цыпленок стал весело танцевать! В животе у него тихо жужжало, а он переступал по стеклу розовыми лапками, взмахивал куцыми крылышками и вертел головой.

Я смотрел на этого смешного цыпленка, а видел перед собой Гизи, и наш дом на Кузнецком, и Памятник Воровскому... Я как-то сразу почувствовал, что мы уезжаем!

Когда цыпленок затих, Вернер сказал мне:

— Прошу тебя передать его Гизи! Когда-то мы с ней увидимся, просто не знаю! И еще передашь привет Москве,— сказал он.— И своему Воровскому... ну, а теперь спи!

— Я не хочу спать! — сказал я. — Я тебя так давно не видел!

— Может, мы немножко посидим здесь? — спросил Вернер, глядя на маму.

— Конечно! — встрепенулась она.

Мама быстро сварила кофе, поставила дымящийся кофейник и чашки под лампой на тумбочке, и они с Вернером устроились рядом в креслах. Они разговаривали, а я закутался в одеяло и слушал.

— Нелегкий будет завтра день, — сказал Вернер. — Сошло бы все гладко...

Он имел в виду первомайскую демонстрацию.

— Все будет хорошо! — сказала мама.

— Полиция на ногах, — сказал Вернер. — Всюду шпики. И фашистские молодчики тоже что-то затевают...

— Где сбор? — спросила мама.

— Мы распустили слух, что сбор у Тиргартена... но это нарочно! Мы соберемся у вокзала и пройдем здесь, мимо вас...

И тут я заснул! Просто не понимаю, как это я так быстро заснул! До сих пор не могу себе этого простить!

Когда я утром проснулся, в комнате было тихо и пусто. Только на тумбочке, освещенной лучом майского солнца, стоял грустный черный цыпленок; у него был такой вид, как будто он пришел сюда сам и никакого Вернера не было...

## ПЕРВОЕ МАЯ

**П**ервое мая начиналось торжественно и вместе с тем пусто.

Мы опять стояли на балконе у фрау Аугусты, как в ту новогоднюю ночь, но внизу, под нами, уже не было никакого веселья.

Улица была пустынна, она ушла в себя, в свои подворотни



и дома, приглушенная и настороженная. Ожидание демонстрации было разлито в воздухе, в холодном первомайском солнце, в насупленных карнизах домов. В этом ожидании не было торжественности: торжественность была в нас!

Я с утра повязал красный галстук, который мне подарили в Кремле, а отец вдел в петлицу гвоздику из вернеровского букета. И мама прицепила к платью гвоздику. А фрау Аугуста не прицепила, но она ведь не праздновала Первое мая. С минуты на минуту внизу по улице должен был пройти Вернер со своими рабочими. Мы очень волновались. Фрау Аугуста, немного возбужденная, стояла рядом. Она говорила, что сочувствует рабочим и жалеет Вернера. «Не надо всех этих демонстраций и политики! — говорила она. — Вернер — такой способный человек, зачем ему со всем этим связываться! Он всегда нашел бы себе работу у порядочного дельца! Много ли человеку надо!..» Так говорила фрау Аугуста. Она ничего не понимала в революции. И в жизни рабочих. И в том, что человеку надо много, очень много — в высшем смысле, конечно. Она не понимала всего этого, и мне было ее немножко жаль. Так же как ей было жаль нас.

На балконе было прохладно, дул ветер, но мы не уходили.

Я смотрел сквозь железную решетку на вылизанную ветром улицу.

Фрау Аугуста все о чем-то тихо говорила, излагала какие-то свои мелкобуржуазные мысли. А мы молчали.

Мама сказала, что с фрау Аугустой надо вообще говорить поменьше.

Я вспомнил, как начинается Первое мая у нас, в Москве. Я вспомнил разукрашенные дома и предпраздничное оживление на улицах. И разноцветную иллюминацию по вечерам, которую мы всегда ходили смотреть в центр. И парад на Красной площади. Я часто ходил с родителями на парад, на трибуны возле Мавзолея. В Москве Первое мая было веселым и радостным, а тут...

И вдруг мы услышали песню! Это пели рабочие; их еще

не было видно, они шли еще где-то там, за домами, левее, а песня, как это всегда бывает, опережала их, неслась впереди, над пустой мостовой:

Drum links! Zwei, drei!  
Drum links! Zwei, drei!  
Wo dein Platz, Genosse, ist?  
Rein dich ein in die Arbeiter-  
Einheitsfront,  
Weil du auch ein Arbeiter bist!

Песня звучала все громче, чрезвычайно энергично, в ритме шагов:

И — левой! Два! Три!  
И — левой! Два! Три!  
Проходи, товарищ, к нам!  
Ты войдешь в наш единый  
Рабочий фронт,  
Потому что рабочий ты сам!

Обхватив прутья решетки, прильнув к ним лицом, я впился глазами в конец улицы... Там полыхнуло красным, и я увидел человека с красным флагом. За ним показался маленький оркестр: барабанщики и флейтисты. А дальше уже вливалась в улицу темная масса голов, над которыми колыхались плакаты — белые буквы на красном. Рабочие шли сомкнутой колонной, по четыре в ряд. Они приближались к нашему дому. Гулкие шаги сотен ног заполнили пространство. В едином с ними ритме звучали флейты и барабаны.

Кое-где на балконах и в окнах домов показались люди. Другие окна, наоборот, с треском захлопывались. Какой-то мужчина на балконе напротив приветственно поднял кулак навстречу рабочим. В первых рядах колонны тоже взметнулись кулаки.

— Rot Front! — ответила колонна.

Я тоже поднял кулак и восторженно закричал:

— Рот Фронт! — И мой голос потонул в общем крике.

Я узнал человека с флагом — он смотрел на меня, прямо в глаза мне!.. В вытянутых руках он держал древко, и алое полотнище, колыхаясь, осеняло спутанные золотые волосы.

— Это Вернер! Смотрите! — крикнул я. — Смотрите!

— Ах! — всплеснула руками фрау Аугуста. — Это ужасно!

«Что ужасно? — промелькнуло у меня в голове. — Почему? Это прекрасно!»

— Фашисты! — сказал отец.

Я посмотрел вправо, куда смотрели отец, и мама, и фрау Аугуста, и увидел фашистских молодчиков, выбегавших из подворотен и подъездов... Они что-то кричали и размахивали камнями и палками, а позади слезали с автомобилей полицейские в высоких касках, с дубинками в руках.

— Auseinandergehn! («Разойдись!») — прогремела в рупор команда.

— «Wir fürchten Karabiner, Gummiknüppel, Schako nicht! Wir gehen drauf und dran! Rot Front!<sup>1</sup>» — запели рабочие.

— Надо уходить! Сейчас начнется! — сказал отец.

— Что... — хотел я спросить и вдруг услышал свистки и крики.

Фашисты и полицейские бросились на рабочих одновременно... В мгновение все смешалось. Внизу шел бой! Я видел сверху головы и плечи, руки, наносившие удары... Над толпой мелькали черные дубинки полицейских, палки, камни фашистов, рабочие кулаки; звенели стекла...

Я увидел Вернера с флагом... Потом руку с пистолетом... Раздался выстрел, и Вернер упал — как тогда, помните, в моем сне? — и я заплакал, сжимая пальцами ржавые прутья, прижимаясь к ним лбом... Меня тянуло вниз, в эту бездну, где два

---

<sup>1</sup> «Мы не боимся карабинеров, дубинок, полицейских касок! Мы наступаем! Рот Фронт!» — песня немецких коммунистов тридцатых годов. Ее пел, в частности, Эрнст Буш, известный певец-антифашист.

полицейских ташили Вернера по камням, оставляя кровавый след... Мама пыталась разжать мои пальцы... «Немедленно! Немедленно!» — кричал отец, оттаскивая меня за плечи, а я плакал, вцепившись в прутья балкона...

Меня потрясло случившееся... и то, что мы бессильны что-либо сделать. В этом была наша трагедия — трагедия бессилия: видеть, как убивают твоих друзей, и молчать...

## ОТЦОВСКАЯ ПЕСНЯ

**Ч**ерез два дня были похороны Вернера. Я тоже был на похоронах. И мама. Отец взял нас с собой. Советским товарищам уже небезопасно было появляться на похоронах коммуниста. Террор фашистов, которые готовились захватить в стране власть, уже не останавливался перед «красными из Москвы». А с нами отец был как частное лицо, как посторонний. Мы и шли, и стояли там все время в стороне. Мало ли кто мог стоять в стороне!

С похорон мы вернулись усталые. Надо было очень много пройти по городу, а потом за городом и стоять на кладбище во время митинга. Всю дорогу нас сопровождала полиция, но все сошло спокойно.

Вернувшись домой, мы долго вспоминали эти похороны, переживали их снова. Мы вспоминали, как шли за черным гробом, утопавшим в красных гвоздиках. Мы шли сзади, а впереди блестел медными трубами оркестр. Он все время играл «Реквием». Этот «Реквием» написал Моцарт — великий композитор. Это великая музыка, в ней сказано все о человеческой смерти. И о жизни.

Мама все время плакала. И многие плакали. Но отец не плакал. И я тоже. Я думал о живом Вернере, и о Гизи, и о черном цыпленке, и — почему-то — о Воровском. И о своем московском сне я думал...

Так мы сидели дома и вспоминали этот ясный весенний день на кладбище, дымчатую зеленую листву на деревьях, свежие комья сырой земли возле открытой могилы. И выступления рабочих — друзей Вернера.

Мы вспоминали безмолвные ряды полицейских, оцепивших кладбище. И вездесущих шпики в черных пальто и котелках, сновавших вокруг.

Когда гроб опустили в могилу, все стали бросать туда горсти земли.

Тогда мы тоже прошли вперед и бросили по горсти.

Мы это все снова переживали, сидя дома, в комнате отца. За окном быстро темнело, надо было ужинать. Но ужинать мы не могли.

Мы говорили о Гизи, и о ее маме, и о том, что вот — они даже не смогли приехать на похороны! И о том, что мы скоро поедem домой и все им расскажем, и я передам Гизи цыпленка.

Я достал сверток и развернул цыпленка и поставил его на стол... И он вдруг затанцевал. В нем еще сохранился завод! Но от этого танца мне стало страшно!

— Как я его передам? — сказал я. — Мне будет страшно его передавать!

— Надо передать, — сказал отец. — Именно ты должен его передать!

Мама взяла затихшего цыпленка и погладила его по голове.

— Как Вернер странно его принес! — сказала она. — Как будто он уже тогда чувствовал свою смерть...

— Подождите, — сказал отец. — Я спою песню...

Отец запел, почти не растягивая слов, совсем тихо:

О чем эта песня  
В степи у огня?

Как сына отец  
Поднимал на коня!

Обычная песня,  
С обычным концом:  
О доле казачьей,  
О сыне с отцом.

Как вместе полями  
Скакали они,  
Смеялись и пели  
В счастливые дни...

О чем эта песня  
За тихим столом?  
О том же коне  
С опустевшим седлом.

Поникшие с гривы  
Висят поводья.  
Отец не вернется  
Домой никогда.

Бесстрашно с врагами  
Рубился казак!  
Что смерть его встретит —  
Не думал никак...

О чем эта песня  
В полынных кустах?  
То клятва звучит  
На сыновних устах.

Сын в юные руки  
Берет поводья —  
Он в битву помчался!  
Так было всегда...

Так было когда-то,  
И будет опять:  
Что сын за отца  
Должен песню кончать.

. . . . .

Мы с мамой сидели и слушали, глядя в темное окно, а потом я спросил:

— Откуда эта песня?

— Это старая песня! — сказал отец. — Ее пел мой отец — твой дедушка...

— А ты ее пел про Вернера?

— Про всех нас, — сказал отец. — И про Вернера тоже...

— А кто же будет кончать его песню? — спросил я. — Если у него сына не было?

— Зато у него Гизи! — сказал отец.

— Но она же дочка!

— Иные дочери бывают похрабрее сыновей! — сказал отец. — А теперь пошли спать!

«Интересные слова он сказал!» — думал я, засыпая.

Я тогда еще не знал, что все так и будет!

## СОН

**Н**очью ко мне пришел Памятник Воровскому, как тогда, в Москве, когда я болел.

Я не удивился, когда он вошел в комнату, большой и взъерошенный, несмотря на то что из камня. В петлице у него была черная с красным ленточка.

— Это у тебя траур по Вернеру? — спросил я.

Он кивнул и сел ко мне на кровать, как тогда.

Я не удивился, но все же спросил:

— Как ты приехал? А Москва? Теперь ты будешь стоять здесь?

— Нет, это опять мгновение,— сказал Воровский.— Никто не заметит, что я здесь...

— А как тебе удалось перейти границу?

— Это потому, что я — твои воспоминания,— сказал Воровский.— Ты обо мне думаешь, вот я и пришел. И на похоронах Вернера я тоже был...

— А это было удобно? — спросил я.— В смысле дипломатии?

— Вполне,— сказал Воровский.— Я был с вами незримо. Потому что ты обо мне думал.

— Да,— сказал я.

— Вот и уходит твое первое детство! — сказал вдруг Воровский.— И писем ты мне больше писать не будешь!

Мне стало как-то неловко. Я действительно не собирался ему больше писать. Хотя теперь-то я знал все настоящие буквы.

— Я же был тогда маленький! — сказал я.— Но я тебя все равно не забуду! И Вернера!

— Нас нельзя забыть! — сказал Воровский.— Мы всегда будем с тобой — там, куда уходит твое детство... А все же мне будет грустно без твоих писем!

— Ты говоришь, что мое детство уходит? Куда?

— В воспоминания! — сказал Воровский.— Все на свете уходит в воспоминания. Это и есть жизнь, когда действительность превращается в воспоминания. И надо жить так, чтобы эти воспоминания были хорошими, чтобы ты мог ими гордиться...

— Чего уж тут хорошего! — сказал я.— Вернера убили! И тебя тоже!

— Разве ты не гордишься Вернером? — спросил он.

— Горжусь! — сказал я.— Но тяжело, когда...

— Вот то-то и оно! — перебил меня Воровский.— Даже тяжелыми воспоминаниями можно гордиться!

И учиться на них, чтобы не оплошать, когда пробьет твой час...

— Я не оплошаю! — сказал я.

— В этом я уверен,— кивнул Воровский.



И я кивнул.

— Главное — быть смелым и бороться за наше общее дело, как говорил Вернер... Тогда никакие воспоминания, не будут страшны. Никакой конец, даже трагический... Он все равно будет хорошим и светлым!

— Как у тебя?

— Как у нас, — сказал Воровский.

— И у меня?

— У тебя еще все впереди! — улыбнулся Воровский. — Я имею в виду жизнь. Твое детство только начинает от тебя уходить. Оно уже сделало первый шаг и стоит у порога... Скоро ты вернешься в Москву и пойдешь в школу, а потом в институт... или в армию... Тебя ждут большие дела! И надо, чтобы в этих делах главным была революция!

— Война?

— Не обязательно! Но может быть, и война... Хотя революция может быть и без войны: учиться, сомневаться, переделять, ненавидеть и любить — это тоже революция! Ну, мне пора...

— Когда ты вошел, тебя никто не заметил? — спросил я.

— Они спят! — сказал Воровский. — Я всех видел... Спит Гизи здоровым сном неведения: она еще ничего не знает! Спит Вовка, и ему снится сон о пионерском слете. Спит Вернер в свежей могиле, и ему уже ничего не снится! И я сам сплю в могиле! *Но не спят часовые революции!* И памятники! Потому что живет наше общее дело... — Воровский все это говорил, как стихи, все тише и тише, пока не замолк, не исчез в темной берлинской ночи...

Я начинал эту повесть в тумане и кончаю ее тоже в тумане — в тумане времени.

В этом тумане я вижу, как мы уезжаем из Берлина, где уже дышит лето, и приезжаем в Москву, где нас опять встречает весна.

Я вижу, как в вечер приезда я вручаю Гизи цыпленка — посмертный подарок отца. Гизи молча берет его, глядя на меня

огромными глазами, и уходит за ширму. И там долго плачет. И мы не мешаем ей плакать...

Так закончилось мое первое детство, мое брезжущее утро. Настоящее утро и день еще не начинались. А кончились они много-много позднее. Детство ведь бывает очень долгим. И время там идет медленно. Потом, когда вы вырастаете, оно помчится быстро! Не успеешь оглянуться, как ты уже старик! Сейчас, например, мое время летит, как на Луну ракета... хотя я еще вовсе не старый. Но уже живу медленно. А у вас, ребята, наоборот: сами вы живете быстро, а ваше время движется медленно, только еще набирая скорость! И хорошо! Пусть ваше детство будет медленным и прекрасным. Как безоблачное утро в тумане. И никогда не спешите с ним расстаться, несмотря на то, что порой вам так хочется этого. Пусть оно идет медленно и получше запомнится вам. Чтобы было потом что вспоминать.

## ЭПИЛОГ, или ВЗГЛЯД В СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

**Н**есколько слов о судьбе героев этой повести.

Лучше всех, пожалуй, сохранился Памятник Воровскому. Он стоит все там же, вверху Кузнецкого моста, перед тем же домом, хотя в доме уже давно не Наркоминдел. Воровский ни капельки не изменился. Когда я случайно бываю рядом, я захожу во двор моего детства и долго смотрю на Воровского. «Здорово, старик!» — шепчу я, и мне кажется, что он в ответ подмигивает. Хотя я понимаю, что это мне только кажется. И во сне он ко мне тоже больше не приходит. Сейчас мне снятся другие сны, все больше война. И пишу я, к сожалению, Воровскому тоже не пишу... Да, отчасти я потерял сказочное отношение к окружающему. Но я изо всех сил стараюсь не терять его дальше. Потому что пишу книги для детей, а они ведь самые мудрые мастера

сказок, и тут очень важно самому подольше оставаться ребенком. Это, конечно, не значит впадать в детство: впадать в детство — это совсем другое дело, упаси вас от этого! Хорошо было бы прожить всю жизнь, никогда не впадая в детство, но храня свое детство в сердце как самое прекрасное и мудрое время.

Родители мои умерли — Иосиф и мама, — и многие умерли, которые жили на страницах этой книги. Ведь столько было с тех пор, о чем я еще не написал!

Дик, конечно, давно умер, потому что собачий век короток, намного короче человеческого.

Зусман умер, и Жарикова умерла, так и не дождавшись, что Вовка станет художником. Между прочим, художником он не стал, мой самый лучший друг Вовка. Зато он остался моим другом. Мы с ним иногда переписываемся, когда нам очень трудно или, наоборот, когда очень хорошо, а иногда — раз в несколько лет — он бывает у меня в Москве. И я у него несколько раз был: это очень далеко, за Полярным кругом. Там Вовка работает орнитологом на биостанции — изучает птиц. У него очень милая жена, которая иногда в шутку зовет его по фамилии: Зусман, и двое мальчиков, таких же рыжих, как и он, и очень похожих на него в детстве. Так что вместо одного Вовки у меня сейчас три! Правда, два «отпочковавшихся Вовки», которых зовут Петя и Юра, еще маленькие, потому что женился Вовка поздно, как и я, как все мы, у которых полжизни отняла война. Художником мой друг не стал, может быть, потому, что на войне ему оторвало правую руку. Но делает он свое дело так же увлеченно, как все, чем занимался в детстве. И так же мне с ним интересно, как было когда-то. И так же он знает обо всем на свете. И так же я могу на него положиться, как когда-то, когда он заступался за меня во дворе.

Мой деревенский бог Ваня, лоточник Кузнецкого моста, герой моей солнечной карусели, давным-давно где-то исчез. Куда он подевался в этом мире? Ведь надеваться-то было куда! Может, погиб где-нибудь... А может, он жив и здравствует, может, он даже прочтет эту книгу и узнает себя. Все может быть. Ведь

говорят же, что может быть даже то, чего вообще никогда не бывает!

Один раз, спустя много лет, встретил я Ваню в Москве, но встреча эта вышла у нас неловкой. Это было в летнем театре «Аквариум». Мы ходили с отцом в оперетту. Иосиф мой был в то время уже старым и не таким красивым, как в моем раннем детстве. А я был этаким мнительным московским отроком с пробивающимися на верхней губе усами. Это меня очень смущало, оттого я был необщительным и всех стеснялся. Мы сидели с отцом в средних рядах у прохода и в антракте вдруг увидели, что по проходу прямо на нас идет Ваня! Мы его сразу узнали, но какой он стал важный! Это был уже не деревенский парень, светлый и неотесанный, хотя совсем неотесанным его никогда нельзя было назвать. Прямо на нас шел московский молодой фронт в черном костюме с бабочкой на белом воротнике, под подбородком, как когда-то носил мой отец. Голову с завитыми волосами Ваня нес подчеркнуто высоко, он шел размеренной красивой походкой, и его взгляд самоуверенно скользил по лицам... Отец очень обрадовался ему, вскочил, крикнул: «Здравствуй, Ваня!» Ваня остановился и жеманно поздоровался с нами. Мне показалось, что он не рад. И оттого, что он так блестяще одет, намного лучше, чем мы (мы вообще в то время жили неважно), и оттого, что он был так надменен, я совсем смешался и молчал. Ваня скупно сказал, что учится в университете. Может быть, он был так натянут оттого, что мы называли его «Ваней»? Может, ему было неприятно, что мы знали его деревенским парнем, знали, что его родителей в деревне называли кулаками. Может, он боялся этого, кто его знает! Но он был сух, и радость отца тоже сразу потухла. Ваня быстро попрощался и пошел дальше, высоко неся по проходу свою завитую голову... Больше я его так и не видел.

Ляпкин Маленький мне как-то сам позвонил, узнав мой телефон. Но разговора не получилось, вернее, я хоть и отвечал, но отклика в моем сердце не было. Потому что уж очень сильны были в его голосе нотки Ляпкина Большого. На вопрос, где он

был во время войны — на каком фронте, — Ляпкин Маленький бодро пискнул: «Что ты! Почему на фронте? Я всю войну просидел в Куйбышеве, в штабе МПВО!» Тут позор вовсе не в том, что он был в Куйбышеве, а в том, с какой гордостью и презрением к фронту он об этом сказал. Ну что ж, ведь недаром говорится: яблочко от яблони недалеко падает...

Еще несколько важных слов о Гизи — о моей далекой и самой первой любви. И тогда, когда я еще называл свою любовь дружбой, и позже, когда мы учились в разных школах и виделись лишь иногда, потому что наши мамы стали реже общаться — жили мы в разных концах Москвы, — и тогда, изредка встречая ее и зная, что и она знает, что я ее люблю, но опять стесняясь, как в самом начале нашего знакомства, я в глубине своих мыслей всегда о ней думал... Такая она была веселая, и скромная, и красивая.

Один только раз я встретил ее невеселой. Это было в самом начале войны...

Я случайно встретил Гизи на площади Пушкина, в толпе возле столба, на котором содрогался черный репродуктор. Передавали обращение к народу. Кончалось оно словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» Когда репродуктор замолчал, люди еще некоторое время молча под ним стояли, стояли черной суровой толпой, потом стали медленно расходиться. Мы с Гизи тоже пошли по площади. Мы пошли к памятнику Пушкину и там сели на лавочку.

Гизи была все такой же яркой и красивой, как в далеком детстве. Но фарфоровый румянец исчез, сейчас она стала смуглой, высокой и стройной девушкой. Она таки вылечилась у нас от чахотки! Мы вспомнили, как я учил ее дить рыбий жир, и Гизи улыбнулась. На щеках заиграли ямочки, но улыбка получилась невеселой, и глаза смотрели сурово... Ведь она была немкой! Невесело было быть немцем в те годы, да и сейчас еще невесело, когда вспомнишь, что весь почти немецкий народ поверил в своего сумасшедшего Гитлера и ринулся с ним на целый мир. Я говорю «почти», потому что оставались среди немцев такие

люди, как Гизи, которым было все это особенно тяжело. Они переживали это как свою трагедию.

Мы долго говорили с Гизи в тот страшный день, сидя на лавочке возле печального Пушкина. Гизи говорила мне о том, как ей тяжело. Что ей кажется, что все москвичи смотрят на нее с презрением и ненавистью. Какие-то люди во дворе, где она сейчас жила, обозвали ее фашисткой. Она сказала, что понимает этих людей, хотя ей и больно. Она еще докажет, какими должны быть настоящие немцы, сказала Гизи. В тот год она только что кончила десятый класс, как и я. Мы с ней оба были комсомольцами. А я еще был допризывником и ждал со дня на день повестку в армию. Гизи не ждала повестку — девочки ведь невоенно-обязанные, — но она сказала, что сегодня же пойдет в военкомат и поговорит с начальником. Что она подаст заявление, чтобы ее взяли на фронт: ведь она знает немецкий и могла бы быть переводчиком. Она сказала, что в Москве есть друзья ее отца, бежавшие от Гитлера коммунисты, и они ей помогут. А еще лучше стать разведчиком, сказала Гизи. Она очень хотела стать разведчиком и работать в тылу фашистов. Там она могла принести больше пользы. Я сказал, что тоже хотел бы стать разведчиком или летчиком, но не знаю, куда меня возьмут. Будущее было полно неизвестности, как никогда раньше... Как и все, мы с ней верили твердо: война скоро кончится, пройдет несколько месяцев, и Гитлер будет разбит! И мы с ней опять встретимся. Мы решили встретиться на этом самом месте, сразу после войны. Не ошиблись мы только в одном — что Гитлер будет разбит, но случилось это вовсе не так скоро...

Долго мы говорили в тот день, говорили в последний раз — больше я Гизи не видел. Страшная война раскидала нас в разные стороны. Я потерял след Гизи, хотя долго разыскивал ее — и во время войны, и после, наводил о ней разные справки, но все было бесполезно. Совсем недавно я случайно узнал о ее судьбе...

Вскоре после той нашей встречи, когда фашисты были уже под Москвой, Гизи поступила в разведшколу. Взяли ее туда как дочь погибшего немецкого коммуниста. Гизи проучилась там не-

сколько месяцев, а потом ее забросили в тыл врага со специальным заданием. Она должна была пробраться в гестапо и стать переводчиком у немцев. Гизи все прекрасно удалось. Целый год она успешно работала у врага где-то на юге, бесстрашно передавая нашей разведке важные сведения. Присутствовала она и при допросах наших пленных. Один раз, во время допроса, один из пленных, учившийся вместе с Гизи в десятилетке, узнал ее! Он решил, что она предательница, продавшаяся фашистам... С кулаками кинулся он на нее, вне себя от гнева, и невольно все выдал. Судьба Гизи была решена: после страшных пыток ее расстреляли. По документам, которые попали мне в руки, я увидел, что Гизи держалась перед фашистами храбро, что она никого не выдала и умерла героем. И это та самая Гизи, которая так испугалась живого рака, которого я поймал ей на даче...

Гизина мама умерла на второй год войны, далеко от Москвы и Берлина — в казахстанских степях, куда она была эвакуирована. Наверное, она умерла от горя, узнав о гибели Гизи.

Так погибла вся эта семья.

Это очень страшно, когда погибает вот так целая семья. Когда от целой семьи, как от кустика, не остается ничего: ни одного цветочка, ни одного побега, ни даже сухого корешка! Как будто этой семьи вовсе и не было! Но она была — свидетель тому моя книга.

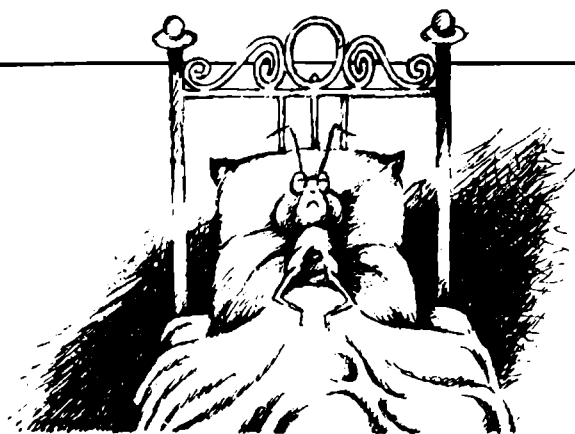
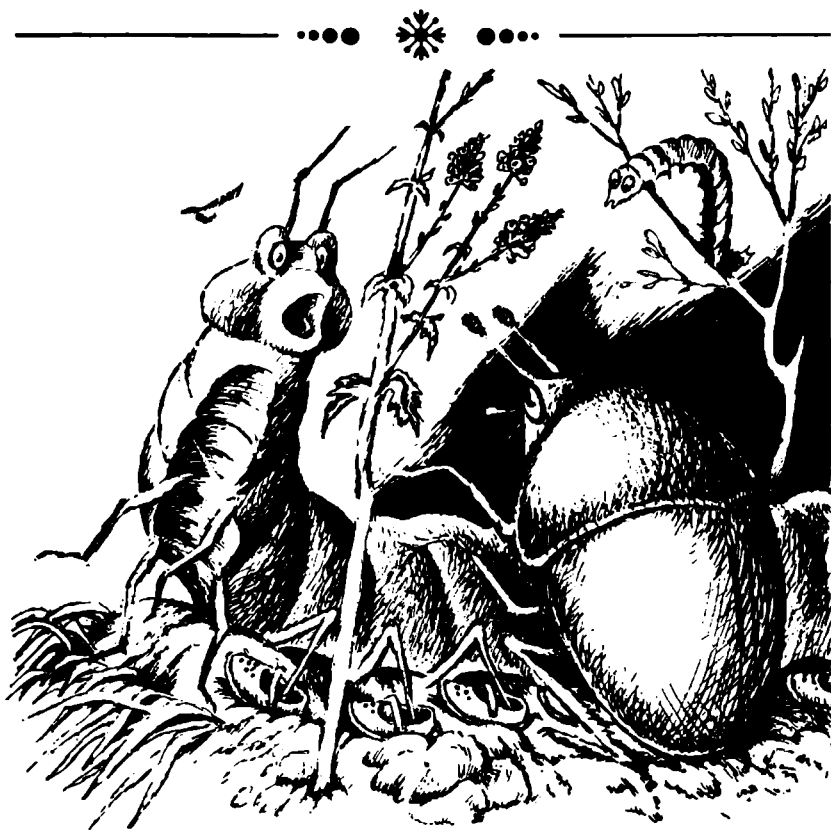
Много прекрасных семей, а не только людей погибло в этой войне. *Они погибли для того, чтобы лучше жили мы с вами*, говорим мы себе, и это так! Но эта мысль не излечивает. Есть в этих словах неразрешимая печаль.

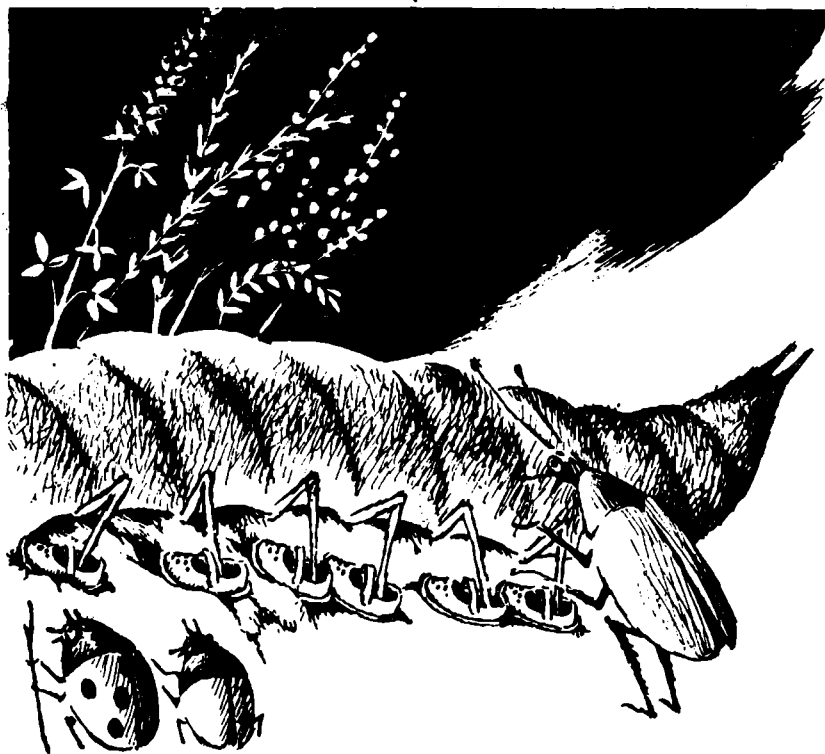


# СТИХИ









---

КАК  
СОРОКОНОЖКА  
ХОДИТЬ  
РАЗУЧИЛАСЬ

---

МОЕМУ  
ЧИТАТЕЛЮ

Несу я вдаль свои года  
Тяжелым рюкзаком,

А мой читатель никогда  
Не станет стариком.

Давно я к этому привык,  
Что детский я поэт.  
Хоть мой читатель многолик,  
Ему не много лет.

Всегда он юн, читатель мой!  
Он любит смех и шум,  
Хотя и не лишен порой  
В тиши серьезных дум.

И с ним не скучно,  
Вот в чем гвоздь!  
С ним дышится легко!  
Его глазами мир насквозь  
Я вижу далеко.

Я вижу с ним другую жизнь,  
Где мне уж не бывать,—  
Ее мы словом «коммунизм»  
Привыкли называть.

Среди космических дорог  
В далекой жизни той  
Меня читатель между строк  
Увидит пред собой.

И скажет: «Что за старичок  
Стихи эти слагал?  
Писал про Вышний Волочок.  
Про Север. Про Урал.

Писал про старые дома,  
Про юный шум дубрав...

Его цветастые тома  
Хранят веселый нрав!  
Да, он в стихах поднаторел  
И жив до сей поры  
Не потому ль, что вдаль смотрел  
Глазами детворы?»

**КАК  
СОРОКОНОЖКА  
ХОДИТЬ  
РАЗУЧИЛАСЬ**

— Пройдусь-ка перед сном немножко,—  
Промолвила Сороконожка,  
И — раз!.. два!.. три!.. четыре!.. пять!..  
Шесть!.. семь!.. и восемь!.. и так далее —  
Обула все свои сандалии  
И вышла из дому гулять.

Раз! — поставит ногу,  
Два! — поставит ногу,  
Три! — поставит ногу —  
Подошла к порогу.

Дважды два — четыре:  
Вышла из квартиры.

Пять, шесть, семь и восемь —  
В огороде осень.

Два плюс восемь — десять:  
Ноги глину месят.

Дважды десять — двадцать,  
Дважды двадцать — сорок:  
Если постараться,  
Влезешь на пригорок...

Так ноги в ремешках сандалий  
Легко несли ее вперед.

Горел закат в осенней дали.  
Вот — миновала огород.

Шаги, конечно, не считала,  
А просто на исходе дня  
О чем-то про себя мечтала,  
Ногами всеми семеня.

Заслышав шум ее шагов,  
Жук Скарабей сказал: — Минутку!  
Давайте с ней сыграем шутку!  
(Он шел в компании жуков.)

И, поклонясь Сороконожке,  
Вперед он сделал три шага  
И прошептал: — Какие ножки!  
Походка у тебя легка!

Но не пойму я, хоть убей,  
Как двигаешь ты по дороге  
Свои бесчисленные ноги? —  
Спросил бедняжку Скарабей.—

Шагнешь ты первую ногою,  
А следом двигаешь какой:  
Второй, седьмой, сороковою  
Иль тридцать первую ногой?

Вопрос смутил Сороконожку.  
— Я... просто движусь понемножку!  
Своих шагов я не считаю,  
Я просто так в пути мечтаю...

— Как! — возмутился Скарабей.—  
Приводишь ноги ты в движенье,  
Не зная правила сложенья?  
Возможно ль двигаться глупей!

Должна ты знать, какой ногою  
Когда шагнуть — вот в чем вопрос! —  
Чтоб не шагнуть ногой другою  
И в спешке не расквасить нос!

— Прости,—  
Взглянув на Скарабея,  
Сказала бедная, робея...

Но Скарабей прервал: — Учти,  
Что каждый шаг нам в жизни дорог  
И надо делать их с умом!  
А у тебя при всем при том  
Не две ноги, а целых сорок!

А ну-ка, встань на ровном месте:  
Носочки врозь, а пятки вместе.  
Сочти все ноги и вздохни...  
Теперь попробуй-ка шагни!

Сороконожка чинно встала,  
В уме все ноги сосчитала,  
Потом хотела, как бывало,  
Шагнуть вперед... и вдруг упала!

Привстав, шагнуть хотела снова —  
И вновь упала бестолково.  
И все она, как ни старалась,  
На ровном месте спотыкалась.

Тогда, схватив ее под мышки  
(Их тоже сорок, боже мой!),  
Жуки, несносные мальчишки,  
Беднягу отвели домой.

С тех пор сидит она в квартире  
И шепчет: — Трижды три — четыре!

Пять минус восемь — двадцать два!  
(Ах, как кружится голова!)

Одиннадцать плюс девять — семь...—  
Не ходит бедная совсем!

Все плачет, плачет день и ночь...  
А ты не мог бы ей помочь?

## КУКЛЫ

Мы народ особый — куклы!  
Посмотри,  
Посмотри,  
Как танцуем мы по кругу:  
Раз-два-три!  
Раз-два-три!

Без конца менять наряды  
Нам не лень,  
Нам не лень!  
Принимать гостей мы рады  
Каждый день,  
Каждый день!

Мы готовы есть печенье  
 Каждый день,  
 Каждый день!  
 Отмечать свой день рожденья  
 Каждый день,  
 Каждый день!

Можем мы в тазу купаться  
 В день сто раз,  
 В день сто раз!  
 Засыпать и просыпаться  
 Каждый час,  
 Каждый час!

Можем спрыгнуть мы с дивана  
 Прямо в лес,  
 Прямо в лес!  
 И подняться, как ни странно,  
 До небес,  
 До небес!

На Луну лететь в ракете  
 И на Марс,  
 И на Марс!  
 Мы на все готовы, дети,  
 Ради вас,  
 Ради вас!

Ничего-то мы не значим  
 Без детей,  
 Без детей!  
 И смеемся мы, и плачем  
 Для детей,  
 Для детей!



## ЛАПКИ

Как у старой бабки  
Жили-были лапки.

Встанет бабка утром рано,  
Выйдет в погреб за сметаной —  
Лапки вслед за ней бегут.  
Всюду бабку стерегут.

Сядет бабушка вязать —  
Лапки рядом с ней опять:

Схватят бабушкин клубок  
И закатят в уголок...

Надоели бабке  
Озорные лапки!

Видит бабка — у ворот  
Умывают лапки рот.

Стала бабка ждать гостей,  
Суп сварила из костей.  
Ждет гостей, а их все нет.

Стынет бабушкин обед.  
Глядь, а лапки из кастрюли  
Кость большую утянули.

Вот тебе и лапки!  
Нет покоя бабке.

Отчего ж тогда старá  
Их не гонит со двора?

Оттого, что ночью лапки  
Верно служат старой бабке.

Если лапки ночью вскочат,  
Когти острые поточат,

По полу пройдутся —  
Все мыши разбегутся!

Нет мышей у бабки.  
Вот какие лапки!

## ВОЛШЕБНОЕ ПИСЬМО

Думал я день,  
Думал два и четыре,  
Как рассказать всему миру  
О мире.

Чтобы письмо мое  
Без перевода  
Сразу дошло  
До любого народа.

И наконец-то  
Меня осенило:  
Понял я,  
Что не нужны мне  
Чернила!

Яркими красками  
С кистью в руке  
Буду писать

На таком языке:  
Листья на дереве —  
Краской зеленой;  
Краской коричневой —  
Горные склоны;  
Краской оранжевой —  
Жаркое солнце;  
Разною краской —  
Мой дом и оконце;  
Желтой —  
Колосья  
Созревшего хлеба;  
Синею краской —  
Прозрачное небо;  
Белого голубя —  
Белым оставляю...  
Целый рассказ  
Я из красок составлю.

Этот рассказ мой  
О счастье,  
О мире  
Люди читать будут  
В каждой квартире.

Тронет он душу  
Любого народа.  
Краскам не требуется  
Перевода:  
Русский,  
Японец,  
Француз  
И таджик —  
Каждый поймет  
Живописный язык!

**ТРИСТА  
ТРИДЦАТЬ  
ТРИ  
ЖИЛЬЦА**

Знал я невысокий дом  
В переулке за углом.

Здесь когда-то проживало  
Триста  
Тридцать  
Три  
Жильца.

На работу шли, бывало,  
Восемьдесят  
Два  
Отца.

Уходили по делам  
Девяносто  
Восемь  
Мам.

В школу шли  
До перекрестка  
Девяносто  
Два  
Подростка.

Тридцать  
Восемь  
Дошколят  
В ясли шли  
И в детский сад.

Двадцать  
Бабушек вставали,  
Всем жильцам носки вязали.

Шли гулять в аллеях сквера  
Три  
Седых пенсионера.

Дружно люди в доме жили!  
Если двор темнел от пыли,  
Триста  
Тридцать  
Три  
Жильца  
Поливали деревца.

Если плохо человеку —  
На бедняге нет лица,—  
За лекарством шли в аптеку  
Триста  
Тридцать  
Два  
Жильца.

У мальчонки день рождения —  
Целый день столпотворенье:  
Гору целую добра  
Нанесут ему с утра!

А когда гремел салют,  
То-то шумно было тут:  
Триста  
Тридцать  
Три

Жильца  
Собирались у крыльца.

Замечательный был дом,  
Дружно люди жили в нем.

Дом был с виду неприметен,  
А не знал ни драк, ни сплетен.

Жить бы дому, поживать!  
Только стал он  
Протекать.

Балки покосились,  
Стены накренились...

— Что ж,— промолвил управдом,—  
Знать, пора ему на слом!  
Ведь не век здесь вековать...

Триста  
Тридцать  
Три  
Жильца,  
Стали вещи паковать.

Сто  
Машин  
Грузили в кузов  
Очень много разных грузов:  
Телевизоров,  
Игрушек,  
Стульев,  
Тумбочек,  
Подушек,

Сундуков,  
Шкафов,  
Столов,  
Чемоданов  
И узлов.

Десять дней  
Жильцы прощались.  
Со слезами  
Разъезжались.

Все живут теперь в различных  
Новых зданиях столичных.

Дом свой старый вспоминают  
И друг друга навещают:  
Ходят в гости без конца  
Триста  
Тридцать  
Три  
Жильца!

## НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ

Не было печали —  
В цирк братишку взяли.

Всем в квартире с этих пор  
Страшно выйти в коридор.

Хищники из-за дверей  
На людей кидаются:

Это братец мой  
В зверей  
Перевоплощается.

То, как лев,  
На грудь мне вскочит,  
То, как филин,  
Захохочет.

Вчера большие валенки  
Надел в прихожей он  
И ногу мне  
Хоть маленький,  
А отдал, как слон.

Легла я вечером в кровать,  
А он меня за пятку — хватить!  
И рычит: — Я тигр! —  
Но мне уж не до игр...

Укротители зверей,  
Приходите к нам скорей,  
Укротите братца,  
Чтоб не смел кусаться!

**НУ, СПАСИБО,  
САМОВАР!**

У меня есть  
Друг зеркальный —  
Сроду не был  
Он печальный!  
И хотя он  
Очень рыжий,  
Он не немец,  
Не поляк —  
В мире нет мне  
Друга ближе:



Он из Тулы,  
Он туляк!

Говорят,  
Ему сто лет,  
Но совсем он  
Не скелет:  
И румян он,  
И пuzат,  
Как сто лет  
Тому назад!

Все его,  
Кто с ним знаком,  
Называют  
Остряком:  
Кто взглянуть  
В него захочет,  
Непременно  
Захочет.  
Ну-ка, быстро  
Посмотри:  
Узнаешь себя  
Внутри?

Если нос у вас  
Курнос —  
Расплывется,  
Как поднос!  
Ну, а если  
Длинный нос —  
Он повиснет,  
Как вопрос!

Узнаете  
Эти груши?

Не пугайтесь —  
Это уши!

Вы на друга  
Дуться бросьте:  
Заходите  
Чаще  
В гости!

Все мальчишки  
Здесьних мест  
Знают,  
Что он шишки  
Ест.

Он сперва  
Воды напьется,  
А потом  
Глотнет огня,  
А потом вдруг  
Как займется  
На крылечке  
У меня —

Засипит  
И забормочет,  
Запоет  
И закипит!  
Всех,  
Кто чаю  
Выпить хочет,  
Он от пуза  
Угостит!

Утром чай,  
В обед

И в ужин —  
Вот каков  
Его товар!

Он всегда нам  
Очень  
Нужен.  
Ну, спасибо,  
Самовар!

## **ЧУДАК РЫБАК**

Есть в одном селе рыбак —  
Вот действительно чужак!

Он с рассвета до рассвета  
У воды сидит все лето.

Солнце жарит,  
Дождь бушует,  
А чужак и в ус не дует!

Здоровяк на редкость просто:  
Дотянул до девяноста  
И не кашлял никогда!  
Вдруг случилась с ним беда...

Выла вьюга на дворе —  
Кошку выгнать жалко, —  
А чужак наш на заре  
Вышел на рыбалку.

Связкой удочек нагружен,  
Он шагает тяжело.

Говорит он: — Я на ужин  
Приглашаю все село!

Но вернулся он пустой.  
Мокрый весь пришел домой:  
В прорубь где-то оступился,  
Не на шутку простудился.

Без сознания  
Две недели  
Провалялся он в постели.

И под вечер  
Все село  
Хоронить его пришло.

В избу сунулись гурьбой:  
Он навстречу  
Сам собой!

Говорит он: — Извините!  
После как-нибудь зайдите!  
На вечерний клев иду,  
Рыба ждет меня в пруду...

## **ДВЕ КАДКИ**

Есть у нас в саду две кадки.  
Первая  
Стоит на грядке.  
На припеке кадка эта,  
Солнцем в ней вода нагрета.

У больших дверей сарая  
На траве стоит вторая.  
Целый день в тени она,  
И вода в ней  
Холодна.

Отчего ж тогда вода  
Испаряется быстрее  
Не из кадки,  
Что на грядке,  
А из кадки  
У дверей?

В чем же дело?  
Вот загадка!  
Не волшебная ли кадка?  
Думал, думал я упрямо,  
Но ответа не нашел.

Стала звать к обеду мама.  
Я усталый сел за стол.  
Я сказал себе:  
«Отлично.  
Будем рассуждать логично:  
Если кадка не дырява,  
Значит, в физике пробел.  
И ученые неправы,  
И учебник устарел».

У меня дрожали руки  
И не лезла ложка в рот...  
Может, я сейчас в науке  
Совершу переворот!..

Отказавшись от второго,  
Побежал я к кадке снова.

Заглянул в нее: опять  
Надо воду доливать.

От волнения сгорая,  
Я стоял в тени сарая,  
А за мной из-за угла  
Наблюдали  
Два козла.

Два козла большого роста  
Неспроста пришли сюда:  
У козлов с бородок острых  
На траву  
Текла  
Вода...

# **КАК Я ИСКАЛ СВОЙ ДЕНЬ**

Однажды летом —  
Чур меня! —  
Проснулся я  
Средь бела дня.

В уме был вроде здоровом,  
А левый взял башмак —  
Башмак стал сразу правым!  
Нет, что-то здесь не так...

Тогда за самоваром  
Пошел я босиком —  
Себя за самоваром  
Побаловать чайком.

А самовар мне в брюхо  
Швыряет горсть углей,  
Да как мне рявкнет в ухо:  
— В себя воды налей!

И сразу же из дыма  
Вверх поползла труба.  
Я на пол сел...  
Глядь, мимо  
Бежит моя изба.

А за избою следом  
Бежали свет, и тень,  
И завтрак за обедом...  
И так удрал весь день.

Остался я во мраке  
Один среди двора.  
Как вдруг из-под собаки  
Полезла конура.

Я сам бежать пустился —  
На запад,  
На восток...  
Но как я ни крутился,  
Я дня найти не смог.  
Тогда, дождавшись утра,  
Я с правой встал ноги.  
И сразу очень мудро  
Обул я башмаки.

Потом кровать заправил.  
Набрал в печи углей.  
И самовар поставил.  
И стало веселей!

Я чай пил.  
Ел варенье.  
А дым шел из трубы.  
В хорошем настроенье  
Я вышел из избы.

Вставало солнце. Лужи  
Сияли во дворе.  
И было все снаружи.  
А пес мой — в конуре.

Он тявкнул голосисто.  
И, взяв с собою пса,  
Я по тропе росистой  
Отправился в леса.

Вернулись мы к обеду.  
Я много каши съел.  
Потом зашел к соседу.  
Потом работать сел.

Писал до поздней ночи —  
Куда девалась лень!  
Я много, между прочим,  
Успел за этот день.

Отныне я с зарею встаю —  
И только так!  
И правою ногою  
Влезаю в свой башмак!

**ЧТО  
СО МНОЙ  
БЫЛО**

Как-то раз,  
Как-то раз  
Туча с неба пролилась.  
Ливень лил  
Как из ведра!  
Вдруг перед собою  
Я увидел осетра  
В небе над избою!  
Рядом мимо окон  
Плыл зеленый окунь,  
А за ним в огне зари  
Проплывали  
Пескари...  
Поднимались щуки  
Из речной излуки  
И вплывали прямо в дом,  
Где сидел я  
За столом...

Вы не слышали об этом?  
Это дело было летом!

А потом  
Как-то раз  
Снегопад пустился в пляс.  
Вьюга снегу намела  
Много-много-много,  
И до неба пролегла  
Санная дорога!



Пять часов  
Я в небо лез —  
Было непривычно...  
Но зато назад —  
С небес —  
Съехал я отлично!

Только жаль,  
Что было мне  
Не с кем поделиться,  
Ведь такое на земле  
Вряд ли повторится...

Пережил я все воочью  
Где-то между  
Днем и ночью.

## ЛОШАДИНАЯ СИЛА

Человек изобрел паровоз.  
Паровоз человека повез.  
И кричал паровоз на людей:  
— Сил во мне, как у ста лошадей!

Тут одна лошадиная сила  
Подошла и сказала ему:  
— Я весь век человека возила,  
Что мне делать теперь — не пойму!

Человек изобрел пароход  
И поплыл по реке на восход.  
Пароход над рекой голосил:  
— Лошадиных во мне сотни сил!

Тут одна лошадиная сила  
 Подошла и сказала ему:  
 — По земле я все грузы возила,  
 Как по речке везти — не пойму!

Человек изобрел самолет  
 И отправился в первый полет.  
 Зажужжал самолет над долиной:  
 — Я силен, как табун лошадиный!

Тут одна лошадиная сила  
 Подошла и сказала ему:  
 — По земле я весь век свой ходила,  
 Как ты в небо залез — не пойму!

Человек изготовил ракету,  
 Облетел нашу Землю-планету,  
 И ракета хвастливо сказала:  
 — Сил во мне лошадиных немало!

Тут одна лошадиная сила  
 Человека печально спросила:  
 — Век трудилась я честно, поверь!  
 Что мне делать осталось теперь?

— Не грусти, лошадиная сила!—  
 Человек улыбнулся легко.—  
 Отвечаю тебе, коль спросила:  
 Будешь детям возить молоко!

## ГЛУПЫЙ ПАСТУХ

В поле пас коней мальчишка,  
И клонило в сон.  
«Волки, волки под горою!» —  
В шутку крикнул он.

Нет! Нет! Нет, нет, нет!  
Не может быть никак!

Да! Да! Да, да, да!  
Это было так!

Все село на крик сбежалось,  
Мчатся стар и млад...  
А мальчишка знай хохочет,  
Глупой шутке рад.

Нет! Нет! Нет, нет, нет!  
Не может быть никак!

Да! Да! Да, да, да!  
Это было так!

Люди все идут обратно,  
Пастушка клянут.  
А взаврадашние волки  
В поле тут как тут!

Нет! Нет! Нет, нет, нет!  
Не может быть никак!

Да! Да! Да, да, да!  
Это было так!

Испугался глупый мальчик,  
Плачет и кричит.  
Но никто ему не верит —  
Все село молчит.

Нет! Нет! Нет, нет, нет!  
Не может быть никак!

Да! Да! Да, да, да!  
Это было так!

Поле темное застыло,  
Отойдя ко сну.  
Только волки сытой стаей  
Воют на луну...

Нет! Нет! Нет, нет, нет!  
Не может быть никак!

Да! Да! Да, да, да!  
Это было так!

## ТАИНСТВЕННЫЙ ДОМ

Этим летом в лесу над прудом  
Я набрел на таинственный дом.

Дом глядел на дорогу с пригорка.  
А жила в этом доме семья:  
Дед, да бабка, да внук их Егорка,  
Да неделю гостил у них я.

В доме странные вещи случались,  
Хоть волшебники нам не встречались.

Правда, в подполе мышка жила —  
Не она ли колдуньей была?

Да жила еще кошка Ерошка —  
Не она ль колдовала немножко?

Да за печкой сверчок проживал —  
Может быть, это он колдовал?

Да корова... Но честное слово —  
Не была же колдуньей корова!

А случались там странные вещи:  
Оживали железные вещи,  
И железные, и деревянные...  
Прямо скажем, что случаи странные!

Как-то бабушка вышла с утра  
(В поле выгнать корову пора),  
А уж двери в сарае не спят,  
Так и ходят на петлях, скрипят,  
И корова ушла за ворота...  
Не иначе хозяйничал кто-то.  
Заявляет спросонья Егор:  
— Я сарай закрывал на запор.

Дед ответил: — Молчи, лежебока!  
Поздно вечером спал ты глубоко.  
Выходил я последним на двор,  
Я сарай закрывал на запор.

— Я вставала, сарай запирала! —  
Бабка деду сердито сказала.

Не хотелось вступать в этот спор,  
Я сарай закрывал на запор:

Было поздно, храпели все в доме,  
И корова спала на соломе...

А один раз — вот случай чудной! —  
Убежал грузовик заводной.

Обыскали мы вместе с Егором  
Дом,  
И сад,  
И овраг под забором.  
Мы искали машину  
В кадушке,  
В чемодане,  
В ботинке,  
В подушке,  
В огороде,  
В лесу,  
На крылечке,  
А нашли за поленом  
На печке!

Не иначе ее в уголок  
Сам усатый сверчок уволок,

До рассвета на ней прокатался  
И, конечно, доволен остался.

Ну, а как вам такое понравится?  
На рыбалку решил я отправиться.  
Вышел в сени забрать свои удочки,—  
Нету удочек! Где мои удочки?..

— В этом странного нету ничутьючки,  
Это кошка припрятала удочки:  
Просто ей захотелось рыбки,—  
Объяснил мне Егор без улыбки.

Да, случались печальные вещи...  
А бывали дела и похлеще!

Был у деда в сарае верстак —  
Дед был в плотницком деле мастак:  
Мастерил он с утра для колхоза  
Лодки, лавки, кадушки, колеса.

Как-то вечером — век не забуду! —  
Дед спустился тропинкою к пруду,  
Встал на кочку, глаза протирает:  
По воде матерьял удирает —  
Доски дедовы под парусами  
Отплывают от берега сами!

А один раз —  
Представьте себе! —  
Я нашел свою шляпу  
В трубе!

А один раз у нас  
Коромысло  
За окном на березе  
Повисло —  
В этом вовсе уж не было смысла!

Рядом с нами  
Стояли дома,  
И вещей в них  
Такая же тьма.  
Рядом с нами  
В одной деревушке  
Жили точно такие  
Старушки,  
И такие же  
Старички,

И такие же точно  
Сверчки,  
И такие же  
Кошки  
И мышки,  
И такие же точно  
Мальчишки,  
И такие же точно  
Коровы,  
И такие же гости,  
Как я.  
Но у них не случалось  
Такого,  
Не бывало такого,  
Друзья!

## Я И КРОЛИКИ

К бабушке с дедушкой  
В дом под горой  
Езжу я в гости  
Весенней порой.

Бабушка с дедушкой  
Там не одни:  
Кроликов белых разводят они.

Кролики множатся,  
Множатся,  
Множатся...  
Бабушка с дедушкой  
Очень тревожатся:



Столько родилось  
У кроликов деток,  
Что не хватает нам  
Кроличьих клеток!

А у детей этих —  
Вновь детвора!  
Кролики быстро становятся пра-  
Пра-  
Пра-  
Прабабками!  
Пра-  
Пра-  
Прадедками!

Дом весь подрыли упорными лапками.  
Бабушка ссориться стала с соседками:  
Кролики ходят к соседям на грядки,  
Смело играют с соседями в прятки!

Мы дни и ночи смеемся до колик:  
Ляжешь в кровать — под подушкой кролик!  
Мягкою лапкой щекочется он...  
И в результате приснился мне сон:

Бабушка с дедушкой спят на печи —  
Кролики в печке пекут калачи!

Кролики наши недаром с усами —  
В доме хозяйство ведут они сами:  
Печку растопят и студень остудят,  
Чаю заварят и всех нас разбудят.

Сядем мы завтракать —  
Куча мала! —

Столько нас тут  
От угла до угла:  
Кролики —  
Бабушка —  
Кролики —  
Дедушка —  
Кролики —  
Я —  
Вот и семья!

Кролики нас провожают гулять  
И возвращаются дом прибирать.

Все перемоют.  
И печку подмажут.  
После на лавочку сядут  
И вяжут:  
Варежки,  
Кофты,  
Рейтузы,  
Гамаши...  
Ну и работники  
Кролики наши!

Стук молотков  
Я на улице слышу:  
Кролики кроют  
Дырявую крышу!

Вижу я — движется  
Медленный воз:  
Кролик-возница  
Нам сено привез.

Кролики наши —  
Прибавлю я к слову —  
Утром и вечером  
Доят корову.

Вышли мы как-то  
К реке посидеть —  
Кролики тянут  
Надутую сеть...  
Целую гору  
Лещей наловили!  
Кошек в окрестности  
Всех накормили...

Вот вам и кролики,  
Ну и работники!  
И рыбаки,  
И портные,  
И плотники!

Осень настала.  
Березы — как свечки.  
Кролики дров напилили для печки.

На огороде  
Давно уже пусто.  
Ссыпаны в подпол  
Морковь и капуста.

В полном порядке  
И сад, и ограда.  
Дедушка рад,  
Ну, и бабушка рада.

Выйдет луна —  
Мы сидим у ворот.  
Кролики в поле  
Ведут хоровод.

Кроличий смех  
Вдалеке разливается...

Жаль, это сон —  
Он всегда обрывается!

## ДЕДОВСКИЙ ПОДАРОК

Как в руках у детворы  
Весел он и ярок —  
Из березовой коры  
Дедовский подарок!  
Он с ребятами весной  
Бродит чащею лесной,  
И cedят в него березы  
Светлый сок — лесные слезы.  
А в июле туесок  
Весь окрашен в красный сок,  
Полон ягодой дикой —  
Земляникой, ежевикой.  
Если осенью в лесок  
Заведет дорожка —  
Заберется в туесок  
Спелая морошка.  
Грузди,  
Рыжики,  
Опята  
Собирались в нем на донце.

Побродили с ним ребята  
В темной чаше и на солнце.

Вот стоит он на песке.  
Чем он полон снова?

Плещет рыба в туеске  
Из ручья лесного.

Что в нем только не бывало —  
В нем ежиха ночевала!

Попадался туесок  
Даже в лапы к мишке —  
Разбежались кто как мог  
По тайге мальчишки.  
А медведь на кочку сел,  
В туеске морошку съел  
И пошел напиться  
Из ручья водицы.

Да,  
Немало туеску  
Впопыхах досталось.  
Много меток на боку  
За лето осталось.

А зимою он на полку  
Забирается в повети.

Там хранит он втихомолку  
Память о минувшем лете.

# СТИХИ О МАРТЕ МЕСЯЦЕ

В марте снег блестит.  
За окном светло.  
На меня глядит  
Первое число.

Я от вас не скрою —  
В марте люблю мне  
И число второе  
С третьим наравне.

И число четвертое —  
Как стекло протертое!

Пятое,  
Седьмое...  
Все светлее днем!  
Словно кто-то моет  
Небо за окном.

В марте три десятка  
С единицей дней,  
Каждый день приятней,  
Каждый день длинней.

«Это месяц света!» —  
Люди говорят,  
И люблю за это  
Я весь март подряд.

Но скажу вам прямо:  
Мне еще милей

День, когда мне с мамой  
Как-то веселей:

Босиком в пижаме  
Рано-рано встать  
И подарок маме  
Принести в кровать...

Угадали сами  
День любимый мой?

Это праздник мамин —  
Марта день восьмой!

## КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Солнце тихо прошептало:  
— Что ж, пора кончать!  
В небе я шагать устало,  
Лучше лягу спать!

Смолкла шумная береза:  
— Что это, друзья?  
Если солнце мне не светит,  
Буду спать и я!

Соловей вздохнул на ветке:  
— Что это, друзья?  
Не шумит листвой береза...  
Лягу спать и я!

Поводил ушами заяц:  
— Что это, друзья?

Соловья в листе не слышно!  
Лягу спать и я!

Посмотрел вокруг охотник:  
— Что это, друзья?  
Зайцы, видно, все уснули...  
Спать пойду и я!

Вышел месяц,  
Глянул сверху:  
— Что это, друзья?  
Спит охотник,  
Спит береза,  
Нету соловья!  
Зайцы спят!  
А там в окошке  
Виден яркий свет!  
Там не спит какой-то мальчик!..

— Нет! Нет! Нет!  
Уходи, рогатый месяц,  
Не смотри в кровать!  
Мальчик мой глаза закрое,  
Тоже будет спать!



## ДВОЙНИКИ

### ГДЕ ЛУЧШЕ?

Два деда полночью морозной  
Сошлись на улице колхозной.

Трудились оба как могли —  
Два склада рядом стерегли.

Сказал, вздохнув, высокий дед: —  
— Покоя нам с тобою нет!  
Чем лазить по снегу в ночи,  
Вздремнуть бы лучше на печи...  
Люблю понежиться, сосед!  
Что без печей весь белый свет?

— Ну, нет! — сказал  
Короткий дед.—  
Что печка? Печка — вздор!  
По-моему, так лучше нет —  
Зажечь в степи костер.  
Сидишь, бывало, у костра,  
На звезды смотришь до утра,  
Поешь...  
И сердце радо,  
И лучшего не надо!

— А если дождь зарядит? —  
Сказал высокий дед.—  
С огнем он быстро сладит.  
Тогда как быть, сосед?

Тогда, брат, мокни, а терпи —  
 Куда ты денешься в степи?  
 Нет, лучше на завалинке  
 Погреться в день весенний!  
 Сидишь, бывало, в валенках  
 С котенком на коленях...

— Ну, нет! — сказал короткий дед. —  
 Весной быть дома смысла нет.  
 Весною лучше у реки  
 Сидеть, смотреть на поплавки.  
 С реки туман струится,  
 Бьет рыба,  
 Свищет птица...

— А если рыба не клюет? —  
 Сказал высокий дед. —  
 Вернешься — бабка засмеет,  
 Коль в сумке рыбы нет.  
 По мне, так лучше рыбу взять  
 В палатке, на базаре:  
 Сомы иль окуньков штук пять...  
 Жена ухи наварит.  
 Наешься до отвала —  
 И марш до сеновала!  
 Вот где действительно уют!  
 Под крышей ласточки спуют...

— Ну, нет! — сказал короткий дед. —  
 Куда приятнее в обед  
 Вздремнуть на вольной воле,  
 На сенокосе в поле:  
 Натрудишься, приляжешь в стог —  
 Не чувствуешь ни рук, ни ног...

— Работа в лес не убежит! —  
Прервал высокий дед.—  
Всегда нас дело сторожит,  
Хоть молод ты, хоть сед...

— Да перестань ворчать, сосед! —  
Сказал в сердцах  
Короткий дед.—  
Любуйся, брат, пока живой,  
Землю, небом да травой.  
Хорош ли, плох ли белый свет —  
Назад не постучим...

— Что ж,— отвечал высокий дед,—  
Тогда и помолчим!

## **ДЕД И ВНУК**

Волны бродят по морю, стадами,  
И трясут по ветру бородами,  
И на пляж взбираются, шурша,  
Где старик купает малыша.

Блещет иней в дедовых усах,  
А у внука — солнце в волосах.

Вот старик склонился над волной  
И рукой, огромной, как весло,  
Омывает мальчику чело.  
И волна становится ручной:

Медленно на цыпочки встает,  
Лижет внуку бронзовый живот.

Видно, мальчик нравится волне:  
Он ее колотит по спине —  
И волна ложится чуть дыша,  
Обнимая ноги малыша.

## ПОМОРЬЕ

### I

Как дитя на грифельной доске,  
Море пишет слово на песке.  
Пишет и стирает строчки влажные,  
Вспоминая что-то очень важное.

Ледники когда-то с гор сползали,  
Много сказок морю рассказали.  
Много рассказали облака...  
Чтобы вспомнить все, нужны века.

Звезды морю издали мигают,  
Тоже что-то вспомнить помогают.  
Мы сидим, как старые друзья:  
Море, звезды, облака и я.

### II

Живут у моря рыбаки.  
Поднявшись на рассвете,  
Уху готовят из трески,  
Плетут и чинят сети.

На море невода трясут  
И жирных рыб в избу несут.  
В избе — жестяная посуда,

Ведро с водой, охапка дров,  
Приемник на столе, как чудо,  
Доносит шумы городов.

Над острой крышею избы  
Седые тучи морщат лбы,  
Верхушки сосен задевают  
И важно мимо проплывают.

Гуляют волны по камням  
И счет ведут ночам и дням:  
То наступают в час прилива,  
То вспять бредут неторопливо,  
Ворочаются и ворчат...

И молча из воды торчат  
Большие глыбы — валуны  
И видят  
Каменные  
Сны.

## ЛЕСОВИК

Ах, летний день так долго!  
Два месяца подряд  
В избе игрушки с полок  
На белый свет глядят.

Глядят, прищурясь, кони,  
Матрешки и павлины —  
Веселые тихони  
Из дерева и глины.

А дед в избе стругает  
Березовый брусок,

То прялку вырезает,  
То чинит туесок.

Вот вновь за стружкой стружка  
Из-под ножа летят —  
И новая игрушка  
С другими встала в ряд.

У новенькой игрушки  
Мохнатенькие ушки,  
Большая голова...  
Так это же сова!

Глядят, смеясь, игрушки  
На нового жильца.  
А дед идет, садится  
На лавку у крыльца.  
А свет вокруг струится,  
Струится без конца!  
Высокие деревья  
Шумят над стариком.  
Невдалеке — деревня  
На берегу морском.  
Оттуда по дороге  
Пылят ребячьи ноги:  
Мальчишки по песку  
Бегут к лесовику.

Перед крыльцом избушки  
Садятся на траву.  
Дед раздаёт игрушки:  
Медведя и сову.

Ребята убегают...  
И снова тишина.

Хозяин засыпает  
На солнце у окна.

А день все длится, длится...  
Сверкают небеса.  
И деду море снится,  
И камни, и леса.

Шумят вершины бора:  
«Пора и совесть знать!  
Мы ждем тебя, что скоро  
Придешь к нам помирать.  
Ты словно камень — древний,  
И весь, как мох, седой...»

И дед во сне деревьям  
Кивает бородой.

# **КАК ДОЖИВУ ЛЕТ ДО СТА**

Как доживу лет до ста —  
Вот жить мне будет просто!

Не буду я по пустякам  
Грустить и волноваться  
И за советом к дуракам  
Не буду обращаться.

Не буду денег занимать —  
Мне будет пенсии хватать.

Тогда объеду я весь мир:  
В Париж отправлюсь,

На Памир  
И на Луну в ракете...

Войду в ракету, мне тотчас  
Уступят место дети.

Учить я, люди, буду вас,  
Как надо жить на свете!

Скажу, к примеру:  
— Не по мне  
Трястись в машине по Луне!  
Куда полезней с рюкзаком  
Пройтись по всей Луне пешком.  
Планета тоже мне — Луна!  
Мы Землю исходили...—

Вздохну я: — В наши времена  
Сильнее люди были! —  
И все, молчание храня,  
С почтеньем слушали б меня.

...А если кто-нибудь махнет  
Рукой и вдруг заспорит?

Еще вдобавок упрекнет:  
Пора, мол, в крематорий!

Никто к тому же — вот беда! —  
Нахала не осудит...

Но я надеюсь, что тогда  
Таких людей не будет.



## ПОЧТАЛЬОН

Он ходит целый день пешком  
И письма всем вручает,  
И почтальона каждый дом  
По-своему встречает.

С утра он в здании большом  
Бывает, как обычно,  
Но почтальона этот дом  
Встречает безразлично.

Здесь письма в дело подошьют  
Спокойно, без волненья.  
Но в этом доме не живут —  
Здесь просто учреждение.  
А почтальон опять пешком  
По улице шагает,  
И почтальона каждый дом  
По-своему встречает.

У нас в квартире, например,  
Всегда он гость хороший:  
Бежит навстречу пионер  
И хлопает в ладоши.

Отец у Коли капитан,  
Он в плаванье все лето,  
Он марками различных стран  
С дороги шлет приветы.

Все дальше почтальон пешком  
По улицам шагает,  
И почтальона каждый дом  
По-своему встречает.

Вот в этом доме  
На звонки  
Студентка выбегает.  
Рвет письма тут же на клочки,  
Их даже не читает.

И понимает почтальон,  
Что здесь порвалась дружба.  
Сюда и не ходил бы он —  
Обязывает служба.

Но есть один  
Заветный дом,  
Любимый почтальоном.  
Забор высокий под окном  
Увит плющом зеленым.

С утра сегодня почтальон  
Проделал путь немалый.  
В аллею сада входит он  
Немножечко усталый.

Идет к знакомому крыльцу.  
Его старик встречает...  
Но почему же он жильцу  
Конверта  
                    не вручает?

Ты видишь: он заходит в дом.  
Он дружит с адресатом.  
Поговорить им есть о чем,  
Двум старикам усатым...

Тут мы оставим стариков.  
Сказать вам по секрету —  
Ждут оба писем  
От сынков,  
А писем что-то нету...

## ДВОЙНИКИ

### I

Таежный бор вдруг узнает  
В избе свое лицо —  
Шумит, на цыпочки встает,  
Подходит под крыльцо.  
Глядит он с древнею тоской  
На странный свой портрет,  
Где стал он балкой и доской  
Назад с полсотни лет.

Он в бревнах чувствует стволы,  
Но крыши кривизна  
И в лапу острые углы —  
Какая новизна!

И смутно вспоминает бор  
Давнишнее явление:  
Пришельца и его топор  
И творчества мгновенье...

### II

Изба на этот лес большой,  
На веток наважденье  
Глядит и узнает душой  
Свое происхождение.

Когда натоплена изба  
И жар ползет в углы,  
Лесная в ней живет судьба  
Дыханием смолы.

И скрипом струганых полов  
Живет в ней тот же лес,  
Певучей скрипкою стволов,  
Встающих до небес.  
Особый придает ей вес  
И гордости немножко  
Стекло, когда глядится лес  
В прозрачное окошко...

## ТИШИНА

Ты думаешь, что тишина  
Бывает звуков лишена.

Ты думаешь, она мертва  
И ей неведомы слова.

А кто же с нами говорит,  
Когда в ночном костер горит?

Кто шепчет тихие слова,  
Когда колышется трава?

Кто прозвенит то стрекозой,  
То комаром в тени лозы,

Тревожит нас перед грозой  
И удивляет в час грозы?

Недремлющая тишина  
 Всегда по-разному слышна!  
 Но оглушает тишину  
 Гудок,  
 Летящий в вышину,  
 Хор птиц,  
 Встречающих рассвет,  
 Весь пробуждающийся свет...  
 И кажется, что тишина  
 И в самом деле  
 Не слышна.

# **КТО ОЧЕНЬ БОЛЕН**

Кто очень болен, к тому игрушки  
 Приходят прямо в кровать,  
 И молча рядом лежат на подушке,  
 И тоже не могут встать.

Кто очень болен, тот ночью бредит:  
 Он видит, как в темном саду  
 Едет кошка на велосипеде...  
 Он видит это в бреду.

Кто очень болен, любить медицину  
 Обязан, хоть плачь не плачь.  
 К нему остукивать грудь и спину  
 Приходит знакомый врач.

Кто очень болен, глотает микстуры,  
 Пилюли и порошки:  
 Зеленые, желтые, белые, бурые —  
 Даже, если горьки.

Кто очень болен, тот понимает,  
Кто самый хороший друг,  
Когда приходят папа и мама  
И рядом садятся вдруг.

## **ЧЕРНО- БЕЛАЯ КОШКА**

Черно-белая кошка  
(Знает себе, что красавица!)  
Смотрит, прищурясь немножко,  
И все ей вокруг не нравится.  
Брезгливо она касается  
Пола, травы, земли  
(Как это люди, оказывается,  
Плохо вокруг подмели!).  
С вечера она рыщет  
В зарослях лопуха.  
В душе она старый хищник,  
Древний, как облака.  
Всю ночь у нее бессонница  
(Влияет на кошку луна).  
Все кажется ей, что гонится  
За диким оленем она.  
А вокруг лопухи да картошка,  
Кроты, воробьи, человек...  
И возмущается кошка:  
Как измелечал наш век!  
Презрительно ранней ранью  
Скребется она домой  
И долго спит под геранью  
На коврике с красной каймой.  
И снова ей снятся олени,  
И рыбой кишаший брод,

И над тайгой, в отдаленье,  
 Рыжее солнце встает.  
 И она во сне тоже рыжая,  
 А вовсе не черно-белая,  
 Неразличимая, и неслышная,  
 И такая смелая-смелая!  
 В реке она ловит лосося  
 (Не трогая мелких рыбок),  
 И прыгает прямо на лося,  
 Впиваясь ему в загривок,  
 И, лязгая челюстью острой,  
 Начинает во сне пирушку...

А сама похожа на пеструю  
 Залатанную подушку.

## СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙКИ

Люблю я этот старый дом!<sup>5</sup>  
 Поветь, где всходишь, как по трапу,  
 Седую кровлю с петухом  
 И стены, срубленные в лапу.

Дом встал на круче, как дворец,  
 И пялит на тайгу окошки.  
 Над ним, на палке, в доме-крошке  
 С семьей своей живет скворец.

А в старом доме нет детей;  
 Пыль на полу, сухом и гуяком,  
 Да запах сена и сетей  
 По лесенкам и закоулкам.

Огромный дом почти что пуст,  
За сутки не с кем молвить слова.  
Лишь колокольчиком корова  
Звенит да слышен сена хруст.  
Старуха, возвратясь с работы,  
Скрипит ступеньками крыльца —  
Но у нее свои заботы,  
Ей, как всегда, не до жилья.

А в горнице светло и тихо.  
Лучи — пылинок перепляс.  
Да ходики стенные лихо  
Отстукивают поздний час.

На стенах — куколки из пробок,  
Сухие сети на полу.

Кружок из спичечных коробок  
Висит на зеркале в углу.

Кровать с подушечной горою,  
В геранях тесное окно...

И странно — кажется порою,  
Что в доме я давным-давно!

Скажите, солнечные зайки,  
Цветы, игрушки на гвоздях,  
Не надоед ли я хозяйке,  
Не засиделся ли в гостях?

Но дом молчит. Молчит дорога.  
Молчит речной широкий плес.  
И солнце щурится нестрого  
Сквозь лапы елей да берез.



## ЛЕДОХОД

Река, вздохнув, сломала лед,  
И льдины двинулись в поход.

Среди весенних берегов  
Их шум велик и бестолков.

Им отдана на миг река,  
А им бы землю  
На века —  
С разбегу берег занимать,  
Мосты сносить,  
Суда ломать,  
Заковывать в броню из льда  
Поля, деревни, города...

Но льды плывут, и тают,  
И попусту мечтают!

И им вослед по берегам  
Несется громкий птичий гам.

Глядят на них все веселей  
Проталины среди полей,  
Леса, да пашни черные,  
Да изб коньки узорные...

И льдины ежатся, спешат,  
Грызут друг друга и крошат.  
И станут все однажды днем  
Волной, туманом и дождем.

# О ЧЕМ ДОЖДЬ ГОВОРIT

Ты слышишь монолог  
Осеннего дождя?  
Закрыв он лес и лог,  
Вплотную подойдя.

О чем же он вздохнул  
Нам хочет рассказать?  
Вон крыша морщит лоб,  
Стремясь его понять.

Дождь — скрытный старичок:  
О солнце он — молчок!  
И о луне — молчок!  
И о звезде — молчок!

Зато бубнит с утра  
Он о других вещах:  
Что выходить пора  
В галошах и плащах.

Что стал тоскливым пляж.  
Что хватит загорать!  
Что ждет нас карандаш  
И белая тетрадь.

Прислушайся к нему  
И наберись ума:  
Бормочет дождь сквозь тьму,  
Что на носу — зима!

## ЗАБЫТЫЙ ДЕД-МОРОЗ

В темном доме, где ставни закрыты,  
Под весенние шорохи верб,  
Дед-мороз, на окне позабытый,  
Смотрит в щелку на солнечный сквер.

Он игрушечный дед, он из ваты,  
Он такого еще не видал,  
Чтоб за окнами снег ноздреватый  
На глазах у него пропадал.

И снежинки — куда они делись?  
Удивляется дед: — Ну, дела!  
Все деревья в игрушки оделись,  
А зеленая елка гола!

Ни орехов, ни звезд на ней нету...  
Что случилось, покуда я спал?  
Видно, я на другую планету,  
На другую планету попал!

## СЕТЬ

Она была растением в поле,  
И нитью плотного клубка,  
И сетью станет поневоле  
В корявых пальцах рыбака.

Петля к петле,  
Петля к петле,  
Он вяжет нить суровую.

И вот однажды на земле  
Раскинет сеть готовую.

Сеть попадет в морскую глыбь  
И оживет, задышит,  
Когда впервые стаю рыб  
Внутри себя услышит!

Потом сушиться будет сеть.  
Сеть будет в воздухе висеть  
На длинных кольях, над землей,  
Блистая рыбьей чешуей.

Порой в ней промелькнет звезда  
Иль водорослей борода...

Но старятся и сети,  
Как все на этом свете!

Вода морская сеть разъест,  
В ней нити станут рваться,  
И с глубиной подводных мест  
Придется ей расстаться.  
И сеть порежут на куски  
И сделают  
Половики.

И непривычная к теплу,  
Задавленная горем,  
Сеть будет сохнуть на полу  
И долго пахнуть морем.

## ТЕНЬ

Был погожий летний день,  
Солнце припекало,

И от самолета тень  
По земле бежала.

Без дороги,  
Прямо,  
По буграм  
И ямам,  
Через воду  
И песок,  
Через поле и лесок.

Где еловые иголки  
Задремали на весу,  
Ни одной иголки с елки  
Не стряхнула тень в лесу.  
Потому что легче тени  
Ничего на свете нет.  
Не примнет она растений,  
Не стряхнет с рябины цвет.  
Но, хотя у тени длинной  
Два распластанных крыла,  
Все же в небо за машиной  
Тень подняться не смогла.  
По траве,  
По копнам сена,  
По заборам,  
Крышам,  
Стенам,  
То прямая,  
То кривая,  
Тень мелькает,  
Как живая.

Приземлится самолет —  
Тень под крыльями уснет.

## КАРТОФЕЛЬНОЕ ПОЛЕ

Ежегодно осенней порою  
Отцветает картофель на круче.

Поднимается поле горою,  
А на поле спускаются тучи.

Там подсолнух торчит неуклюже,  
Ярко-желтый на небе лиловом.

А под кручей в серебряной луже  
Жук плывет на листочке дубовом.

Шампиньоны растут у колодца,  
В черный сруб головой упираясь.

Ручеек по-осеннему льется,  
Неохотно в траве пробираясь.

Бродит белый бычок на приколе.  
Из села тянет шами да хлебом.

И цветы на картофельном поле,  
Лиловые, сливаются с небом.

## МАЯК

У края северной земли  
Маяк встречает корабли.

Вокруг лишь каменные лбы —  
И больше ничего.

И нет ни у кого судьбы  
Такой, как у него:

Весь век в разлуке пребывать,  
Весь век встречать и провожать,  
А все стоять на месте —  
Легко ль, скажи по чести?

Терпеть полярный долгий мрак  
И берег неудобный...

Но все ж маяк  
И здесь — моряк,  
Хотя и сухопутный!

## БЕЛАЯ НОЧЬ

Солнце и звезды горят до утра  
В бледном соседстве луны.  
Вьется бесцветное пламя костра,  
Ночью не спят валуны.

Море не спит, реки не спят,  
Тихо струится вода.  
В белую, белую ночь  
Мне не уснуть никогда.

Вижу в тумане я детство мое —  
Бродит на том берегу.  
Но возвратить не могу я его  
И позабыть не могу.

Море не спит, реки не спят,  
Тихо струится вода.  
В белую, белую ночь  
Мне не уснуть никогда.

## РЕКА И ПАРОХОД

По речке Свидь  
Из года в год  
Ходил «Никитин» — пароход.

Друзей я лучших не встречал!

Когда вставал он на причал,  
Река волной плескала  
И пароход ласкала.

Непроходимые леса  
Росли в речной округе.  
Издrevле шли здесь карбасá  
И парусные струги.  
А пароходик был один —  
Он дожил с речкой  
До седин.  
Хоть гладко было не всегда —  
Неровно годы шли:  
В иные знойные года  
Сидел он на мели.

(Зато и погулял в разлив  
По заливным лугам!)  
С годами стал он терпелив,  
Привыкнув к берегам.

Река любила старика,  
Его степенный ход...

Казалось, будут жить века —  
Река



И пароход.  
Но речка не стареет век,  
А пароход — что человек:  
Года, как груз, над ним висят  
И рухнут лет под шестьдесят.

Недавно,  
Раннею весной,  
Здесь появился гость иной.  
Красивой мачтой хвастаясь  
И задирая нос,  
Гудком веселым здравствуясь,  
Пересекал он плес...

И, притаясь,  
Исподтишка,  
Смотрела на него река.

## ПОБЕРЕЖЬЕ

Как побережье ладно скроено,  
Хотя и на песке построено!

Кем выведена эта кладка?  
Гора,  
Тропы витая складка,  
Колонны сосен  
И вода...  
Зовите мастера сюда!

Пусть он скорее даст ответ:  
Как выстроен его рассвет?  
Пусть принесет на заседание

Растенья, воду, воздух, камень —  
И всех научит строить зданья,  
Увенчанные облаками!

## СТОГА

Пробирается в осоке  
Неширокая река.

Зелены да невысоки  
Протянулись берега.

Здесь порой со свистом косы  
Выбегают на покосы —  
И на бритые луга  
Собираются стога.

И опять вокруг покой.  
Кружит ястреб над рекой.

Острым кончиком Стожары  
Подпирают облака.

Как далекие пожары,  
Светят зори.  
Спит река.

И в пустом раздолье луга,  
В отдаленье друг от друга,  
День и ночь стога грустят,  
*Словно встретиться хотят.*

## ПАРОВОЗ

Весной по дороге родимой  
Он мчится как одержимый.

Лохматый, седой, коренастый —  
Он дышит неровно и часто.

Быть может, сбежали вагоны  
И где-нибудь с краю пути  
Пасутся на пойме зеленой,  
А он их не может найти?

У города ли на пороге  
Здоровается по привычке?

А может быть, с этой дороги  
Прогнали его электрички?

Кружатся весенние дали,  
Встает над землею рассвет...

А вы паровоз не видали —  
Работает он или нет?

## УЛЫБКА

Я помню, как слезами обливался,  
Когда я в детстве с матерью прощался.

С отцом прощаться — слезы не к лицу:  
Заочно я заплакал по отцу.

Две-три слезы я в землю обронил,  
Когда потом я друга хоронил.

Ты не сердись, что я скупее стал:  
Все слезы я давно уж промотал.

Единственное я храню наследство —  
Улыбку, мне оставшуюся с детства.

## ПОСЛЕДНЕЕ ЯБЛОКО

Ветрами наземь сбита,  
Листва в саду шуршит.  
А яблоко забытое  
На яблоне висит.  
Скрипят деревья черные:  
«Да падай же, пора!»  
Но яблоко упорное  
Опять висит с утра.

Висит оно, качается,  
И осень не кончается.

## ЧЕТЫРЕ СЕСТРЫ

Семью из четырех сестер  
 Давно мы знаем с вами.  
 О них сегодня разговор  
 Я поведу стихами.

### ВЕСНА

На круглую голову ивы  
 Похожа весны голова!

С рассветом шаги торопливы  
 В земле раздаются едва.

Чего ни коснется — там чудо:  
 Вот лед ей вдогонку вздохнул,  
 Вот лист неизвестно откуда  
 На старой коряге сверкнул.

Ей нравится только начало,  
 Ей некогда кончить дела.  
 Но как бы земля заскучала,  
 Когда бы она не пришла!

Спешите, спешите, спешите  
 Увидеть ее за углом!  
 Портреты весны напишите  
 Фломастером или углем!

Но не совладать с ее позой,  
 На месте весна не сидит.

То в сумраке вспыхнет березой,  
То первым скворцом пролетит.

То трактором выйдет на пашню,  
А станешь его рисовать —  
Уж станет мгновение вчерашним,  
И лучше рисунок порвать.

Художнику сложновато  
Узреть ее глазом простым:  
Как циркуль — весна угловата!  
Она грациозна — как дым!

## ЛЕТО

По полям, по лугам,  
В море света —  
Что за шум, что за гам?  
Это — лето!

От его громких слов  
И от смеха  
По лесам меж стволов  
Бродит эхо.

Дан сестре этой дар:  
Облик ладный  
И на коже загар  
Шоколадный.

Голова ее чуть  
Бесшабашна:  
С гор в ущелье взглянуть  
Ей не страшно!

Там, где может весна  
Простудиться —

Взять ракушки со дна  
Не боится!

Но зато работаща  
Сестрица:  
Любит лето в полях  
Потрудиться.

Лето все —  
Как окно нараспашку!  
А похоже оно  
На ромашку.

## ОСЕНЬ

Я слышу шум  
И шорох на пороге...  
Ах, это осень  
Вытирает ноги.

Я люблю ее давно,  
Гостью дорогую.  
Как заглянет мне в окно —  
И не жду другую.

— Здравствуй, осень! — говорю  
Осени с почтеньем.—  
Хочешь, чаю заварю,  
Угощу вареньем?

Любит осень посидеть  
Рядом с самоваром.  
У самой — красны, как медь,—  
Щеки пынут жаром.

Любит осень платья шить,  
Хлопотать по дому.  
Любит в поле ворошить  
Желтую солому.

Любит вволю погрустить  
И поплакать вволю,  
На закате побродить  
По пустому полю.

Или лечь спиной к костру,  
Даль окинуть оком  
И весну, свою сестру,  
Вспомнить ненароком.

Любит песни распевать,  
Сердцу потакая.  
Что ж! Не надо ей мешать,  
Раз она такая.

Все ей, осени, под стать.  
А как натrudится,  
В белоснежную кровать  
Любит завалиться.

## ЗИМА

Хоть богат ее наряд,  
Но зима не лето:  
С головы до самых пят  
В белое одета.

Что серьга на ней, что брошь —  
Кто им цену знает?  
У нее что ни возьмешь —  
Все в руке растает.



Что она суровый друг,  
Даже птицы знают —  
Все по осени на юг  
К морю улетают.

Но зато она мудра,  
Эта старшая сестра!

Нацепив на нос очков  
Голубые льдышки,  
Любо ей до петухов  
Погрузиться в книжки,

Нюхать пыльные тома...  
И поэтому зима  
С детства близорука:  
Ей близка наука.

Глянь на снег под микроскоп —  
Все в нем симметрично!  
И на улице сугроб  
Выстроен отлично.

На него звезда из тьмы  
Смотрит одиноко...  
Знаю — сердце у зимы  
Спрятано глубоко!

И исходит от самой  
Ледяное жжение.  
Не замерзнет тот зимой,  
Кто всегда в движенье.

Ну, а часик посидишь  
С нею на крылечке —  
Как котенок убежишь  
Греться возле печки.

## О ЧЕМ БЕСЕДУЮТ ВЕТРЫ

На перевале где-то,  
Невдалеке от звезд,  
Сидят четыре ветра:  
Зюйд,  
Норд,  
Вест  
И Ост.

Всю ночь у них беседа  
Под звездами идет —  
Всю ночь там до рассвета  
Гудит, сквозит, метет...  
Вот, слышу, в полный рост  
Поднялся ветер Ост:

— Да, с техникою, братья,  
Не просто стало жить!  
С утра пошел искать я,  
Где силы приложить.

В морях ветрам крылатым  
Работы не нашли!  
Теперь в почете атом,  
Он движет корабли.

Где парусные снасти?  
Все в прошлое ушло...  
Бывает все же счастье —  
Мне нынче повезло.

Я в Индии по дюнам  
Дул, огибая мыс.  
Смотрю — под носом шхуна,  
Откуда ни возьмись!

Бывают же на свете  
Такие чудеса:  
Из дерева и меди!  
•И сверху паруса!

Упруги и пузаты,  
Как в детстве я знавал.  
Я в парусах когда-то  
Отлично завывал!

Ну, сел я ей на пятки,  
Гоняя по волне,  
И дул, и дул — аж сладко  
В гортани стало мне...

Три ветра зашумели;  
— Не верим! Поклянись!  
Неужто в самом деле?  
Вот это, братья, жизнь!

И снова до рассвета  
Гудит, сквозит, метет —  
Всю ночь в горах беседа  
Под звездами идет.

Взял слово ветер Вест:  
— Я к вам из дальних мест!

Вчера за самолетом  
Погнался я на спор.

Но не догнать его нам —  
Отбрил меня мотор!

В Голландии отстал я:  
Пусть, думаю, летит...  
Смотрю — ветрянка старая  
Над речкою стоит!

Спустился я, прицелился,  
Подняв в реке волну,  
И на старушку мельницу  
Задул, как в старину.

Как весело под крышей  
Болтали жернова!  
Давненько я не слышал  
Подобные слова...

И снова зашумели  
Три ветра: — Поклянись!  
Неужто в самом деле?  
Вот это, братья, жизнь!

И снова до рассвета  
Гудит, сквозит, метет —  
Всю ночь в горах беседа  
Под звездами идет.

Сказал вдруг ветер Норд:  
— Друзья, я нынче горд!  
В Москве бюро погоды  
Я здорово надул! —  
Он усмехнулся в бороду  
И брякнулся на стул.

— За эти шутки бьют! —  
Заметил ветер Зюйд.

Взглянув на брата мельком,  
Он продолжал:— Меж скал  
Я ночью колыбельку  
В лачуге отыскал.

А в колыбельке мальчик,  
Как в старые года:

Лежит, сосет свой пальчик  
И плачет... Вот беда!

А рядом мать уснула,—  
Устала, видно, мать.  
Ну, я под крышу дунул  
И стал дитя качать...

И снова зашумели  
Три ветра: — Поклянишь!  
Неужто в самом деле?  
Вот это, братья, жизнь!

И снова до рассвета  
Гудит, сквозит, метет...

Всю ночь в горах беседа  
Под звездами идет.

## С ГОЛОВЫ ДО НОГ

Человек —  
 Чтобы он мог  
 Действовать отлично —  
 С головы до самых ног  
 Сделан гармонично.

Расскажу-ка я сейчас,  
 Что к чему дано вам,  
 Чтобы впредь никто из вас  
 Не был бестолковым.

### 1. ГОЛОВА

Голова всему венец,  
 В ней начало и конец.

Без нее, сыны и дочери,  
 Не прочтете вы ни строчки:  
 Составлять в уме слова  
 Вам поможет голова.

Объяснит вам без запинки  
 В книжке разные картинки.  
 Вам подскажет голова,  
 Сколько будет дважды два.  
 Как найти дорогу в море,  
 Как помочь другому в горе,

Как быстрее решить задачу,  
Как проверить в кассе сдачу,  
Как зажечь в квартире свет —  
Голова дает ответ.

Голова на нашем теле  
Верховодит в каждом деле.

Постарайтесь же, ребятки,  
Содержать ее в порядке.  
Пополняйте в ней запас  
Каждый день  
И каждый час.

Хорошо с ней жить, ребята,  
Если в ней ума палата.  
С головой пустопорожней  
Обходитесь осторожней —  
С ней намучаетесь век...  
Так уж сделан человек!

## 2. НОГИ

Хорошо лететь на «ТУ»  
Или мчать в автомобиле  
На резиновом ходу,  
Плыть на паруснике  
Или...  
Нет! Скажу вам по секрету:  
Лучше странствовать по свету  
Не в телеге, не верхом,  
Лучше нет — ходить пешком!

Ноги всех по свету носят —  
Хитрых, умных, дураков,—

И за это ноги просят  
Только пару башмаков.

Только пару башмаков  
Для серьезных ходоков,  
А ребят погожим днем  
Носят просто босиком.

По песку да по траве,  
По большой дороге —  
Как взбредется голове,  
Так и ходят ноги.

Но, проделав дальний путь,  
Дай ногам передохнуть.  
На траве или на стуле,  
В декабре или в июле,  
На припеке ли, в тени —  
Отдохнут пускай они.

А с дурною головою  
Не видать ногам покою!

### 3. РУКИ

Не затем даны нам руки,  
Чтоб засовывать их в брюки.  
Руки действовать должны,  
Нам в труде они нужны!

### 4. НОС

Вешать можно на гвоздь  
Полотенце и трость,



Лампу, плащ или шапку,  
И веревку, и тряпку...

Но никогда и нигде  
Не вешайте носа в беде!

## 5. УШИ

У меня знакомый был —  
Он об ушах своих  
Забыл!  
Печальней я не знал судьбы:  
Не мыл он уши мылом,  
И выросли в ушах бобы...  
Хоть парнем был он милым.

## 6. ГЛАЗА

Мало под ноги смотреть,  
Чтобы не споткнуться,—  
Нужно иногда уметь  
В мире оглянуться.

Чтобы солнце, поле, рожь  
Вдруг открылись взору.  
Чтобы знать, куда идешь —  
Под гору ли, в гору.  
В самого себя взглянуть:  
С чем ты вышел  
В дальний путь?

Плохо дело, коли в нас  
Нет души живой:

Взгляд пустых и лживых глаз  
Выдаст с головой!

Тем глаза и хороши —  
Это зеркало души.

## 7. ЯЗЫК

Когда дорога неизвестна  
И нету карты под рукой —  
Язык в пути помощник твой,  
Он доведет тебя до места.

Он доведет до Киева!  
Но не трепите вы его  
Никому не нужным словом,  
Разговором бестолковым.

Болтуны и пустомели  
Не достигнут нужной цели:  
Просто скатятся в овраг...  
Им язык не друг,  
А враг!

## 8. ПАЛЬЦЫ

Пальцы дружат с кулаком,  
Чтоб кулак твой стал сильнее...  
Если дружишь с дураком,  
Вряд ли станешь ты умнее!

## 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я скажу вам честь по чести:  
Все на свете трын-трава,  
Если у тебя на месте  
Руки, ноги, голова!

Сам, однако, не зевай:  
Рукам воли не давай,  
Глаза держи открытыми,  
А уши — незащитыми,  
Ногами не стучи,  
Где нужно — помолчи,  
Не суй свой нос  
В дурное дело,—  
Тогда живи на свете смело!

## НАУЧИ, СТРАНИЦА, ХОРОШО УЧИТЬСЯ

*Стихи для первоклассников*

### ТВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ты не маленький ребенок —  
Ученик и октябренок!  
Твой послушный подчиненный —  
Карандашик очиненный,  
И перо стальное,  
И все остальное:  
Букварь,  
Пенал,  
Тетрадки, —  
Держи ты их в порядке!  
Они — твое хозяйство.  
Владей им без зазнайства!

### БУКВАРЬ

Ты в свой букварь  
Впервые вник,  
Читая по складам.  
Потом прочтешь ты  
Сотни книг  
(К сознательным годам).

И ты поймешь —  
Без букваря  
Вся жизнь твоя  
Прошла бы зря!

## ПЕНАЛ

Расскажу я, чтоб ты знал,  
Для чего тебе пенал.

У тебя своя кровать,  
Где ты выпался в тиши,  
А в пенале дремлют сладко  
Перья и карандаши:  
Наработаются лишку —  
Залезают спать под крышку.

## ЦВЕТНОЙ КАРАНДАШ

Карандаши цветные  
Умеют рисовать —  
Трубу,  
Часы стенные,  
Корову  
И кровать,  
Луну,  
Ракету,  
Дождь,  
И дым,  
И сад —  
Зимой  
И летом,  
Лишь надо знать,  
Когда,  
Каким  
Писать все это цветом.

Лиловым и коричневым  
Рисуй дома кирпичные,

Распаханные пашни,  
А красным — флаг на башне,  
А синим — саблю острую,  
А всеми,  
Вместе взятыми,  
Толпу народа пеструю,  
С шарами и плакатами,  
Космический пейзаж  
Иль просто —  
Ералаш.

Все рисует  
Карандаш,  
Когда ему  
Работу дашь.  
Но сам без дела  
Не сиди:  
Карандашом  
Руководи!

## **ПЕРО И РУЧКА**

Никогда не расстанутся  
Чашка чайная и блюдце,  
Или дужка и ведро,  
Или ручка и перо!

Когда живут они отдельно,  
Существованье их бесцельно.

## **ТЕТРАДЬ И ДОСКА**

На доске  
Мы пишем мелом,

Пишем ручкою  
В тетради...  
Несерьезным занят делом  
Тот,  
Кто пишет на ограде!

## **КАК СИДЕТЬ ЗА ПАРТОЙ**

Будь первоклассником сознательным,  
За партою не вешай носа:  
Сядь прямо — знаком восклицательным,  
Но не сиди, как знак вопроса.

## **О ЯЗЫКЕ**

Я с ученицей был знаком:  
Выписывая цифры,  
Она водила языком,  
Кривляясь, будто в цирке.

Нельзя об этом промолчать,  
Ведь это очень грустно!  
Нам дан язык, чтоб отвечать  
Не письменно,  
А устно!

## **ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ**

Ученик ты будешь славный,  
Коль начнешь писать  
С заглавной

И возьмешь в соображение  
Точкой кончить предложение.

Не забудь и знаки прочие:  
Запятую, многоточие...

Знаки препинания  
Нужны нам,  
Как дыхание!

## ХВОСТЫ

Есть хвост  
У падающих звезд,  
И у семян  
Бывает хвост.  
У птиц, у самолета —  
Он нужен для полета.  
Хвостом корова  
Бьет слепней,  
Когда они кусаются.  
Для скорпионов  
Хвост важней:  
Они хвостом сражаются!  
У кошки хвост трубою —  
Она хвостом гордится.  
Но если за тобою  
Плетется «единица»,  
Конец мой будет прост:  
Такой не нужен хвост!



## КОЛЕСО

Вам эту сказку не спеша  
Писал я много дней.  
Плоха она иль хороша,  
Со стороны видней.

Одно лишь я хочу сказать:  
Конца у сказки нет.  
Ее мы сможем продолжать  
И через двести лет.

Но это в будущем.  
Пока  
Начнем ее издавека.

### I

Земля вертелась.  
Время шло.  
Стояло на земле село.

Окружено лесами,  
Отражено в воде.  
Угадывайте сами,  
В каком году и где.

Крестьяне лес под пашню жгли  
И с неводом рыбачить шли.  
И вековал в селе свой век  
Один безвестный человек.

С дубовою рогатиной  
Ходил он на медведей

И свежей медвежатиной  
Одаривал соседей.

Он был большого роста  
И одевался просто:  
Ходил в дерюге и в лаптях,  
С тесьмою в спутанных кудрях.

Ножом из лыка и доски  
Он ловко резал туески,  
Плел сети,  
Сапоги тачал...  
В своей избе он не скучал!  
Мешки с пшеницей волочил  
Он как-то по дороге.  
Совсем он выбился из сил,  
Подкашивались ноги.

Повозкою в те времена  
Служили людям два бревна:  
На бревнах кладь крепили  
И по земле тащили.

Вдруг на окраине села  
Завяз мужик — ни с места!  
Пора осенняя была —  
Грязища, словно тесто.

Неудивительно застрять  
На этакой дороге.  
Сказал бедняк: — Эх, кабы кладь  
Свои имела ноги!..

Мешки до дому кое-как  
Стаскал он на горбу.

Сел и задумался бедняк:  
Как побороть судьбу?  
И сам себе решил помочь —  
Взялся за дело в ту же ночь.  
Окошко на краю села  
Светилось до рассвета.

Шептались на селе: — Дела!  
Не колдовство ли это?..—  
Снаружи кто-то заглянул  
И увидал в окне,  
Как человек  
Березу гнул  
На медленном огне...

Соседям низенькую дверь  
Он отворил весной.  
Сказал соседям он: — Теперь  
Пожалуйте за мной!

И были все удивлены:  
Загородив оконце,  
Стояло что-то у стены,  
Похожее  
На солнце!

Сказали мужики: — Хитро! —  
А мастер на пороге  
Поставил солнце на ребро:  
— А ну-ка, прочь с дороги!—  
И выпустил его из рук.

Вперед оно рванулось вдруг,  
С крылечка простучало  
И, взламывая в лужах лед,  
По улице помчалось.

— Вот это да! — шумел народ...  
И стали люди грузы все  
С тех пор возить  
На колесе.  
Богатый золото возил,  
А бедный — что ни шло.  
Что б человек ни погрузил,  
Все колесо везло.

Со дня рождения оно  
Трудилось, как умело.

Сперва без помощи, одно,  
Под тачкою кряхтело.

Вертелось долго бобылем.  
Но срок настал жениться:  
Колеса стали жить вдвоем  
В тяжелой колеснице.

Как водится на свете,  
Пошли у них и дети,  
И вскоре  
Четверо колес  
Поддерживали целый воз!

Любой они таскали груз:  
Легко несли дубовый брус,  
Муку пушистую в мешках,  
Смолу в бочонках,  
Мех в тюках.

Везли заморские шелка  
И мрамор для дворцов.

Скрипя, везли издалека  
Неведомых купцов.

Да мало ль что везли они!  
Опишешь все едва ли.

Вертелись весело они  
И песню напевали:  
— День да ночь —  
Сутки прочь!  
Мы всегда в дороге.

Мы бредем  
За конем,  
Даром что безноги.

Заклубится пыль столбом,  
Как с горы поскачем!

А как на гору пойдём,  
Тоже не заплачем.

День да ночь —  
Сутки прочь!  
Мы всегда в дороге.  
Мы бредём  
За конем,  
Ни на шаг не отстаём.

2

Земля вертелась.  
Время шло.  
Стояло на земле село.

А где — в середке ль, с краю,—  
Того я сам не знаю.

Крестьяне, жители села,  
Справляли разные дела:  
Пасли коней в округе,  
Гоняли в речке струги.

И вековал в селе свой век  
Один веселый человек.

Чуть свет он с песнями вставал,  
Два жбана взвару выпивал,  
Пыхтя, с крыльца спускался,  
За дело принимался.

Хоть был он толст и лысоват,  
Зато был мастер нарасхват!

Все делал этот человек:  
Строгал оглобли для телег,  
Ковал для ведер дужки,  
Выпиливал игрушки.

Однажды он в телегу сел —  
К соседу съездить захотел.  
Пора осенняя была,  
Неделю с неба лило.  
Неподалеку от села  
Дорогу затопило.

Напрасно мастер дотемна  
Искал на речке броду:  
Куда ни сунься — глубина  
И нет колесам ходу.

Они по мокрому песку  
Трусливо заскрипели  
И вдруг сказали седоку:  
— Ты что же, в самом деле,  
В реке решил нас утопить?  
Не станем мы тебе служить!

— Пойдите,— отвечал седок,—  
Скажу не ради шутки:  
В воде вы сами, дайте срок,  
Заплещетесь, как утки!..

В избушке на краю села  
Не гас ночами свет.  
Кричат соседи: — Как дела?  
Эй, отопри, сосед!

Но человек не отвечал,  
Лишь молотком сильнее стучал.  
Решил молчать и не спешить,  
Чтобы людей не насмешить.  
Оно, конечно, спору нет,  
Пришлось тут повозиться.  
Но ведь недаром с детских лет  
Привык мужик трудиться!  
Пока работал человек,  
Листва в саду опала.  
Засыпал всю избушку снег —  
Одна труба торчала.

Трещал за окнами мороз,  
Гудела вьюга в печке...

Однажды  
С парюю колес  
Спустился мастер к речке.

Под старой ивою, в тени,  
Вошли колеса в реку...  
И с этих пор в воде они  
Служили человеку:

Ковшами воду из реки  
На поле поднимали.

Вертели ткацкие станки,  
По волнам лодку гнали.

Колеса,  
Что ни попроси,  
Охотно исполняли.  
Они вертелись на оси  
И песню напевали:  
— Беспокойный мы народ,  
Мы спешим, спешим вперед!

Нет преграды нам нигде:  
Ни на суше,  
Ни в воде!

Мы рабочие колеса:  
Мелем жито,  
Рушим просо.

Все мы можем,  
Хоть безруки!  
Мы  
Вовек  
Не знали  
Скуки!



Земля вертелась.  
Время шло.  
Стояло на земле село.

Не первое на свете,  
А в нашей сказке — третье.

Тащились мимо по реке  
Баржи и пароходы.

Большие трубы вдалеке  
Курились над заводом.

Вставали жители села  
И принимались за дела:  
В порту мешки грузили,  
На фабрику спешили.

И вековал в селе свой век  
Щеголеватый человек.

Ходил он важный, что твой туз,  
Носил начищенный картуз  
И плисовые брюки.

Был с бородой окладистой,  
Но парень был покладистый  
И золотые руки.

Из трубочки дымит себе,  
Бывало, спозаранку,  
Крепит соседу на избе  
Крылатую ветрянку.

То просто чинит таз худой  
Кому-нибудь за так...

Работой самою простой  
Не брезговал чужак!

Зато и добряком прослыл  
Во всем честном народе...

Однажды он по речке плыл  
На старом пароходе.

Был пароход похож на дом  
С трубой, торчащей косо.  
Вертелись по бокам ребром  
Огромные колеса.

А мастер с мостика вперед  
Смотрел нетерпеливо.  
Сказал он: — Ну-ка, полный ход!  
Что вертитесь лениво?

Колеса застонали:  
— Хозяин, мы устали!

— А мне ползти какая стать?  
Вот я заставляю вас  
Летать!..

Летать заставить колесо —  
Не в чугуне сварить яйцо!

Шло помаленьку дело,  
Но к сроку все поспело.

Дивятся люди — чудеса! —  
Перед избой  
С разбега  
Взлетает прямо в небеса  
Крылатая телега!

Под ветром колесо поет,  
Дрожа от возбужденья...

Так первый в мире самолет  
Справлял свой день рожденья.

А мастер молвил: — Над селом  
Ты кружишься, как птица!  
Но видишь поле под крылом?  
Пора нам приземлиться.

А колесо сказала: — Ну!  
Взлетели, да и все?  
Уж коль лететь, так на Луну! —  
Взревело колесо.

Сказал хозяин: — Что с тобой?  
Иль не довольно ты судьбой?

Тебе сердиться нет причин,  
А плакать и подавно:  
Ты стало в корпусе машин  
Деталью самой главной!

В часах ты вертишься давно,  
Отсчитывая годы.  
Ты мелешь в жерновах зерно  
И движешь пароходы.

Ты в шахтах поднимаешь клеть,  
В турбинах ты вертишься.  
И чтобы на Луну лететь,  
Ты тоже пригодишься.

Когда лететь я захочу  
В пространстве безвоздушном,  
Тебя с собой я захвачу,  
Коль будешь ты послушным...

Друзья!  
Немало довелось  
Мне странствовать по свету.  
Я от вертящихся колес  
Услышал сказку эту.  
А от себя хочу сказать:  
Ее ты можешь продолжать.  
У этой сказки нет конца,  
Как нет конца  
У колеса.

## СЕВЕРНЫЙ КОЛОБОК

Гаснут в небе звезды-свечки,  
Зажигается Восток —  
И оттуда, как из печки,  
Катит Солнце-Колобок.

Поднимается все выше  
По камням да по траве,  
По коньку на острой крыше,  
По небесной синеве.

Он заплещет на волне —  
Вспыхнут камешки на дне.  
Он сквозь чашу прoderется —  
Под сосной медведь проснется,  
Колобку подставит бок,  
Чтоб погрел его чуток.

Колобок повсюду светит,  
Все на Севере заметит:  
Белый парус над волнами,  
Самолет под облаками,  
Гусеницу на листке  
И медузу на песке.

Вот сверкнула в ярком свете  
Чешуя рыбацкой сети.

Вышел на берег помор,  
Встал у моря возле гор,

Загляделся на рассвет,  
Колобку послал привет.

— Друг,— сказал он Колобку,—  
Зиму спал ты на боку!

А теперь у нас в избушке  
Посвети моей старушке.

Посвети в окошко деду —  
Чтобы с внуком вел беседу.

Посвети моей жене —  
Вышивать на полотне.

Освети в тайге дорожку —  
Ребятам собирать морошку.

Мне тихонько посвети —  
К зверю в чаще подойти.

Посвети мне ярко в сети —  
Вынуть семгу на рассвете.

Посильней свети мне ты,  
Чтоб по рекам гнать плоты.

Посвети мне что есть мочи,  
Чтоб светлее были ночи!

— Я,— ответил Колобок,—  
Дело знаю назубок!  
Зиму я поспать не прочь,  
Потому что летом  
Я сверкаю день и ночь  
Незакатным светом!

## СТАРЫЙ ДОМ

I

Дом тот с берега крутого  
Много лет смотрел на свет.  
Был он облика простого,  
Без особенных примет.

Речка, что внизу текла,  
Камни дому отдала.

Лес, хотя и пострадал,  
Сосны лучшие отдал.

Тучи дождь над ним пролили,  
Стены в доме перемыли.

Ветер с солнышком вдвоем<sup>^</sup>  
Высушили крепкий дом.

Даже мху, что на болоте  
Вырос, место в нем нашли...

Дом был славный —  
Плоть от плоти  
Камня, леса и земли!

Весь он — в три своих окошка —  
Жил открыто, на виду;  
В огороде — лук, картошка,  
Одуванчики в саду.

На стене три единицы —  
Номерок под козырьком  
(Чтоб ты знал, как обратиться  
К дому, если незнаком).

Столб под шляпкою фонарной,  
Наклонясь, глядел во двор.  
На воротах знак пожарный —  
Нарисованный багор  
(Чтоб ты помнил, чем соседу  
На пожаре помогать).

Дом умел вести беседу,  
Он не прочь был поболтать.  
Что с того, что от забора  
Век не отлучался дом,—  
Много видел он!  
Ты скоро  
Сам узнаешь обо всем.

И в жару и на морозе  
Было дому все к лицу:  
И сережки на березе,  
Осыпавшие пыльцу,  
И осеннее суконце  
Туч, и ливень, и гроза,  
И рассвет, когда на солнце  
Дом глядел во все глаза.

А бывало,  
И зима  
Так и льнет к нему сама:  
То поземкой заюлит,  
Окна вызвездив морозом,  
То снежинки пышным возом  
Дому на спину взвалит.



Старый дом до самой крыши  
Утопал тогда в снегу.  
Лай собак был еле слышен  
На заречном берегу.  
(Даже звуки в снегопаде  
Притаются под снежком!)  
Каждый колышек в ограде  
Спал под снежным колпаком...

## II

Дом влюблен был в запах мела,  
Клея, красок и холста.  
Что хозяин знает дело,  
Дом гордился неспроста:

Он любил, когда художник  
Выносил во двор треножник  
И крылечко рисовал  
Или дома колдовал —  
То лепил из глины блюдо,  
То для нового этюда  
Холст звенящий грунтовал.

Как он вечером тоскливо  
Без хозяина скучал!

Ждал его он терпеливо  
И взволнованно встречал:  
Мягко проскрипит крыльцом,  
Дверью стукнет аккуратно...  
Сразу видно, что с жильцом  
Поболтать ему приятно!

Не такой уж дом простак!  
Знал он, как друзей приветить.

Старый дом на каждый шаг  
Мог по-своему ответить.  
Мог он радостно, открыто,  
Мог печально отвечать.  
На чужого он сердито  
Мог ступенькой заворчать.  
Мог он крикнуть раздраженно,  
Коль споткнешься о порог.  
Дом порой вздыхал влюбленно,  
А порою был он строг.

Дом хозяину, бывало,  
Жаловался — то на дверь,  
Что рычит она, как зверь,  
То в печи на поддувало,  
То на дым, что лезет в сени,  
А в трубу идти не хочет,  
На капризные ступени,  
На жучка, что стены точит.

Все хозяин вмиг устроит:  
Поддувалу зев откроет,  
Дым прогонит,  
Дверь смирит,  
И ступеньки успокоит,  
И с жучком поговорит...

Как-то он на крышу слазил,  
Ловко сел на ней верхом  
И конек ее украсил  
Деревянным петухом.

Как завидовали дому  
Все соседние дома!  
Что глядит он по-иному,  
Волновало их всяма.

Стали на него коситься —  
 Это что еще за птица?

Дом в ответ взглянул степенно:  
 Мол, не вашего ума!

Пошептавшись, постепенно  
 Успокоились дома...

А однажды в воскресенье  
 Дом растрогался до слез:  
 Человек ко дню рождения  
 Дому деревце привез!

У крыльца береза встала,  
 Тихо глянула вокруг  
 И о чем-то зашептала  
 Дому, словно старый друг.

### III

Часто дом косил к соседу —  
 Старики вели беседу:  
 — С добрым утром! Как дела?  
 Хорошо ль тебе спалось?  
 Я к утру промок насквозь —  
 Крыша снова потекла.  
 Да жучки все беспокоят:  
 Спасу нет, как бревна ноют!  
 Жаль, что время незаметно  
 Убежало за порог.  
 Плохо, брат, что я бездетный,  
 Что хозяин одинок...

(У соседа под окном  
 Девочка в саду играла:

Куклам платьица стирала  
Или бегала с мячом.)

Дом подмигивал соседу:  
— Ты пришли ее ко мне! —  
Сонно слушали беседу  
Две герани на окне,

Хитро слушала сорока  
И котенок у порога,  
Крот прислушался в норе,  
И собака во дворе,  
И береза под окном —  
Как шептался с домом дом.

Мало ль тайн на белом свете!  
И не я за них в ответе,  
Но однажды под стеной  
Слышит дом: — Какой чудной! —  
Вздрогнул он... Сорока с крыши  
Затрещала что есть сил.  
На крыльцо художник вышел,  
Гостью чай пить пригласил.

В доме туфельки затопали,  
А в ответ им двери хлопали,  
Окна зазвенели тоненько,  
Закивали с подоконника  
Удивленные цветы:  
— Отвечай скорей, кто ты —  
Человек или игрушка?

А смеющийся Петрушка  
Чуть не спрыгнул со стола:  
— Это девочка пришла!

Сидя в кресле у стола,  
 Гостья шумно чай пила,  
 Репродукции листала  
 И без умолку болтала.  
 В окнах синева сгустилась.  
 В доме лампа засветилась.  
 Из-за пыльной паутины  
 Глянули со стен картины —  
 Сонные стога в тумане,  
 Лес, березы на поляне  
 И костер на берегу...

Гостья хлопала в ладоши:  
 — Ах, какой ваш дом хороший!  
 Я к вам завтра забегу...

Утром солнышко взошло,  
 Не спеша полезло к югу  
 И до вечера по кругу  
 Стены дома обошло.

— Где ж соседка, в самом деле?—  
 Волновался старый дом.

На березе под окном  
 Листья тихо шелестели.  
 Видно, тоже волновались.  
 И однажды, в октябре,  
 Пожелтели и сорвались,  
 Как листки в календаре.  
 В кадке к донышку вода  
 Припеклась лепешкой льда.  
 Захрапел под домом крот.  
 Грязь застыла у ворот.  
 Иней заблестел на крыше.

Поседела вся трава.  
Под забором еле дышит  
Побуревшая ботва.

IV

На дворе мороз — хоть тресни!  
Стынут окна в серебре.  
Утром девочкину песню  
Дом услышал во дворе:

— Здравствуй, домик с петухом!  
Старый дом, заросший мхом.

Брось ты хмуриться, стена!  
Просто я была больна.

Не гляди ты, дом, сурово —  
Видишь, я вернулась снова!

Здравствуй, темное крылечко!  
Здравствуй, крыша!  
Здравствуй, печка!

Здравствуй, домик с петухом!  
Не подумай о плохом:  
Я тебя не позабыла...—  
А в ответ поют перила,  
Подпевает им ступень:  
— Здравствуй, здравствуй!  
Добрый день!

Старый дом своей судьбою  
Был доволен с этих пор.

Пусть не славен он резьбою —  
Бедность дому не в укор!

Не нужны ему для славы  
Драгоценные оправы  
Белый мрамор иль гранит.  
Дом не этим знаменит.

Дому нужен верный друг  
Да знакомых тесный круг.  
Знать, что крыша не течет,  
Что играют в доме дети, —  
Вот тогда ему на свете  
Честь, и слава, и почет!

Одного жалел он — нету  
Под фундаментом колес:  
Погулял бы он по свету,  
Как заправский паровоз!

Пригляделся бы к домам —  
Как вдали они живут.  
Побывал бы он и там,  
Где их саклями зовут.

Встретился б в пустыне плоской  
Со своим саманным тезкой.  
Поделиться б думами  
С оленьими чумами.

Вдаль путями ровными  
Мчался бы без горя!  
Подышал бы бревнами  
У Черного моря.

А оттуда бы, пожалуй,  
Разрядившись в пух и прах,  
Дом к московскому вокзалу  
Подкатил на всех парах!  
Как он по Москве поскачет,  
Набежит народу тьма!  
Тут от зависти заплачут  
Все высотные дома...

Встал над домом желтый месяц,  
И береза, к стенам свесясь,  
Шепчет: — Спи уж, ради бога!  
Сам от своего порога  
Далеко ли ты уйдешь?  
Растрясешься за дорогу —  
Бревнышек не соберешь!

Так, бывало, старый дом  
Коротал за днями дни.

Под метелью, под дождем,  
То на солнце, то в тени,  
В полусне развесив уши,  
Старый дом стоял и слушал.

Он имел отличный слух!  
Слышал он ночной порою,  
Как танцует под горою  
Легкий тополиный пух.

Как под берегом во мраке  
Бьется лодка на приколе.  
Слышал он, как шепчут раки,  
Как звенит льняное поле.



Как шуршит жучок в соломе,  
Как туман в траве крадется.

Слышал, как в соседнем доме  
Девочка во сне смеется.  
Как под розовой геранью  
Кот мурлычет у окна...

Этим летом ранней ранью  
В спящий дом вошла война.

v

В плену фашистском старый дом!  
Темно и страшно стало в нем.

Пустые комнаты в пыли.  
Зола застыла в печке.

Три одуванчика пришли  
И встали на крылечке.

Кресты на окнах — по стеклу —  
Перечеркнули свет.

Заржавел номер на углу —  
Давно уж писем нет!

Отрезан старый дом войной.  
Живут здесь мыши за стеной,  
Да под стеною хитрый крот  
В бомбоубежище живет.

А мыши не боялись —  
Днем  
По комнатам сновали...

Нашли Петрушку под окном  
И руку оторвали.  
Отгрызли угол у стены  
(Ведь съедены все крошки).

Они на третий год войны  
Привыкнули к бомбежке.

Не раз за это время дом  
Фугасных взрывов слышал гром.  
Фонарный столб уж скоро год  
Лежал в воронке у ворот.

Но дом был, к счастью, цел пока.  
Он в крышу ранен был слегка.

Дом вспоминал друзей своих:  
Что́ на сердце сейчас у них —  
Тревога, грусть или веселье?

Быть может, где-то в этот миг  
Они справляют новоселье?

Иль все они в краю чужом  
Нашли в земле последний дом?

Вдруг взрыв раздался за окном —  
И старый дом увидел в дыме,  
Как, вспыхнув окнами своими,  
Мигнул ему соседний дом...

Тоскливо начинался день!  
Светлело небо понемногу.

В овраги уползала тень.  
 Ручьи стекали на дорогу.  
 Тихонечко вода журчала.  
 Там,  
 У соседа на дворе,  
 На бесприютном пустыре,  
 Труба, как пугало, торчала...

## VI

Кто-то ходит осторожно.  
 Вот полез он на чердак.

Старый дом, гудя тревожно,  
 Отвечал на каждый шаг.

Незнакомец чиркнул спичкой —  
 Тень метнулась под стеной.  
 Видит дом — шинель, две лычки  
 И пилотка со звездой...  
 Дом притих, не понимая:  
 Как попал к нему боец?

Дом весь из конца в конец  
 Обошел боец хромая.

В хламе отыскал подушку,  
 Снова на чердак вернулся.  
 У окна присел. Наткнулся  
 На безрукого Петрушку.  
 Громко над холстом чихнул,  
 Пыль смахнув полой шинели.  
 Смотрит — краски заблестели!  
 Он внимательней взглянул...

На холсте в старинной раме  
Дом смотрелся, как живой:  
Сверху осенен ветвями,  
Снизу оттенен травой.

Весь он — в три своих окошка —  
У бойца был на виду.  
В огороде — лук, картошка,  
Одуванчики в саду.

На стене три единицы —  
Номерок под козырьком  
(Чтоб ты знал, как обратиться  
К дому, если незнаком).

У окна — листва березы,  
И на ветке стрекоза...  
У бойца невольно слезы  
Навернулись на глаза.

Все бывает ненароком!  
Пусть он с домом незнаком —  
Может быть, в краю далеком  
У бойца такой же дом  
И береза у окна...

Что ж,  
На то она война!..

Полночью глухой, незрячей  
Разговор, что лай собачий,  
Вдруг раздался у крыльца.  
Дом предупредил бойца:

Половицами как мог  
Заворчал, когда снаружи  
Толстый немец неуклюже  
Перешагивал порог.

Немец щелкнул автоматом...  
Но боец швырнул гранату —  
На мгновение озарился  
Коридор... Дом изловчился —  
И немца балкою по темени!  
И снова все исчезло в темени...  
Листок испуганный по крыше  
Скатился...

Завозились мыши —  
Газетой принялись шуршать.  
Крот, поворчав, улегся спать.

А дом не спал —  
Настороженный,  
Ловил он каждый шум вокруг:  
Стон березы опаленной,  
Самолета страшный звук,  
Пролетел снаряд со свистом...

Вдоль по улице фашисты  
Пронеслись в грузовиках.

Свет забрезжил в облаках —  
Солнце встало над холмом.

Задрожал разбитый дом —  
Танки вдруг загрохотали...  
Это наши наступали!

Ожил тихий уголок —  
 Шли навстречу  
 Кто с чем мог:  
 Кто с хлеб-солью,  
 Кто с цветами,  
 Кто и просто со слезами.

Глядя на ряды бойцов,  
 Дом искал своих жильцов.

## VII

Я, друзья, сейчас немного  
 В старом доме у порога  
 Посижу и отдохну,  
 Вспоминая про войну.

Ну, а вы пешком пройдитеесь,  
 Дочитаете потом,  
 Да получше приглядитесь:  
 Что вам скажет каждый дом.

Дом порою смотрит косо  
 Через каменный забор.  
 Дом любой начнет без спроса  
 Свой особый разговор.  
 Этот — выглядит убого,  
 Сам судьбе своей не рад:  
 Был он выстроен для бога,  
 А использован под склад.

Есть дома, что отживают,  
 Есть, что начинают жить...  
 В жизни дома все бывает,  
 Только что ж теперь тужить!

Есть дома, величья полны,  
И ступени к ним ведут,  
Словно каменные волны  
Дней, что отгремели тут.

Вот высокие ступени  
Возле мраморных перил...  
Слышал я — когда-то Ленин  
Здесь с народом говорил!

Рядом славою солдата  
Дом похвастаться готов:  
В дни восстания гранаты  
Он швырял под юнкеров.

Вот затейные дома:  
Башни, окна расписные  
Да наличники резные —  
Древность в них живет сама!

Помнит дом такой немало —,  
Дом расскажет, как, бывало,  
До утра, в свечном угаре,  
Пировали здесь бояре.  
Помнит дом и день и час...  
Все он помнит, как сейчас!

Вот пузатый дом-крепыш:  
В нем купец считал барыш.  
Дом нахально влез на площадь,  
Всех соседей растолкав.

А вот этот дом — попроще:  
Не кичлив и не лукав.  
Ржавый флюгер на макушке,

Бело-желтая стена...  
В доме жил когда-то Пушкин.  
Здесь он думал у окна.

Домик с мудрым выраженьем  
Дорог сердцу моему:  
Проходя, я с уваженьем  
*Тихо кланяюсь ему.*

Разные дома бывают!  
Всех домов на свете тьма.

Есть дома, что все скрывают,  
Есть открытые дома.

Есть болтливые старушки —  
Неказистые избушки.

Есть дома кирпичные,  
Есть и деревянные,  
Есть совсем обычные,  
Есть довольно странные.

Есть дома на курьих ножках —  
Три вершка до потолка.  
А бывает, что окошки  
Убегут под облака!

Дом порою, как невеста,  
Смотрит в зеркало пруда...

Всем домам не хватит места  
В повести.  
Но не беда —  
Не обнимешь ведь всего! —  
Хватит с нас и одного.



## VIII

— Здравствуй, домик с петухом!  
Старый дом, заросший мхом.

Здравствуй, крыша!  
Здравствуй, печка!  
Здравствуй, темное крылечко!

Не гляди ты, дом, сурово —  
Ведь остались мы без крова!

Страшно жить на пепелище...  
Приюти ты нас, дружище! —  
Вроде песенка знакома.  
Кто же это возле дома —  
Строгий взгляд, платочек в клетку,  
Темно-русая коса?  
Старый дом узнал соседку —  
Девочку... Вот чудеса!

Рядом с нею мать с отцом.  
Заскрипел старик крыльцом:  
— Заходите поскорей!  
Я без стекол, без дверей!

Сломан пол и ход чердачный,  
Мой хозяин ходит мрачный:  
Опустил он в горе руки.  
Заходите, мы вас ждем...

Через день в веселом стуке  
Снова ожил старый дом!

В старом доме застучали  
Молотки и топоры:

Мол, довольно, помолчали,  
Поскучали до поры!  
Снова взял хозяин кисти,  
Ведро старые почистил,

Краску разную развел —  
В доме красоту навел.

А из девочки былой  
Хлопотунья подрастала —  
Так по дому и летала:  
То с дровами, то с золой,  
Выносила сор с крыльца.

Рядом с ней, держась за платье,  
Семенили следом братья —  
Два курносых близнеца.  
Два румяных карапуза  
Были в первый год войны  
На другом конце Союза —  
На Алтае рождены.

Тесновато в доме стало!  
То и дело он устало  
Охал и скрипел дверьми —  
Хлопотно с двумя детьми!  
Но зато и веселей,  
Дом признал ребят своими.

Сам художник вместе с ними  
Холст грунтует, варит клей.

Привязался к ним, чужак!  
Влез он как-то на чердак,  
Отыскал в пыли Петрушку,

Вычистил да подлечил —  
Близнецам его вручил.

Вон я вижу и сороку —  
И она поспела к сроку:  
Всюду бегает, стрекочет,  
С улицы гостей пророчит.

Старый крот давно женился —  
Сыновей завел и дочек.  
Столько нор нарыл и кочек —  
Сам в них чуть не заблудился!  
И людей не стал бояться:  
Он с семейством — диву даться! —  
Лез нахально прямо в дом...  
Дни текли своим чредом.

Дом в березовых сережках  
Снова смотрит в небеса.  
Вновь отражены в окошках  
Солнце, облака, леса,  
Речка, стадо возле брода  
И кирпичного завода  
Розовые корпуса.

Дом однажды удивился —  
Город рядом очутился!  
Старый дом не спал ночей —  
Сто домов из кирпичей  
Окружили бедняка  
И надменно, свысока  
На сосновый дом смотрели:  
Мол, пора вам потесниться!  
— Что это у вас за птица?

Вы, товарищ, устарели! —  
 Старый дом к березе жался.  
 — Как же так! — он возмущался.—  
 Чем же я не современный  
 С новою телеантенной?

Как мне грустно иногда!  
 Не уехать ли куда?..

Встал над домом желтый месяц,  
 И береза, низко свесясь  
 Над петушьей головой,  
 Шепчет темною листвою:  
 — Спи уж лучше, ради бога!  
 Сам от своего порога  
 Далеко ли ты уйдешь?  
 Растрясешься за дорогу —  
 Бревнышек не соберешь!

Дом, прищурившись на звезды,  
 Погружался в полусон.  
 Под раскидистой березой  
 Заводили патефон.

Люди в доме каждый вечер  
 Долго не ложились спать.  
 Но была однажды встреча —  
 Вот что надо рассказать!

Как-то вечером звонок:  
 Офицер в дверях стоит.  
 Он берет под козырек.  
 — Извините,— говорит,—  
 Осмотреть хочу я дом.  
 Кажется, он мне знаком...

— Дом как дом! — жильцы в ответ.

Говорит военный:

— Нет!

Дом ваш необыкновенный!

Он от смерти спас меня.

Жил я здесь четыре дня.

Рассказал жильцам военный,

Где родился, где бывал,

Как в войну бежал из плена

И как дом его скрывал.

С офицером — примечай-ка! —

Рядом юная хозяйка

Восседала, чуть дыша...

Пара больно хороша!

После, сидя у порога,

Пели песни допоздна.

Никогда еще так много

В доме не пили вина...

Старый дом,

Старый дом

Снова ходит ходуном!

Коромыслом вьется дым,

Дом стал снова молодым.

Занялись в печурочке

Золотые чурочки.

А на них пирог печется,

Вокруг носа запах вьется.

Вокруг носа запах вьется,  
Только в руки не дается!

Ходят лавки, ходит печь —  
Хозяевам негде лечь.

Назвала гостей сорока,  
А хозяевам морока:

Петли ржавые запели,  
Половицы закрипели.

Стекла в окнах задрожали,  
Мыши в норы убежали.  
Не от вражеской фугаски —  
От веселой этой пляски!..

Все звенело в старом доме!  
— Гляньте,— говорил народ,—  
В сто одиннадцатом доме  
Свадьба, кажется, идет.

## IX

Так и жил на свете дом,  
Всякое бывало в нем —  
Разве вспомнишь обо всем!

Но однажды — помнит дом —  
Снег сошел. Весна настала.  
Отшумела ночь дождем,  
Солнце в окнах заблестало.  
Дом и вправду стал моложе —  
Словно скинул двадцать лет.

Что же не встает художник,  
Не идет писать рассвет?

А художник две недели  
Вовсе не встает с постели.  
Хрипло дышит, сдвинув брови.  
Сам белее полотна.  
Не силен он был здоровьем,  
Да к тому ж еще война —  
Рана старая открылась.  
Сердце в нем все тише билось.  
Подойдут к нему соседи —  
Никого не узнавал.  
Близнецов все время звал.  
По ночам бедняга бредил...

То он видел мирный дом  
И березу под окном,  
В птичьем гомоне и свисте  
Распускающую листья.

То вдруг видел он войну, ^  
Видел он свой дом в плену,  
И пожаров дым угарный,  
И немецкий самолет,  
И поваленный фонарный  
Столб  
В воронке у ворот...

Просит он, привстав с постели  
Снять картину со стены.  
Он крепился две недели  
И не пережил весны...

Смерти нам не обминуть,  
Ни в телеге, ни пешком!

Может, мы когда-нибудь  
От нее сбежим тайком:  
Может быть, на Марс поедем,  
Стороной и смерть объедем...

С той поры невесел дом.  
Что-то тихо стало в нем.

Дом не перенес потери,  
Он от горя занемог:  
То сорвутся с петель двери,  
То просядет потолок.

Был он в молодости стойкий,  
А теперь стал вовсе плох:  
От соседней новостройки  
Старый дом почти оглох.

Стал старик подслеповат,  
Щурится зимой во тьму —  
Кажется в метель ему,  
Что цветет весной сад.

Молния блеснет ли рядом,  
Вслед за ней ударит гром —  
Дому кажется: снаряды  
Разорвались под окном.

Скрипнет ночью половица —  
Дому старому не спится:  
Кажется, что немцы рыщут,  
В доме раненого ищут.

Зашуршит ли подорожник  
Средь полночной тишины,



Дому кажется —  
Художник  
Возвращается с войны...

Мало ли еще о чем  
Вспоминает старый дом —  
Обо всем не догадаться,  
Да и время с ним расстаться.

х

Дом тот с берега крутого  
Много лет смотрел на свет.  
Был он облика простого,  
Без особенных примет.

С прочими домами схожий,  
Он — хоть дом без языка —  
Мог беседовать с прохожим,  
Речь ведя издалека:  
Отдымила, мол, бывая  
Жизнь — плоха ли, хороша,—  
Но чиста моя лесная  
Деревянная душа!

Много дней я прожил с вами,  
И не я виновен в том,  
Что не красен был углами,  
А порой и пирогом,  
Что повит не розой белой,  
А березой да травой... .

Да, старик!  
Не в этом дело —

Дело в том,  
 Что весь ты свой:  
 От конька высокой кровли  
 До камней в земле сырой.  
 Вдалеке ты с болью кровной  
 Вспоминался мне порой.  
 Всю ту боль собрав в охапку,  
 После всяческих дорог,  
 Неспроста снимал я шапку,  
 Заходя на твой порог.

На крыльце твоём садился  
 И с волнением смотрел,  
 Как петух твой покривился  
 И как сам ты постарел.

Коротал с тобою ночи,  
 Не сомкнув до утра глаз.  
 Так однажды, между прочим,  
 Записал я твой рассказ.

Не без выдумки, пожалуй,  
 Ну, да кто же не приврет!  
 Что хороший был ты малый,  
 Скажет каждый, кто прочтет.

Пусть не каменное зданье,  
 Век стоял ты молодцом  
 И в минуту испытанья  
 Не ударил в грязь лицом!

Все жильцы для новой жизни  
 Разлучаются с тобой.  
 Может быть, при коммунизме  
 Будет дом у них стальной?

Или весь как есть стеклянный —  
Легкий, прочный, полный света.  
А быть может, дом тот странный  
Будет спутником планеты?

Может, будут близнецы  
Жить в созвездии Тельца —  
Мчаться в дальние концы,  
Чтоб проведать Коринца.

Буду я и сам летать  
В круглом доме из стекла.

Жизнь такая подошла,  
Что всего не угадать...

Так прощай же, друг сосновый  
С покосившейся трубой!

Как нас дом приветит новый,  
Чем сравнится он с тобой?

## ПОЭМА О КОСТРЕ

Я с первых же слов  
Вам секрет свой открою:  
Стихи эти я  
Написал о герое,  
Который отмечен  
Особой судьбой,  
Четыре лица  
Представляя  
Собой.

— Четыре лица  
И один человек? —  
Я вижу, что вы  
Удивились.

— Такого еще  
Не бывало вовек,  
Чтоб четверо  
В ком-нибудь  
Слились!

Но странного,  
Право,  
Тут нет ничего...  
Вы слушайте  
Лучше  
Рассказ про него.

## 1. ОКТЯБРЕНОК

Как-то песню  
Я услышал.  
Пели где-то  
Под окном.  
Голоса вились  
Над крышей  
И влетали  
Прямо в дом:

— «Мы — веселые ребята!  
Наше имя октябрята!  
Мы не любим  
Лишних слов!  
Будь готов!  
Всегда готов!...»

Отодвинул я тетрадку:  
«Что там, — думаю, — за хор?»  
И, надев пальто и шапку,  
Выхожу в осенний двор.

Вижу я:  
Стоит отряд,  
Человек так двести.  
Двести маленьких ребят  
Распевают песни!

Я послушал, насладился,  
И, как только хор замолк,  
Подошел и удивился:  
— Не возьму, мол, что-то

В толк —  
 Что вы затеваете?  
 Праздник ли справляете?

Именинник кто из вас?  
 Или все вы двести  
 В этот месяц, день и час  
 Вдруг родились вместе?

Что такое октябренок,—  
 Говорю я детворе,—  
 Не осенний ли ребенок,  
 Что родился в октябре?

Говорит один малыш:  
 — Я рожден в апреле!  
 Снег тогда сгребали с крыш...

— Правда?

— В самом деле!

— Ну, а я глубокой ночью  
 Новогодней родился!  
 И зовусь я, между прочим,  
 Октябренком!

— Чудеса!

— Ну, а я родился в мае!

— Ничего не понимаю,—  
 Говорю я им в ответ,—  
 В чем же все-таки секрет?

Заявляют мне ребята:  
— Мы танцуем и поем!  
Потому мы октябрюта,  
Что мы весело живем!

Отвечаю я:  
— Прекрасно!  
Все же мне  
Не очень ясно,  
Почему вас так зовут?  
И октябрь —  
При чем он тут?

Рассмеялись октябрюта:  
— Откровенно говоря,  
Мы — особые ребята!  
Мы внучата  
Октября!

Про октябрьские победы  
Ты прочти в календаре!  
Власть когда-то  
Наши деды  
Взяли в руки  
В Октябре!

Говорю:  
— Есть смысл в беседе!  
Ну, а кто —  
Вы знать должны —  
В Октябре привел к победе  
Пролетариев страны?

— Ленин всех привел к победе!—  
Малыши сошлись гурьбой,

Говорят наперебой:—  
Октябренок тем и ценен,  
Что он хочет быть, как Ленин,—  
Истинным большевиком!

Вам герой такой знаком?

## 2. ПИОНЕР

Летели годы над страной,  
Как стаи журавлей.

Весной однажды,  
В выходной,  
Я шел среди полей.

Шагал тропинкой ровной  
На станцию, домой,  
И сосны Подмосковья  
Шли рядом стороной.

Их золотые кроны  
Тянулись к облакам.  
Там черные вороны  
Свой поднимали гам.

Я спиннингом, как палкой,  
Шутя грозил им вдруг...

Я счастлив был рыбалкой,  
А значит, всем вокруг:  
Рекой,  
Дорогой,  
Щукой,  
Надетой на кукан...



А над речной излукой  
Уже густел туман.

Там солнце,  
Уходя с небес,  
За горизонт шагнуло.

Как вдруг я слышу —  
Полон лес  
Ребяческого гула!

Тогда свернул я  
Сквозь кусты  
На горна звук  
Из темноты,  
И вспыхнул предо мной  
Костер,  
Рассыпав искры с силой...

И я спросил:  
— Что тут за сбор?  
Не праздник ли Ярилы?

— Ярила? —

Слышится в ответ. —

А что это за слово?

— Такого пионера нет!

— Нет среди нас такого!

— Есть Александр!

— Иван!

— Хосе!

— Вот девочка Индира!

— У нас тут представляют все

Собой

Почти полмира!

— Вы сами  
Из страны какой?  
И ваш Ярила кто такой?

К костру подходит паренек  
Других повыше ростом:  
— Ярила кто?  
Славянский бог!  
Бог плодородья просто!

Его в старинные года  
Весной иль ранним летом  
Огнем встречали мы всегда  
И пили квас при этом...

— Да ты историк! —  
Я смеюсь,  
И все вокруг смеются.  
Смотрю на паренька: он рус,  
Как солнце кудри вьются...

Спросил он тихо:  
— Октябрят —  
Тех, помните, что пели?

И вдруг узнал я синий взгляд  
Рожденного в апреле!  
Встал в памяти  
Московский двор,  
Листою обосенен.  
И звонкий октябратский хор.  
И Родина. И Ленин...

— Да,— произнес я, как пароль,—  
В Москве, на Красной Пресне...

И над костром  
В ночную смоль  
Опять взлетели песни.

Сухая елка сгоряча  
Стрельнула в нас корой...  
И, уголек смахнув с плеча,  
Промолвил мой герой:  
— Из леса эту елку днем  
Отряд сюда доставил...  
Я здесь командую огнем!—  
Он с гордостью добавил.

Все ярче блеск ребячьих глаз,  
И танцами Кашмира  
Всех завораживает нас  
Чернявая Индира.  
Она ладонью  
В бубен бьет  
И рукавами машет,  
То вдруг присядет,  
То вспорхнет —  
Она как пламя пляшет...

Потом какой-то хлопец вдруг  
Запел об Украине.  
Но вот вошел испанец в круг  
И встал на середине.

О красном знамени он пел,  
О звездах Гвадаррамы,  
И в знак приветствия  
Взлетел  
Его кулак упрямый.

И все подняли кулаки,  
И я, конечно, тоже.  
Мне прямо в сердце угольки  
Вошли  
Сквозь холод кожи.

Пылали галстуки вокруг  
На белизне рубашек.  
Все ярче свет, все шире круг,  
Огонь поет и пляшет.  
Костер как будто вдохновен  
Движеньями Индиры.  
Мрак отступает, опален,  
И круг огня все шире.

Костром растоплен холодок  
Весеннего тумана.

Ребячий хор  
И говорок —  
Все греет без обмана!

\* \* \*

И я,  
Затронув тему  
Об огневой судьбе,  
Пишу сейчас поэму  
О вас  
И о себе!

Свинцом горячих строчек  
Гоню туман и снег!

Пишу о буйстве почек,  
О половодье рек!  
Пишу о яркой озими  
На черной целине,  
О лете,  
И об осени,  
И снова  
О весне!

И холод не рифмуется,  
Он не ложится в стих.  
Пушай. зиме зимуется  
Сейчас в стихах других.

Снег где-то за пределами  
Моих горячих строк.  
Он полосами белыми  
За горизонтом лег.

Когда подуют вьюги  
И кончу я свой труд,  
Другие на досуге  
Стихи мои прочтут.

И скажут: «Славно это!  
Поэма-то светла!  
В ней чувствуется лето,  
В ней светлые дела!

И потому, наверно,  
Строка в ней горяча,  
Что выписаны верно  
Потомки Ильича.

Меж строк в поэме  
Ленин

Глядит сквозь даль времен  
На молодое племя  
Под кумачом  
Знамен».

### 3. КОМСОМОЛЕЦ

Года над суматохой дел  
Мелькали,  
Как зарницы.  
Один раз летом я летел  
Вдоль северной границы.

Летел все дальше на восток,  
И солнце мне светило  
И день, и ночь —  
То в лоб, то в бок —  
И спать не уходило.

Эбвется белой  
В эти дни  
Ночь за Полярным кругом:  
По небу бледных звезд огни  
За солнцем ходят цугом.

Теней здесь нету и следа!  
В дни противостоянья  
Земля, и камни, и вода —  
Все льет свое сиянье.  
Как будто где-то под водой  
Костер горит незримо,  
Зажжен волшебною рукой  
Без копоты и дыма.

Порою рядышком блестел  
Луны прозрачный шарик,

И самолет за ним летел,  
Как маленький комарик.

Жужжал, казалось, сам собой,  
А все внизу молчало:  
Застывший под крылом прибой,  
И краны у причала,  
Буксир и бревна на реке,  
И белых волн обмылки,  
И желтым пятнышком в тайге  
Коробка лесопилки.

На горизонте льды кружат  
В объятиях тумана.  
Четыре острова лежат  
У края океана.  
Чтоб поименно их назвать,  
Не уходя от темы,  
Я вынужден сейчас  
Сломать  
Размер своей поэмы.

Называются эти острова —  
Остров ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ,  
Остров БОЛЬШЕВИК,  
Остров КОМСОМОЛЕЦ,  
Остров ПИОНЕР.

Тот край,  
Где я не раз бывал,  
На острова́ богатый.  
Я б ОКТЯБРЕНКОМ там назвал  
Какой-то остров пятый.

Чтоб этот крошка островок  
В архипелаге братском

Напоминать собою мог  
О детстве октябратском.

Вхожу с ходатайством в ЦК —  
Пусть утвердят название...

Но продолжаю я пока  
Свое повествованье...

Летел все дальше самолет,  
Внизу необозримо  
Тайга, болота, сопки, лед,  
Вода — все плыло мимо.

И мне все это с вышины  
В сиянии безбрежном  
Среди обманной тишины  
Казалось безмятежным:  
Налево океан седой  
И материк направо...

Но не случайно над водой  
Стоит погранзастава!

Тот пункт  
Топограф нам нигде  
Кружком не обозначит.  
Но нам сейчас неважно — где,  
Нам важно — что он значит!

Связав  
И разделив собой  
Твердыню суши и прибой,  
Здесь нить береговая  
Струится как живая.



Захочет океан вздохнуть —  
И может нить перешагнуть  
Медуза  
Иль ракушка...

Но вот шагнул в СССР  
Не просто мистер  
Или сэр,  
А «Человек-лягушка»!

Имел он греющий костюм,  
Особый шлем, и ласты,  
И тренированнейший ум  
Одной шпионской касты.  
Он сильный был и молодой:  
Мог камнем скрыться  
Под водой  
И под объект секретный  
Подплыть вдруг,  
Незаметный.

Готовят кое-где давно  
Таких людей-амфибий.  
Одно — увидеть нам в кино  
Их облик странно-рыбий.  
Другое дело —  
Увидать  
Лицом к лицу живого:  
На черта он,  
Ни дать ни взять,  
Похож!  
Даю вам слово!

Да, справиться с таким врагом —  
Нелегкая работка!

Его к нам подо льдом  
Тайком  
Доставила  
Подлодка...

\* \* \*

Штиль.  
Полночь.  
Неподвижны камни  
И водоросли на камнях.

Приплюснутое облаками,  
Вздремнуло солнце  
В двух шагах  
На синей водяной подушке  
(Под солнцем океан горбат).

Вдоль берега  
Хрустят ракушки  
Под каблуками двух солдат.

Как белой ночью  
Воды ясны —  
Они как сказочный экран:  
Зеленый, желтый, синий, красный  
Сверкает рядом океан.

Бойцы затянуты ремнями.  
Спят автоматы за спиной.

Тропа виляет меж камнями  
У самой кромки водяной.

Порою каменная глыба  
Им закрывает солнца блеск.

Но что это? Плеснула рыба?  
Опять плеснула...  
Странный плеск!

Как будто тяжесть обронили:  
Звук не похож  
На плеск живой!

Два пограничника застыли,  
Как тени,  
Слившись со скалой.  
И только солнце в облаках  
Горит, да сердце бьется часто...

Там кто-то сбрасывает лапы  
И прячет под водой в камнях!

— Стой! Руки вверх! —  
Внезапный выстрел —  
И под скалой боец упал.  
Другой с камней  
Движеньем быстрым  
Метнулся в воду  
Между скал...

\* \* \* .

...Сижу я за столом сейчас  
С начальником заставы  
И слушаю его рассказ:

— Да, все происходило так.  
 Был взят живым опасный враг —  
 Шпион одной державы...

Но капитан хоть деловит,  
 Но сух. Он скупко говорит:  
 Мол, «обнаружен... взяли...  
 Сенсаций нет», и знайте, мол,  
 На что способен комсомол...  
 А мне нужны детали!  
 — Ведь Ледовитый океан,  
 А в воду прыгать нужно!

— Все так,— кивает капитан,—  
 На то она и служба.  
 — Но как его сумел он взять?  
 — Он мастер джиу-джитсу.  
 — Где мне героя повидать?  
 — Отправлен он в больницу.  
 — С ним можно встретиться потом?  
 — Конечно. Это можно...

... И вот вхожу я в низкий дом,  
 Ступая осторожно.

Там надо пропуск получить,  
 Влезть в рукава халата...  
 Но слишком громко там звучит  
 Название «палата».

Геранями на вас глядят  
 Промытые окошки,  
 И под цветами  
 Крепко спят  
 Две северные кошки.

Крыльцо тихонечко скрипит,  
Вдыхают половицы,  
Дымит труба... Так скромн вид  
Той северной больницы!

С природой переход на «ты»  
Пока там не устроен,  
И край тот —  
Вечной мерзлоты —  
Не до конца освоен.  
Тот лед —  
Конечно, не теперь —  
Растопим, может, скоро...

И, постучав,  
Я тихо дверь  
Открыл из коридора.

Лучом в окошко  
Солнце бьет,  
И в крошечной палате  
Боец на костылях встает  
Навстречу мне  
С кровати...

Глядит, преодолая боль,  
И произносит, как пароль:  
— В Москве, на Красной Пресне...

— Да! — узнаю я синий взгляд,  
Я помню — двести октябрят  
Под праздник пели песни!

Встал в памяти  
Московский двор,  
Листвою обоснен.

Хор октябрят. Лесной костер.  
И Родина. И Ленин...

— Садитесь! Вот, на табурет,—  
Он стукнул костылями.—

Подумать только, сколько лет  
Мы не видались с вами!

— Да,— говорю.— Ну, как дела?  
Болит, наверно, очень?

— Теперь-то боль почти прошла,  
А то не спал все ночи.  
Вот брежу, сестры говорят,  
Ловлю огонь руками...  
И все пою... про октябрят...  
Но это между нами!

Фигура вся, хоть был он плох,  
О силе говорила.  
Он предо мной сидел, как бог,  
Как сказочный Ярила!

В палате были мы  
Вдвоем,  
И я сказал:  
— Давай споем?

— Давайте,—  
Улыбнулся он,  
И тихо мы запели.  
И песня та  
Была как сон,  
Как льдинок звон  
В апреле:

— «Мы — веселые ребята!  
Наше имя октябрюта!  
Мы не любим  
Лишних слов —  
Будь готов!  
Всегда готов!...»

.....

Я думал,  
Глядя за окно,  
Где солнце не садилось:  
«Как было все давным-давно!  
Как грустно повторилось!  
И как мне встречу описать?  
И как найти мне средство,  
В своей поэме удержать  
И мужество, и детство?»

А солнце не уходит прочь!  
И незакатным светом  
Сияет,  
Озаряя ночь  
Загадочным ответом...

#### 4. КОММУНИСТ

Летели годы над страной  
Со скоростью ракеты.

Трещал мороз.  
И парил зной.  
Весну сменяло лето.

Я жил. Работал.  
Ездил. Спал.

И между дел однажды  
В московский институт попал,  
В один особо важный.  
Не буду говорить,  
О чем  
Звучали речи в зале.

Я расскажу вам о другом —  
О чем там не сказали.

По лестнице спускаясь вниз,  
В толкучке человечесей,  
Я вдруг услышал:  
— Вот сюрприз!  
Не ожидал я встречи! —  
Смеется кто-то: — Октябрат —  
Тех, помните, что пели?

И вновь узнал я синий взгляд  
Рожденного в апреле!

Встал в памяти  
Московский двор,  
Листою обосенен.  
Костер в лесу. Пограндозор.  
И Родина. И Ленин...

— Да,— произнес я, как пароль,—  
В Москве, на Красной Пресне...  
А здесь твоя какая роль?

— О, здесь другие песни!

И я, взволнован, удивлен,  
Смотрю на человека.



Так вот где оказался он —  
На самом гребне века!  
— Колдуешь? Физик? —

Я пожал  
Протянутую руку.—  
В науку, значит, путь держал?  
— Да,— говорит,— в науку!  
Пройдемся?

Мы с ним вышли в сад...  
Узор ветвей.  
Забор.  
Фасад.

Звенели птичьи голоса  
В кудрявых кронах сосен.

Какой-то летчик  
В небеса  
Вписал нам  
Слово «осень».

Скорлупками  
Златых яиц  
На серебристый иней  
С ветвей листва  
Летела ниц  
Сквозь воздух  
Бледно-синий.

Но дальше вдруг  
Листва росла  
Еще совсем зеленой,  
Как будто осень здесь была  
Навеки запрещенной!

Сюда не доходил мороз,  
И — странно было это! —  
Румянцем неувядших роз  
Остановилось лето.

Нас окружали чудеса,  
Как в сказке, на картинке:  
Здесь вместо инея — роса  
Блестела на тропинке.

Горяч и влажен был песок,  
И — тоже очень странно! —  
Нежнейшей радуги кусок  
Горел в струе фонтана!

— Ну как? —  
Спросил вдруг мой герой. —  
Как объяснить  
Весь этот зной?

Руками я развел, смущен...  
А он в ответ смеется:  
— Не сказка это! И не сон —  
Излишки производства!

Пар и горячая вода  
Нагрели здесь природу;  
От ускорителя сюда  
Ведем мы в трубах воду.  
В саду должна она струей  
Фонтанной охладиться,  
Чтоб к установкам под землей  
Обратно возвратиться...

— Но для —  
Вот мой —  
Эксперименты эти?

— Энергию далеких звезд  
Нашли мы на планете!  
Стоим, как няньки,  
День за днем  
Над солнечною зыбкой...  
Я там командую огнем! —  
Добавил он с улыбкой  
И руку к зданию простер: —  
Быть может, образ дерзкий,  
Но там  
Все тот же мой костер,  
Далекий,  
Пионерский!  
Что весь наш труд?  
Костер живой,  
Прорвавшийся сквозь холод.  
От искры ленинской  
Я свой  
Зажег, когда был молод...

Так мы шагали по траве,  
Увлечшись разговором.  
Чуть слышно мчались по Москве  
Машины за забором.

В саду  
Мы были с ним вдвоем,  
И я сказал:  
— Давай споем?  
— Давайте,—  
Улыбнулся он,

И тихо  
 Мы запели.  
 И песня та  
 Была как сон,  
 Деревья в такт скрипели:  
 — «Мы — веселые ребята!  
 Наше имя октябрята!  
 Мы не любим лишних слов —  
 Будь готов!  
 Всегда готов!...»

. . . . .

\* \* \*

... В холодке осеннего солнца  
 Мы идем с ним рука к руке.

Я с трудом узнаю знакомого  
 В этом рослом большевике.

Где найти мне такие краски —  
 Написать вам его портрет?

За полвека былинных лет  
 Вырос он,  
 Как в чудесной сказке:  
 Встал ногами  
 На дно морское —  
 По колено гребень волны!.

Облака — внизу!

А рукою  
 Достает герой  
 До Луны!

Нарисуй-ка его, поди:  
Для художника  
Подвиг трудный!

Там вода,  
И медные трубы,  
И огонь  
Блестят позади.

Мой герой  
В воде не тонул —  
Просто воду перемахнул!

Мой герой  
В огне не горел —  
Смело смерти в глаза смотрел!

И гремели ему  
Победные  
Трубы медные,  
Трубы медные!

Носит он  
По зрелости лет  
На груди своей  
Партбилет.

В жизни  
С Ленина  
Брал пример  
И поэтому  
Стал велик —  
ОКТАБРЕНОК  
И ПИОНЕР,  
КОМСОМОЛЕЦ  
И БОЛЬШЕВИК!

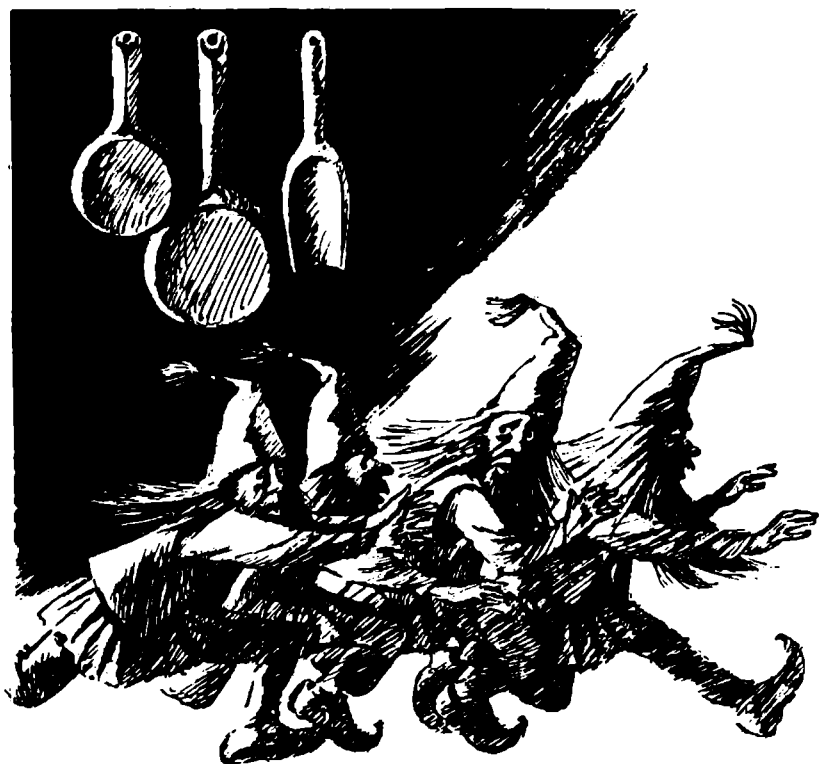
---

... ● ● ● ...

# ПЕРЕВОДЫ







---

**КОЛДУН —**  
**В ЧЕРНИЛЬНИЦЕ**

*Переводы с немецкого*

**РЕГЕНСБУРГСКИЕ**  
**ПОРТНЫЕ**  
*Народное*

В Регенсбурге портные —  
Парни очень чудные,



И это не сказка, а быль.  
Один раз их девяносто  
И девятью девяносто  
Влезли на острый шпиль.

И справили годовщину —  
Поели на даровщину.  
Был пир у них неплохой:  
Там лакомились девяносто  
И ~~девятью девяносто~~  
Жареною блохой.

Когда они так поели,  
Бедняги пить захотели.  
Наперсток, полный вина,  
Пригубили девяносто  
И девятью девяносто  
И напились допьяна.

Пошла тут у них запарка,  
Всем стало ужасно жарко,  
Все были так веселы,  
Что прыгали девяносто  
И девятью девяносто  
На острие иглы.

И так они танцевали,  
Что встанут теперь едва ли —  
Увидеть их нелегко:  
Залезли спать девяносто  
И девятью девяносто  
В игольное ушко.

Я знал одного портного.  
Даю вам честное слово,

Что весил он семь пудов!  
Портные весят не меньше.  
А если кто весит меньше —  
Значит, он нездоров!

## ГЛУПАЯ ЛИЗА

*Народное*

Скачет всадник через луг,  
Подъезжает к мызе,  
Шелковый кафтан на нем,  
Кланяется Лизе:  
— Здравствуй, девица-краса,  
Потанцуй со мною!  
— Жду я в гости короля,  
Скучно мне с тобою!

Юный всадник ускакал.  
Гордым шагом к мызе  
Молодой идет купец,  
Кланяется Лизе:  
— Здравствуй, девица-краса,  
Потанцуй со мною!  
— Жду я в гости короля,  
Скучно мне с тобою!

Скрылся из виду купец.  
Подбегает к мызе  
Стройный худенький портной,  
Кланяется Лизе:  
— Здравствуй, девица-краса,  
Потанцуй со мною!  
— Жду я в гости короля,  
Скучно мне с тобою!

Лиза ждет за годом год.  
 Тишина на мызе.  
 И не видно короля,  
 Чтоб сказал он Лизе:  
 «Здравствуй, девица-краса,  
 Потанцуй со мною!»  
 Стали люди обходить  
 Мызу стороною.

Вдруг идет босой пастух —  
 Юхан Христьян Штоффель.  
 У него предлинный кнут  
 И курносый профиль.  
 — Штоффель, потанцуй со мной! —  
 Гляньте: перед мызой  
 Пляшет, пляшет на лугу  
 Штоффель с глупой Лизой!

**В САДУ  
 НА ГРУШЕ**  
*Народное*

В саду на груше я сидел,  
 Я свеклы накопать хотел.  
 Но в этот миг меня позвал  
 Тот самый дед, чей лук я рвал.

— Ах ты воришка! Что за грех!  
 Опять залез ты на орех!  
 Из-за тебя я до сих пор  
 Не видел спелых помидор!

## ПРИВИДЕНИЕ НА МОСТУ

*Карл Шпиттелер*

Рыдают привидения  
На шумном перекрестке:  
Седой оборванный старик  
И рядом с ним подростки.

— Скажи, папаша, что с тобой?  
Что ты клянешь так слезно?  
Быть может, я могу тебе  
Помочь, пока не поздно?

Обтер он рваным рукавом  
Заплаканные щеки  
И так ответил на вопрос,  
Стон подавив глубокий:

— Мы жили в тепленькой норе  
Под сваями у моста.  
Я честным тружеником был,  
Я скромно жил и просто.

Ах, было время!.. Старый мост  
Держался еле-еле:  
Три балки сгнили, семь других  
Качались и скрипели.

Быки плясали под мостом,  
Как пьяные цыгане...  
Короче, был подгнивший мост  
В отличном состоянии!

А так как наш старинный долг  
Подтрунивать над всеми,  
То я и стал пугать коней  
С моста в ночное время.

От деда это ремесло  
Досталось мне в наследство:  
Секреты все, приемы все  
Отлично знал я с детства!

Впускал я всадников на мост,  
Не трогая вначале:  
Пуškai поют «трали! трала!»  
И скачут без печали.

Тогда по знаку моему  
Мои ребятки смело  
Выскакивали из щелей  
И начинали дело!

Леопль, Клаус и Барабас  
И юркий Сакраненним  
Стегали весело коней  
Прутами по коленям.

Мой Венцель дёргал их за хвост,  
Филипп тянул за вожжи,  
Я щекотал им животы,  
Водя пером по коже.

Тут поднимался топот, визг  
И ржание — все вместе,—  
И кони рвали повод  
И прыгали на месте.

А под конец ныряли все  
С моста через перила.  
О, сколько шляпок и зонтов  
Тогда по речке плыло!

Да что там долго говорить!  
Давно все миновало.  
Отныне в моде стал мотор,  
Коней совсем не стало.

И мост бетонный навели  
Взамен моста гнилого. \*  
Да, уваженья к старикам  
Не стало никакого.

И вот пришлось под старость лет,  
В мой сотый день рожденья,  
Брести куда глаза глядят,—  
Вздыхнуло привиденье.—

Найти бы место где-нибудь  
Да хоть каких харчишек...  
Я говорю не о себе —  
Пристроить бы детишек.

Кладбище б старое найти  
Иль церковку худую,—  
На большее в наш грустный век  
Уж я не претендую.

Коль на примете будет что,  
Черкните мне в письмишке.  
Мы не останемся в долгу —  
Ни я, ни ребятишки!

НЕУЖТО  
У ПОРТНОГО  
ТАКОЙ  
ТЯЖЕЛЫЙ  
ВЕС?

*Густав Фальке*

Сидит у моста великан  
И пошлину взимает.  
А у портного пуст карман.  
Портняжка отвечает:  
— Там пошлина, здесь пошлина —  
Сойдет и без!  
Неужто у портного  
Такой тяжелый вес!

— Мне наплевать на вес и рост, —  
Ответил сторож важный. —  
Здесь пошлину за вход на мост  
Платить обязан каждый. —  
Он мост спиной загородил,  
Сказав: — Ну что ж,  
Плыви себе по речке,  
Коль денег не найдешь!

Глядь, по реке плывет листок.  
— Ура! — кричит портняжка. —  
Мне легче переплыть поток,  
Ругаться с вами тяжко. —  
Там пошлина, здесь пошлина —  
Сойдет и без!  
Неужто у портного  
Такой тяжелый вес?

Прыжок!.. Я сроду не видал  
Таких прыжков, признаться:  
Кузнечик, если б пожелал,  
И то б не смог тягаться.  
Листок в воде качнулся лишь,  
Вильнув кормой:  
Едва-едва на край листа  
Вскочить успел портной.

Смельчак, конечно, очень рад,  
Гребет аршином ловко.  
Отважный маленький фрегат  
Вперед стремится робко.  
Там пошлина, здесь пошлина —  
Сойдет и без!  
Неужто у портного  
Такой тяжелый вес?

Свирепо с моста своего  
Вниз великан взирает  
И видит: пошлина его  
По волнам удирает!  
Скрипит зубами великан:  
— Велик урон!  
Какой портняжка дерзкий —  
Еще смеется он!

Булыжник великан берет,  
Портному вслед бросает:  
То недолет, то перелет!  
Портной плывет, вздыхает:  
— О боже мой! О боже мой!  
О боже мой!  
Когда б в меня попал он,  
Я был бы под водой!



Меж тем кораблик на песок  
 Шутя выносит речка.  
 — Прощайте! — слышен голосок  
 Лихого человечка.—  
 Там пошлина, здесь пошлина —  
 Сойдет и без!  
 Неужто у портного  
 Такой тяжелый вес?

## КЕЛЬНСКИЕ ДОМОВЫЕ

*Август Копиш*

— Конечно,— скажет житель Кельна,—  
 При домовых жилось привольно!  
 Нам делать было нечего —  
 Лежи с утра до вечера!  
 А станет темно —  
 В дверь и в окно  
 Спешат человечки,  
 Роются в печке,  
 Шуршат,  
 Мельтешат,  
 Чистят и драют —  
 Словно играют.  
 Еще хозяин крепко спит,  
 А в доме все уже блестит!

И плотники после пирушки  
 Завалятся вечером в стружки,  
 Лежат и усом не ведут,  
 А домовые тут как тут:  
 Хватают рубанок,  
 Топор и фуганок,

Пилят и мажут,  
 Рубят и вяжут,  
 Строгают,  
 Смекают,  
 Под крышу подводят  
 И тихо уходят.  
 Очнутся лодыри от снов —  
 А новый дом уже готов!  
 У булочника круглый год  
 Хлеб выпекался без забот.  
 Бывало, все в кровать ложатся —  
 Уж домовые шевелятся:  
 Тáщат муку,  
 Всяк по мешку,  
 Насыпят, отвесят,  
 Посолят, замесят,  
 Прихлопнут,  
 Притопнут,  
 В печь сволокут —  
 И вмиг испекут!  
 Пока все дрыхнут, как сычи,  
 Готовы хлеб и калачи!

И мясники отлично жили:  
 Они о деле не тужили.  
 Как ночь — помощники бегут,  
 На кухню тушу волокут.  
 Хозяин храпит,  
 А дело кипит:  
 Здесь топот и скрежет,  
 Здесь рубят и режут,  
 Здесь варят  
 И жарят,  
 Пёрчат, коптят,

Вздыхают, кряхтят...  
Протрет мясник с утра глаза —  
Глядь, на витрине колбаса!

Не хуже обстояло дело  
И у лентяя винодела.  
Бывало, в бочках ни глоточка,  
А он храпит себе, и точка!  
А в доме повсюду  
Чистят посуду,  
Гремят кадушками,  
Чанами, кружками,  
Нальют,  
Отопьют,  
Смешают, разбавят —  
И в погреб поставят.  
Еще в окно глядит луна,  
А бочки вновь полны вина!  
Портной мундир не кончил к сроку  
(Бедняге задали мороку!),  
Сердито бросил он сукно:  
Мол, будь что будет, все равно!  
Он спит, а на лавке —  
Во рту булавки —  
Сидят себе в ряд,  
Пóрят, кроят,  
И шьют,  
И поют!  
Обдернут, приладят,  
И, сбрызнув, отгладят.  
Портной наутро очень рад:  
Мундир готов принять парад!

Решила вдруг жена портного  
Увидеть ночью домового.

Рассыпав по полу горох,  
 Старуха ждет... Вдруг кто-то — грох! —  
 И вниз со ступенек  
 Летит через веник!  
 Следом второй  
 В бочку с водой!  
 О проклятье!  
 Разорвано платье!  
 Малютки толкаются,  
 Кричат, спотыкаются...  
 Старуха вниз бежит со свечкой —  
 Шу! шу! шу! шу! — и все за печкой!

С тех пор мы домовых не ждем,  
 Их не увидишь днем с огнем!  
 Все нужно делать самому,  
 Уж нет поблажки никому.  
 Любой сосед  
 Встает чуть свет.  
 Всяк без конца  
 В поте лица  
 Скребет,  
 Метет,  
 И рубит, и жарит,  
 И пилит, и варит...  
 Вовек бы не было такого,  
 Когда бы не жена портного!

**В СТАРОМ ДОМЕ**  
**ПОД ОСТРОЮ**  
**КРЫШЕЙ**

*Народное*

В старом доме под острою крышей  
 Пляшут весело серые мыши,  
 И лает улитка под крышей.

Там странные вещи случаются:  
В пляс дубовые лавки пускаются,  
А туфли дрожат под кроватью.

В старом доме под острою крышей  
Пляшут весело серые мыши,  
И лает улитка под крышей.  
В гнезде аистином сидят два быка,  
И никто их оттуда не сгонит, пока  
Из яиц аистята не вылупятся.

В старом доме под острою крышей  
Пляшут весело серые мыши,  
И лает улитка под крышей.  
Два аиста там в карауле стоят,  
И клювы у них, как кинжалы, блестят,  
А сами они офицеры.

В старом доме под острою, крышей  
Пляшут весело серые мыши,  
И лает улитка под крышей.  
Еще бы я мог рассказать вам немало  
О многом, что в домике этом бывало —  
Смешного сверх всякой меры.

## **МУДРЕЦЫ ИЗ БЮЗУМА**

*Август Копиш*

Все жители Бюзума и в окрестности  
Так были скромны, что добились

известности.

Жили они, не ведая горя,  
 У белого пляжа, у самого моря,  
 Кое-как сводили концы с концами  
 И слыли мудрейшими мудрецами.  
 Однажды с ними такое было:  
 Их ровно девять в море заплыло.  
 Все было спокойно. Вдруг ветер поднялся.  
 Тут, глядя на волны, один испугался;  
 Друзей сосчитал он и в страхе икнул:  
 — Мне кажется, кто-то из нас утонул!  
 Раз, два, три...— считал он, и так до

восьми.

Ведь бюzumцы скромными были людьми,  
 Не думали о себе никогда,  
 И в этом отчасти была их беда.  
 Второй стал считать и заплакал: — О боже! —  
 Девятого недосчитался он тоже,  
 Он тоже истинным бюzumцем был  
 И сам себя посчитать позабыл.  
 Все девять, смутившись, поплыли домой.  
 Глядь, мимо, по пляжу, проходит чужой:  
 — О друг! Помоги нам! Покорнейше  
 просим!

Нас девять купалось, а выплыло восемь!  
 Никак нам девятого не досчитаться,  
 И кто утонул, мы не можем дознаться! —  
 И каждый рвет волосы, стонет и плачет,  
 Никак не понять им, что все это значит.  
 — Друзья, ваша скромность зашла далеко,—  
 Сказал им чужой,— но помочь вам легко:  
 В песок окуните-ка каждый свой нос,  
 Сочтите все лунки — и кончен вопрос!

# КОСИЧКА

Адельберт  
фон Шамиссо

У человека грустный вид:  
Он не доволен, что висит  
Косичка на затылке.

Как сделать все наоборот,  
Как поместить ее вперед —  
Косичку на затылке?

«Что б мне такое предпринять?»  
Он повернулся, но опять  
Косичка на затылке!

«Шалишь, я своего добьюсь!  
А ну-ка вправо повернись...»  
Косичка на затылке!

«Теперь налево: раз, два, три!»  
Он повернулся, но смотри:  
Косичка на затылке!

Туда, сюда — как ни вертись,  
Висит все так же, сверху вниз,  
Косичка на затылке!

Не унывает, дурачок,  
Весь извертелся, как волчок,—  
Косичка на затылке!

Вперя в зеркало свой взор,  
Все вертится он до сих пор  
С косичкой на затылке!

## СКРИПОЧКА

Елена

Гилле-Брандтс

Жил-был на свете мужичок,  
Шутник, каких уж нету.  
Под мышкой скрипка и смычок —  
Он так бродил по свету.

Он так всю землю исходил,  
Ни много и ни мало,  
Туда-сюда смычком водил —  
И все вокруг плясало!

С Марихен танцевал портной,  
А с пекарем — Лизетта.  
С постели вскакивал больной  
И прыгал до рассвета.

С Барбосом в пляс пускался Гусь,  
Баран — в обнимку с Уткой.  
Вослед — сказать не побоюсь —  
И Роза с Незабудкой.

Повсюду город иль село  
В веселый пляс пускались.  
Колодцы в улицы несло,  
И реки разливались.

Дома входили в шумный круг,  
Плясали колокольни.  
И Замок с гор спускался вдруг...  
Так были все довольны!



Смеялся хитро мужичок,  
Его глаза сверкали.  
Но вдруг он опускал смычок —  
И звуки умолкали.

Вновь было тихо все кругом.  
Но как все незнакомо:  
Попробуйте найти свой дом,  
Коль дома нету дома!

Река свой берег не найдет,  
А берег речку ищет.  
И молния с огнем бредет —  
За громом в небе рыщет.

С забором разлучен лопух,  
Зеленый луг — с травой,  
Расстался с курицей петух,  
А шляпа — с головою!

Не может мышь нору найти,  
Кастрюля ищет крышку...  
А мужичок опять в пути,  
Взял скрипочку под мышку.

И нипочем бродяге сон,  
Такой уж он повеса!  
Я как-то слышал сам, как он  
Хихикнул из-за леса...

Да, жил когда-то мужичок,  
Теперь таких уж нету.  
Под мышкой скрипка и смычок —  
Он так бродил по свету.

## ТИМ ТОПЕЛЬМАНН

*Елена  
Гилле-Брандтс*

Тим Топельманн был дурачком.  
Весь век вертелся он волчком.  
А иногда он просто так  
Стоял, не зная что и как.

Он был носильщиком, таксистом,  
Потом нанялся трубочистом,  
А под конец, не унывая,  
Служил кондуктором трамвая.

Когда в трамвай входил бедняк,  
Тим бедняка возил за так.  
Тут лезли все к нему в трамвай,  
А Тим кричал: — Давай, давай!

Никто билетов брать не стал,  
И наконец трамвай устал  
И как-то вечером, в час «пик»  
Промолвил: «Нет!» — и встал в тупик.

К портному Тим на этот раз  
Пошел и дал ему заказ.  
И вскоре целый городок  
Одет был с головы до ног.

Когда портной за эти платья  
Вдруг предъявил счета к оплате,  
Сказали все: — Мы не хотим  
Платить за то, что дал нам Тим!

Тогда накинулись на Тима.  
Но Тим сказал невозмутимо:  
— Простите, я не виноват! —  
Он был и вправду глуповат.

Пришлось бедняге голодать.  
В чем дело, он не мог понять —  
Он отовсюду был гоним...  
«Видать, я жаден», — думал Тим.

И Тим остался без штанов:  
Он все раздал в конце концов.  
И голоден, и гол, и бос,  
Побрел наш Тим, повесив нос.

Бедняга на последний грош  
Задумал выиграть — и что ж? —  
Судьба беднягу выручала,  
И начиналось все сначала!

## СПЯЩЕЕ ЯБЛОКО

*Роберт Рейник*

Яблоко в колыбели высокой  
Над землею, качаясь, висит.  
Так румяны у яблока щеки —  
Сразу видно, что яблоко спит.

А под яблоней вертится девочка,  
И кричит, и глядит в вышину:  
— Слезь на землю, румяное яблоко!  
Хватит спать тебе, яблоко! Ну!

Только яблоко не откликается.  
Сладко дремлет оно в вышине.  
И качается, и качается,  
И как будто смеется во сне.

Солнце вышло из белого облака  
И пошло над землею гулять.  
— Разбуди мне уснувшее яблоко!  
Слышишь, солнце? Пора ему встать!

Солнце луч протянуло широкий,  
Будит яблоко теплым лучом  
И целует в румяные щеки —  
Только яблоку все нипочем!

Вдруг на дерево птица садится...  
— Птица, птица, не уходи!  
Спой-ка песню, веселая птица,  
Это яблоко мне разбуди!

Птица клюв широко раскрывает,  
Громко яблоку песню поет,  
Трель за трелью в листве разливает —  
Только яблоко не встает!

Кто так громко свистит между веток?  
Это ветер, я знаю его!  
Просто так он гуляет по свету,  
И не нужно ему ничего!

Поднимается он — руки в боки,—  
Понимающе смотрит вокруг,  
Надувает упругие щеки —  
Да как дунет на яблоко вдруг!

Крепко спелое яблоко спало —  
 Прямо в девочкин фартук упало!  
 Как румяно оно и красиво...  
 — Ах, большое вам, ветер, спасибо!

## ЛАДИСЛАУС И МЫШКА-МАУС

*Петер Хакс*

Жил-был ландскнехт когда-то:  
 Вояка Ладислаус.  
 И с ним жила, ребята,  
 Малютка Мышка-маус.

Войну любил вояка —  
 Свист сабель, храп коней,—  
 Но мышь свою, однако,  
 Ландскнехт любил сильнее.

Она всегда дремала  
 В пушистой бороде  
 И так сопровождала  
 Хозяина везде.

Но лишь ему случалось  
 В смертельный бой вступать,  
 Малютка мышь старалась  
 Куда-нибудь удрать.

Тогда, шепча молитвы,  
 Бедняга Ладислаус  
 Искал на поле битвы  
 Малютку Мышку-маус.

Она всегда бежала  
Назад, а не вперед.  
И Ладислаус, бывало,  
Бежит, не отстает.

Неделя за неделей —  
Воюют тридцать лет.  
Иные поседели,  
Иных давно уж нет.

Все те, кто обожали  
Добычу и разбой,  
Давным-давно лежали  
Костями в земле сырой.

Но путь прошел опасный  
И жив был Ладислаус  
Благодаря прекрасной  
Малютке Мышке-маус.

## СЛИВОПТИЦА

*Петер Хакс*

Во Флóйште курица жила.  
Но что б сказать могли вы,  
Узнав, что круглый год несла  
Не яйца нам, а сливы!

Да, сливы спелые несла  
В сарае сливоптица.  
Конечно, жители села  
На это стали злиться.

Сама хозяйка у плиты  
Ворчит в сердцах, бывало,  
Когда взамен яичницы  
Сливичницу сбивала.

Хозяин жаловался всем:  
Мол, мы неприхотливы,  
Но злость берет, когда я ем  
Зажаренные сливы!

Итак, короче говоря  
И как-то между прочим,  
Но сливоптицу (хоть и зря)  
Любили все не очень.

Мы все того не бережем,  
Что вне известных правил.  
Так сливоптицу как-то днем  
Хозяин обезглавил.

Во Флáйште дерево росло.  
Но как не растеряться,  
Когда вместо слив несло  
Оно на ветках яйца!

Все яйца были на подбор:  
Крупны, свежи — что надо.  
Они белели сквозь забор  
В тени большого сада.

И осенью, когда в садах  
Плоды с ветвей срывались,  
То яйца тоже — бах! бах! бах! —  
Висеть не оставались.

Они летели много лет  
На головы мальчишкам.  
Представьте-ка такой омлет...  
Нет, это было слишком!

Итак, короче говоря  
И как-то между прочим,  
Но яйцедерево (хоть зря)  
Любили все не очень.

Ведь не бывали никогда  
Деревья яйценокси.  
Чтоб быть подальше от стыда —  
Спилить его на доски!

Так пострадали оттого,  
Что не смогли прижиться,  
Во Флайште — яйцедерево,  
Во Флойште — сливоптица.

## ПАРОМЩИК ИЗ МАУТЕРНА

*Петер Хакс*

— Паромщик! — кричит у берега  
Странствующий народ,  
Чтоб плыть из Штэйна в Ма́утерн  
Или наоборот.

И сразу старик паромщик  
Спешит по реке на зов  
И каждого перевозит,  
Кто деньги платить готов.



Вновь кто-то кричит: — Паромщик! —  
 Однажды погожим днем.  
 Паромщик глядит и видит,  
 Что это огромный сом.

Усатый черный сомище  
 Стоит на тропе и ждет.  
 Он ждет, что его паромщик  
 Из Штейна в Маутерн свезет.

— О святой Христофóрус! —  
 Кричит паромщик сому. —  
 С жабрами и плавниками  
 Можно плыть самому!

Такого еще не бывало —  
 Да разрази меня гром! —  
 Чтобы какую-то рыбу  
 Перевозил паром!

Я этого безобразья  
 Не допущу никогда!  
 Пусть руки мои отсохнут,  
 Пусть выпадет борода!

А рыба в ответ выплевывает  
 Целую гору монет —  
 И новых, и очень старых,  
 Которым за сотню лет.

Рыба их собирала  
 Годами на дне реки:  
 И серебро, и золото,  
 И тусклые медяки.

Паромщик глядит на деньги.  
А сом глядит на паром.  
И вот они на пароме  
Плывут по реке вдвоем.

Паромщик гребет растерянно.  
Шумит за бортом река.  
Рыба, шурясь на солнце,  
Греет свои бока.

Сом радостно улыбается,  
Помахивая хвостом.  
Оба плывут и молча  
Причаливают потом.

Сом первый сходит на берег.  
Как видно, он очень рад.  
Но вдруг он прыгает в воду  
И снова плывет назад!

Паромщик глядит безумный  
На тихую гладь воды.  
Лицо его стало блее  
Седой его бороды.

Потом он молча уходит,  
И молча ложится в кровать,  
И молча смотрит на стену,  
И больше не может встать.

Держать паром в этом месте  
Охотников не нашлось.  
Тут мост нам пришлось построить,  
Что дорого обошлось.

## КОЛДУН В ЧЕРНИЛЬНИЦЕ

*Джеймс Крюс*

Жил-был в чернильнице колдун —  
Корí Корá Корíлл.  
Он очень ловко колдовал  
При помощи чернил.

Вот пишет кто-нибудь письмо —  
Не ди, не да, не дышит,—  
Как вдруг вмешается колдун  
И все не так напишет.

Один раз написал король:  
«На ми, на ма, на месте  
За оскорбление короля  
Виновника повесьте!»

И вот читает весь народ  
В буми, в бума, в бумаге:  
«За оскорбление короля  
Дать премию бродяге».

Тут захихикал тоненько  
Кори Кора Корилл  
И отхлебнул на радостях  
Немножечко чернил.

В другой раз написал один  
Пои, поа, поэт:  
«Ах, эти розы на столе  
Похожи на рассвет!»

Он тщательно выписывал  
По би, по ба, по букве.  
Когда он кончил, каждый стих  
Повествовал о брюкве.

Тут захихикал тоненько  
Кори Кора Корилл  
И отхлебнул на радостях  
Немножечко чернил.

За сына глупого отцу  
Оби, оба, обидно.  
Он пишет мальчику в письме:  
«Тебе должно быть стыдно!»

И вот, слюнявя языком  
Свой пи, свой па, свой пальчик,  
Читает сын в письме отца:  
«Ты умница, мой мальчик!»

Тут захихикал тоненько  
Кори Кора Корилл  
И отхлебнул на радостях  
Немножечко чернил.

## АДЕЛЕ

*Джеймс Крюс*

Издалека, издалека  
Плывут по небу облака.  
Адэле — так зовут одно.  
Вот надо мной плывет оно...

— Откуда, в самом деле,  
Явилось ты, Аделе?

— От ледяных торосов,  
Из края эскимосов,  
На запад, мимо дальних стран,  
Свой путь держу я в океан...

— И что же, в самом деле,  
Ты видишь там, Аделе?

— Я вижу остров среди вод.  
Там люди ходят взад-вперед.  
Они навстречу мне глядят,  
Они давно дождя хотят...

— И что же, в самом деле,  
Ты сделаешь, Аделе?

— Страдают там от жажды.  
Я там прольюсь однажды.  
Ты видишь, машут мне рукой?  
Они не пьют воды морской...

— Но что же, в самом деле,  
Там пьют они, Аделе?

— Там люди год от году  
Пьют дождевую воду.  
В земле не бьют там родники,  
Там нету ни одной реки...

— Зачем же, в самом деле,  
Так плачешь ты, Аделе?

— Не спрашивайте ни о чем!  
Хочу пролиться я дождем.  
Исчезну я среди грозы,  
Наполнив бочки и тазы...

— Неужто, в самом деле,  
Погибнешь ты, Аделе?

Но облако в ответ молчит,  
Оно рыдает и дождит,  
И люди островные  
Пьют капли дождевые...

О, ты достигло цели,  
Аделе, Аделе!

## КОРОЛЕВСТВО НИГДЕ

*Джеймс Крюс*

В стране Н и г д е давным-давно —  
Наверное, лет сто —  
Живет король — сам В с е р а в н о,  
С ним верный пес — Н и к т о.

Там королеву звать Н и ч у т ь,  
Ей тоже много лет.  
Спроси ее о чем-нибудь,  
В ответ услышишь «Нет!»

Живет гофмаршал Н и к а к о й  
Вблизи от Н и к о г о.  
Из гальки выстроен морской  
Высокий дом его.

Кухарку О л ь г у Н и к о г д а  
Здесь держит Н и к а к о й.  
На кухне пенная вода  
Вскипает день-деньской.

Кухарка варит сладкий звон,  
Поджаривает вздох.  
Попробуйте, как сладок он,—  
Клянусь, обед неплох!

Готов он вовремя всегда.  
И вот несут его  
В дворец шикарный Н и к у д а,  
На стол для Н и к о г о.

А если кот Н и ч е й сожрет  
Вдруг чей-то аппетит,  
То Н и к а к о й как заорет —  
И Н и к о м у влетит.

— Полста ударов дать ему  
За то, что воровал! —  
И Н и к а к о й идет в тюрьму,  
Н и к т о — в сырой подвал.

Но чаще вежлив и терпим  
Гуманный В с е р а в н о.  
В стране Н и г д е довольны им  
Давным-давным-давно.

И сам, бывало, допоздна  
У входа в Н и к у д а  
(Случалось в наши времена!)  
Бродил я иногда.

Молчало море. Н и к а к о й  
Стоял невдалеке.  
Он Н и к о г о одной рукой  
Держал на поводке.

# **СКАЗКА О ЖЕЛТОМ ТРАМВАЕ**

*Д ж е й м с К р ю с*

Уютный желтенький трамвай  
Маршрута номер пять  
Один раз вечером, пустой,  
Отправился гулять.

Никто его не задержал,  
Он ковылял вперед  
И всеми окнами смотрел  
На звездный небосвод.

Вдруг он увидел:  
Лунный луч  
С небес к земле слетел.  
Тот луч на рельсы был похож  
И чудно так блестел.

Качнулся в сторону трамвай,  
Он с колеи сошел  
И, выехав на лунный луч,  
Пошел, пошел, пошел...

Осталась позади земля,  
Он к звездам путь держал.  
Как будто к счастью ехал он —  
Звенел и дребезжал.



Постукивал, побрякивал,  
Но путь был так далек!  
Он встретил первую звезду  
Спустя немалый срок.

— Возьми меня! — кричит звезда.—  
Я легкая, трамвай! —  
И зазвенел трамвай в ответ.  
— Влезай, влезай, влезай!

За пассажиром пассажир  
Вошли в него потом.  
Вошла планета, например,  
Метеорит с хвостом...

И человечек на Луне,  
Включая светофор,  
Такой толкучки в небесах  
Не видел до сих пор.

В трамвай садились облака —  
Кто в дверь, а кто в окно.  
К приходу облака Мари  
Уж было все полно.

Но облако Мари, крича,  
Хотело влезть в вагон!  
Оно, толкаясь и теснясь,  
Пролезло  
С трех сторон...

К несчастью был у облака  
Такой тяжелый вес,  
Что сразу сдали тормоза —  
Вагон назад полез.

Уютный маленький трамвай  
Вдруг навзничь полетел.  
Катились кубарем сквозь ночь  
Небесных сотни тел.

Планета вывалилась в дверь,  
Теряя важный вид.  
Со звоном выскочил в окно  
Старик Метеорит.

А человечек на Луне  
Сказал: — Я так и знал! —  
Надел он шляпу, палку взял  
И дальше зашагал.

Все вниз и вниз летел трамвай  
Маршрута номер пять.  
И как он вновь достиг земли,  
Никто не смог узнать.

## **ПЕСНЯ УМНОЙ МЫШИ**

*Д ж е й м с К р ю с*

Зовусь я фройляйн Ильзе —  
Я ми, я ма, я мышь.  
И что бы ни случилось,  
Меня не обхитришь!

Один раз по кладовке  
Я шли, я шлу, я шла  
И вдруг с хрустящим хлебцем  
Тарелочку нашла.

Я грызла потихоньку  
Едви, едву, едва.  
От голода, поверьте,  
Кружилась голова.

Как вдруг в разгаре пира —  
О би, о ба, о бог! —  
Тарелочка разбилась...  
Ну кто б подумать мог!

Уже бежит хозяйка  
На зви, на зву, на звон.  
Взглянула на тарелку  
И мне с угрозой: «Вон!»

Я сразу отвечала  
Умни, умна, умно:  
— Расколотила кошка  
Ее давным-давно!

И знаете, где кошка,  
Тот зви, тот зва, тот зверь?  
В тюрьме американской  
Сидит она теперь!

С тех пор мой враг безвреден,  
Дали, даля, далек:  
Ведь океан огромный  
Промежду нас пролег!

Зовусь я фройляйн Ильзе —  
Я ми, я ма, я мышь.  
И что бы ни случилось,  
Меня не обхитришь!

## СНЕГОВИК НА МАСКАРАДЕ

*Д ж е й м с К р ю с*

Снеговика на Новый год  
Привлек цветной плакат.  
И вот он вечером идет  
На шумный маскарад.

Носатого Снеговика  
Узнали все тотчас.  
Ему кричат издалека:  
— Вот это высший класс!

— Вот это маска, посмотри! —  
Все мнения сошлись,  
И вот Снеговику жюри  
Вручает первый приз.

Аплодисментами смущен,  
Сказал он: — Господа!  
Простите, я таким рожден!  
Я был таким всегда!

Я настоящий Снеговик!  
— Не верим! — говорят.  
— А ну-ка, — говорят ему, —  
Снимите свой наряд!

Как вдруг — поверите ли вы? —  
Кап-кап! Кап-кап! Кап-кап! —  
Он начал таять с головы,  
Он вдруг совсем ослаб...

Хватают под руки его,  
Он тает на глазах.  
Уж он не слышит ничего,  
Уж силы нет в ногах.

— Я болен... Можно мне присесть? —  
Чуть слышно он сказал.  
— Там где-то холодильник есть!  
— Скорей его в тот зал!

— Туда его! Туда его!  
— На лед без лишних слов! —  
Он просидел там полчаса  
И вышел жив-здоров.

— Ура-а!  
— Спасибо, очень рад,—  
Благодарит он всех  
И, покидая маскарад,  
Шагает прямо в снег.

## МЕДВЕДЬ И БЕЛКА

*Джеймс Крюс*

Один Медведь рассеян был —  
Спешил куда-то срочно  
И Белке пятку отдал  
(Конечно, не нарочно).

И, не сказав ей «извини!»,  
Задумавшись, шагает

Он дальше — прямо через пни  
(Медведь преград не знает!).

Как вдруг он слышит за спиной:  
— Что это за порядки?  
Нельзя здесь, на тропе лесной,  
Всем наступать на пятки!

На мягком мху замедлив шаг,  
Медведь остановился  
И спрашивает Белку: — Ка-ак? —  
Он очень удивился.

Кричит она что было сил,  
Медведя не боится:  
— Ты мне на пятку наступил  
И должен извиниться!

— Как мог,— кричит она ему,—  
Давать ты лапам волю?  
Знай: над собою никому  
Шутить я не позволю!

Медведь растерянно молчал,  
Не в силах скрыть смущенья.  
Но наконец он прорычал:  
— Прошу у вас прощенья!

А Белка: — Ладно уж, ступай!  
Но впредь, бродя по чаще,  
На пятки всем не наступай  
И кланяйся почаще!

## ВЕЛИКАН И МЫШЬ

*Альвин  
Фройденберг*

Тсс! Тихо! Слушайте, ребята!  
Жил великан один когда-то.  
Во сне вздохнул он что есть сил  
И мышь — живую! — проглотил.

Бедняга побежал к врачу:  
— Я мышку съел! Я не шучу!  
Помилуйте, какие шутки,  
Она пищит в моем желудке...

Был врач умнейший человек,  
Он строго глянул из-под век:  
— Откройте рот! Скажите «а».  
Живую мышь? Зачем? Когда?  
Сейчас? Так что же вы сидите!  
Идите кошку проглотите!

## КОГДА БЫ СТАЛ Я КОРОЛЕМ

*Джеймс Крюс*

Есть дети, которые хотят все знать. Они всё время спрашивают: «А как это действует?» Или: «А с чем это связано?» Или: «Как это сделано?»

Такие дети любят копаться в часах, в радиоприемниках, в игрушечных автомобилях, в плюшевых медведях. Они все разбирают на части. Став взрослыми, они совершенствуют радио, строят мосты, создают новые модели самолетов.

Есть и другие дети, те, что без конца строят воздушные замки. Они говорят: «Я хочу быть директором цирка!» Или: «Я хочу прокатиться в школу верхом на льве!» Или: «Я хотел бы разочек побыть королем!»

Такие дети охотятся в огороде на львов, или обвешиваются простыней и изображают султана, или строят из стульев корабль и плывут на нем в Южную Америку. Став взрослыми, они говорят на семи языках, или играют на скрипке, или пишут книги.

Таков Клаус.

Клаусу восемь лет. Он меньше и слабее своих сверстников, зато силы воображения у него хватает на десятерых.

Клаус уже переплыл семь морей — не вылезая из ванной. Под палящим солнцем и в бурю. Клаусу все нипочем. В бабушкином садике он уже поймал десятерых слонов и четырех леопардов. Для него это пара пустяков!

Клаус живет в деревне. Но в деревне нет школы. Школа в городе. Поэтому Клаус каждое утро ездит в школу на поезде. Каждый раз он устраивается у окна и смотрит вперед — по ходу поезда. Чтобы лучше узнать мир.

Ибо тот, кто думает, что дорога от деревни Ликсен-п л и к с е н до города всегда одинакова, тот глубоко ошибается.



На этом перегоне можно испытать самые необычайные приключения. Клаус это вам подтвердит.

В понедельник, например, поезд мчался по сибирской тундре. За поездом увязались две волчьи стаи. Они были со страшной силой. Все знали, что уголь в тендере паровоза кончается. Если бы Клаус не растопил паровоз своими учебниками, все пассажиры стали бы добычей волков.

Не менее страшно было во вторник. Поезд прогромыхал по дикому Западу. На него напали разбойники. Они хотели оскальпировать всех пассажиров. Но Клаус окунул свой ранец в бензин, поджег его и метнул, как бомбу, в перепуганных разбойников. Пассажиры были спасены.

Сегодня — в среду — путешествие казалось спокойным. Но почему Клаус так задрал брови и опустил углы губ? Объясняется это просто: Клаус теперь не просто Клаус — он король! Его Величество Клаус Первый фон Ликсенпликсен. (Ликсенпликсен — его деревня.) Клаус только что установил для всех детей бесплатный проезд по железной дороге. Категорический приказ Его Величества.

В городе Клаус идет не по переулку, как обычно, а по Королевской улице. Клаус знает, что делает. Лишний крюк не имеет значения. К тому же на Королевской улице живет кондитер Клабунд. Он иногда угощает Клауса сдобными крошками.

Клаус погружен в королевские мысли. Поэтому он не поздоровался с фрау Бек — своей деревенской соседкой. Он ее просто не заметил! Королям некогда думать о таких пустяках. Фрау Бек, к сожалению, этого не знала. Она кричит на всю улицу: «Эй ты, паршивец, с каких пор ты меня не узнаешь?»

У Клауса чуть не слетела с головы корона. Так возмутило его слово «паршивец». Но короли великодушны, особенно сытые. А Клаус только что наелся у кондитера сдобных крошек. Целый кулек дал ему кондитер! Клаус прощает фрау Бек. Он даже говорит ей «Здравствуйте». А еще он решил посвятить кондитера в рыцари.

Жаль только, что, когда тебе восемь лет, нужно учиться. Даже если ты король. Для этого существует школа. А в школе учитель.

Учителя звать Хаберле. Он старенький. Он такой кругленький и уютный. На уроке он обычно спрашивает только тех, кто поднимает руку. Клаус может спокойно отдать своим королевским мыслям. Но время от времени учитель спрашивает и тех, кто руки не поднимает. Чтобы узнать, как они его слушают.

Его Величество король Клаус прямо поражает учителя своими ответами! «Скажи, Клаус,— спрашивает Хаберле у Его Величества,— сколько будет пятью пять?»

«Млекопитающее!» — отвечает Клаус.

Клаус просто не заметил, что урок естествознания давно прошел. Клаус думал, что господин учитель все еще рассказывает про китов. Вот не повезло!

К счастью, господин Хаберле никогда не бьет своих учеников. Он не кричит и не ругается. Но, к несчастью для Клауса, господин Хаберле требует знаний. То, чего ты не выучил на уроке, ты должен выучить дома. Некоторые называют это «наказанием». Господин Хаберле называет это «небольшим умственным упражнением». Каждую неделю Клаус выполняет минимум два таких упражнения. Клаусу это надоело! Ведь он король. В первых, дети не должны так много заниматься. Надо сократить число уроков! Это категорический приказ Его Величества короля Клауса Первого.

О, если бы господин Хаберле знал, что маленький Клаус, который сидит на первой парте,— король! Но господин Хаберле ничего не подозревает. Господин Хаберле начинает урок географии.

За окном моросит жиденький дождик, а здесь, в сухом классе, стоит господин Хаберле и рассказывает о Голландии. О коровах и ветряных мельницах. О подъемных мостах, о плотинах, о деревянных башмаках. О каналах, которые тянутся вдоль улиц, и, конечно, о королеве Юлиане. Все внимательно слушают.

Один только Клаус ушел в своих мыслях далеко-далеко. Клаус прислушивается к шуму дождя. Дождь барабанит снаружи по железному подоконнику, словно отбивает ритм стихотворения:

Тарám! Тарám! Тарám! Тарám!

Одним ухом Клаус слышит, как учитель рассказывает о королеве. Другим ухом он прислушивается к ритму дождя:

Тарам! Тарам! Тарам! Тарам!

Когда бы стал я королем!

Тарам! Тарам! Тарам! Тарам!

Пусть учитель рассказывает о чем угодно. Клаус не слышит ни слова. Клаус стал королем. Он живет во дворце. Он въезжает в город верхом на белом коне, сопровождаемый пышной свитой.

Тарам! Тарам! Тарам! Тарам!

Когда бы стал я королем!

Тарам! Тарам! Тарам! Тарам!

Когда бы стал я королем,  
Я жил бы во дворце.  
Я в город въехал бы верхом  
На белом жеребце.

Вот конь задерживает бег.  
Трубят победно трубы.  
— О боже! — ахает фрау Бек.—  
Король! — и морщит губы.

Она боится, что велю  
Я взять ее под стражу.

Сказать «паршивец» королю —  
Подумать страшно даже!

Фрау Бек раскаялась во всем.  
Я не хочу скандала:  
О том, что стал я королем,  
Несчастливая не знала.

Я руку на прощанье ей  
Даю из сострадания  
И снова в путь — скорей, скорей!  
Я еду. До свиданья!

Пришпорив резвого коня,  
Скачу вдоль переулка.  
Клабунд — кондитер — ждет меня,  
Румяный, словно булка.

Когда меня никто не знал,  
Когда я был моложе,  
Меня он сдобой угощал  
(И пряниками тоже).

Вот я и навещу его  
На этом основанье —  
Сегодня посвящу его  
Я в рыцарское званье.

Мой гофмаршал на грудь ему  
Повесит орден Булки.  
Потом, по знаку моему,  
Салют раздастся гулкий.

Теперь он поставщик двора,  
Его я аттестую!

Ликуя, все кричат «Ура!»,  
А я его целую.

Мой конь нетерпеливо ржет.  
И снова, к сожаленью,  
Прощаюсь я и мчусь вперед —  
Навстречу населенью.

Мне некогда передохнуть,  
Дел впереди немало.  
На этот раз лежит мой путь  
К начальнику вокзала.

Ко мне навстречу, чуть живой,  
Спешит он по перрону.  
Качая красной головой,  
Косится на корону.

Я говорю: — Из этих мест  
Дошел к нам слух глупейший:  
Что дети платят за проезд!  
Не так ли, мой милейший?

Он сразу белым стал как мел.  
Лепечет он: — Так точно!  
— Позор! — кричу я. — Как ты смел?  
Отставить это! Срочно!

Отныне школьникам проезд  
Бесплатный! Хоть куда —  
В Берлин, и в Гамбург, и в Триест —  
В любые города!

— Так точно! — говорит он мне.  
— Посмотрим! — отвечаю.

Вдруг я случайно в стороне  
Детишек замечаю.

Там Петер — он же мне знаком!  
И Лизхен мне знакома!  
Когда-то под одним столом  
Играл я с ними дома.

— Хотите,— говорю я им,—  
Поехать в Рим бесплатно?  
Немедленно вручите им  
Билет туда-обратно!

А Лизхен шепчет: — Мой король!  
(И делает мне книксен)  
Ты нам, пожалуйста, позволь  
Поехать в Ликсенпликсен!

— Два спальных в Ликсенпликсен! Эй!  
Вот этим пассажирам! —  
Кричу я громко: — Поживей!  
Вы что, заплыли жиром?

Кассир билеты на перрон  
Несет в мгновение ока,  
Счастливыцы прыгают в вагон  
И машут мне из окон.

Толпа растроганно ревет  
На площади вокзала.  
А я опять скачу вперед —  
Дел впереди немало!

Спешу я в школу, в первый класс,  
К мальчишкам и девчонкам.

Хотя я и король сейчас,  
Я тоже был ребенком!

Но вот и школа. Со двора  
Уже отлично слышно,  
Как детвора кричит: «Ура!» —  
Меня встречают пышно.

Проходят дети в классе «Б»  
Таблицу умноженья.  
Я подбегаю к Хаберле,  
Дрожа от возмущенья.

Я говорю: — Как не везет  
Несчастливым ребятишкам!  
Они опять проходят счет!  
Нет, это уже слишком!

Таблицу надо сократить!`  
Ученики вспотели!  
Вы их хотели простудить?  
Вы этого хотели?

— Но...— заикнулся Хаберле  
(Он что-то возразил).  
— Простите, милый Хаберле,  
Но вас я не спросил!

Оставьте ваши «траляля»!  
Шутить я не позволю!  
Иначе — слово короля —  
Я тотчас вас уволю!

И сократите алфавит —  
Он тоже длинноват! —  
У Хаберле несчастный вид,  
Он шепчет: — Виноват...

— Ура! — грохочет детвора  
И пальцами стучит.  
— Да здравствует король! Ура-а! —  
Мне Хаберле кричит.

Я на учителя смотрю  
(Душой ушел он в пятки).  
— Уж я надеюсь, — говорю, —  
Что будет все в порядке.

Рукой машу я под конец  
И вниз спускаюсь быстро:  
Спешу я очень во дворец,  
Там ждут меня министры.

Я во дворце к исходу дня  
Назначил совещанье.  
Там хором хвалят все меня,  
А я храню молчанье.

Доволен я. Вот на столе  
Накрыт богатый ужин.  
Что ж, пусть придет и Хаберле!  
Я добр. И он мне нужен.

Он у меня почетный гость.  
Пусть сядет рядом, справа.  
Но он — как будто в горле кость —  
Молчит. Смешной он, право!



Сидит он молча, как немой.  
К еде не прикоснулся.  
Ведь он же гость почетный мой,  
Хотя бы улыбнулся!

Я говорю: — Что с вами, друг?  
Ну! Отвечайте смело! —  
И отвечает он мне вдруг:  
— Неладно наше дело!

Вы поспешили кое в чем,  
Уж вы меня простите!  
Нет! Я волнуюсь не о том,  
Что награжден кондитер!

Но алфавит нельзя узнать:  
В нем буква «к» изъята!  
Как без нее теперь писать  
«Король», «комод», «котят»?

Позвольте высказать, король,  
Свои соображенья...  
Вы аннулировали ноль  
В таблице умноженья!

Как вы прикажете писать  
Отныне цифру «десять»?  
Как нам зарплату подсчитать?  
Как килограмм отвесить?

Конечно, дети по стране  
Катаются бесплатно!  
Но, мой король, скажите мне:  
Как им попасть обратно?

На остановках там и сям  
Сокращены названия!  
Потерян счет ночам и дням!  
Сломались расписанья!

Но тут я шепот услышал  
В притихшем тронном зале.  
— Подумайте, какой нахал! —  
Министры зашептали.

Я снял корону с головы  
И говорю: — Конечно,  
Открыто высказались вы,  
И рады мы сердечно!

Мы очень ценим вашу роль.  
И все-таки мы просим  
Не забывать, что мы — король!  
Что нам уже за восемь!

Тут Хаберле мне говорит:  
— Клаус, встань и скажи — как называется столица Голландии?

Покончено с королевством! Исчез дворец, исчезли министры, слуги, трубачи и белый жеребец. Сон оборвался. Сны на уроках никогда не приводят к хорошему концу. Господин Хаберле хочет знать, как называется столица Голландии, и дождь за окном перестал.

Перед Клаусом уже не шикарный стол, а простая парта, и учитель не дрожит перед Клаусом. Более того: он задает Клаусу на дом небольшое умственное упражнение: «Что я знаю о Голландии».

Самочувствие у Клауса после уроков отнюдь не королевское. И идет он к вокзалу не по Королевской улице, а по переулку.

Опять ему встречается фрау Бек. Клаус снимает шапку и вежливо кланяется: «Добрый день!»

Перед начальником вокзала Клаус тоже снимает шапку. Как все восьмилетние мальчики.

И в поезде он едет не бесплатно — он предъявляет контролеру свой месячный билет.

Как всегда, Клаус садится к окну вагона и смотрит вперед — по ходу поезда.

Поезд трогается, и опять начинает накрапывать дождь. Капли барабнят по стеклу, и ритм дождя сливается с ритмом поезда:

Тарам! Тарам! Тарам! Тарам!

Клаус прислушивается к шуму дождя, к шуму колес и забывает учителя, школу, забывает о заданном упражнении. За окном мелькают дома, деревья, телеграфные столбы, и Клаус погружается в сон:

Тарам! Тарам! Тарам! Тарам!

Когда бы стал я королем!

Тарам! Тарам! Тарам! Тарам!

А когда Его Величество Клаус Первый сидит во дворце в окружении пышной свиты, министров и слуг, господину Хаберле может не поздоровиться!

И это так же верно, как верно то, что пятью пять равняется... чему? Млекопитающему!

## Содержание

---

3

### ПРИВЕТ ОТ ВЕРНЕРА

*Роман*

5

### ПРОЛОГ В НЕСКОЛЬКИХ СЛОВАХ

6

### В ТУМАНЕ

7

### НАШ ДОМ

8

### ПАМЯТНИК ВОРОВСКОМУ

10

### ЯБЛОКИ НА ГОЛОВЕ

13

### ПРОИСШЕСТВИЕ НА КУХНЕ

20

### ЛЯПКИНА

26

### УСЫ

31

### ЗУСМАН И ЖАРИКОВА

36

### ВОВКА

38

КОВЕР  
НА СНЕГУ

42

ПЕРВОЕ ПИСЬМО  
ВОРОВСКОМУ

44

МАМИНА  
ПЕСНЯ

45

ИОСИФ,  
АХ, ИОСИФ!

48

ВТОРОЕ ПИСЬМО  
ВОРОВСКОМУ

49

КРАСНАЯ  
ДЕВИЦА

54

ТРЕТЬЕ ПИСЬМО  
ВОРОВСКОМУ

56

РАЗГОВОР  
О СЕРЕДИНЕ

65

ЧЕТВЕРТОЕ ПИСЬМО  
ВОРОВСКОМУ

65

РЫБИЙ  
ЖИР

70

ПЯТОЕ ПИСЬМО  
ВОРОВСКОМУ

71

ЧЕЙ ПАПА  
БОЛЬШЕ?

74

ПРО ДУЭЛЬ,  
А ЕЩЕ  
ПРО ТОЛСТЫХ  
И ТОНКИХ

78

ШЕСТОЕ ПИСЬМО  
ВОРОВСКОМУ

79

ГЕНИАЛЬНАЯ  
ГЛАВА

82

СРЕЗАННЫЕ  
РОЗЫ

89

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

93

ВЕЧЕРНИЙ  
ВЫСТРЕЛ

99

СЕДЬМОЕ ПИСЬМО  
ВОРОВСКОМУ

100

ПОБЕГ

107

ДЫХАНИЕ ВЕКОВ

119

ДОЖДЬ

123

ТО, ЧЕГО Я НЕ МОГУ  
ОБЪЯСНИТЬ

126

КАМЕННЫЙ  
ГОСТЬ  
ЧАСТЬ I

127

КАМЕННЫЙ  
ГОСТЬ  
ЧАСТЬ II

130

КАМЕННЫЙ  
ГОСТЬ  
ЧАСТЬ III

135

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
К ЖИЗНИ

142

ФАТИМА  
И АХМЕТ

150

ЗАГОВОРЩИКИ

153

ПЕРВАЯ  
ПРИМЕРКА

157

ЗНАКОМЫЕ  
КАМНИ

160

ПУТЕШЕСТВИЕ  
ЗА СТО РУЧЬЕВ  
И ОДНУ РЕКУ

170

ГОРИЗОНТ  
В ЧИСТОМ ПОЛЕ

172

КАК  
ШЕПЧУТСЯ  
РАКИ

180

СОЛНЕЧНАЯ  
КАРУСЕЛЬ

182

ПЕСНЯ  
ГИЗИ

184

ЖИВОЙ  
ИНТЕРНАЦИОНАЛ

195

ВОСЬМОЕ,  
И ПОСЛЕДНЕЕ, ПИСЬМО  
ВОРОВСКОМУ

199

НЕПРИКОСНОВЕННЫЕ  
БОЛЬШЕВИКИ

202

КОГДА  
ЭТО НАЧНЕТСЯ?

**205**

СОБАЧИЙ  
ПРОМЕНАД

**209**

ПЕЙЗАЖ  
ЗА ОКНОМ

**213**

«333-05»

**219**

РАСПЛАТА

**222**

ВЕРНЕР

**226**

ПРИВЕТ ОТ  
ВЕРНЕРА

**233**

СМОТРИТЕ,  
ЛЮДИ!

**239**

НА БЕГАХ

**254**

Я НЕ БОЮСЬ  
ДЕДА-МОРОЗА

**261**

МОЯ  
ПЕРВАЯ ЕЛКА

**269**

ЧЕРНЫЙ  
ЦЫПЛЕНОК

**271**

ПЕРВОЕ МАЯ

**275**

ОТЦОВСКАЯ  
ПЕСНЯ

**278**

СОН

**281**

ЭПИЛОГ,  
ИЛИ ВЗГЛЯД  
В СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ



СТИХИ

289

КАК СОРОКОНОЖКА  
ХОДИТЬ  
РАЗУЧИЛАСЬ

*Стихи*

289

МОЕМУ  
ЧИТАТЕЛЮ

291

КАК СОРОКОНОЖКА  
ХОДИТЬ РАЗУЧИЛАСЬ

294

КУКЛЫ

296

ЛАПКИ

297

ВОЛШЕБНОЕ  
ПИСЬМО

299

ТРИСТА  
ТРИДЦАТЬ  
ТРИ ЖИЛЬЦА

302

НЕ БЫЛО  
ПЕЧАЛИ

303

НУ, СПАСИБО,  
САМОВАР!

305

ЧУДАК  
РЫБАК

306

ДВЕ  
КАДКИ

308

КАК Я ИСКАЛ  
СВОЙ ДЕНЬ

**311**

ЧТО СО МНОЙ  
БЫЛО

**312**

ЛОШАДИНАЯ  
СИЛА

**314**

ГЛУПЫЙ  
ПАСТУХ

**315**

ТАИНСТВЕННЫЙ  
ДОМ

**319**

Я И КРОЛИКИ

**323**

ДЕДОВСКИЙ  
ПОДАРОК

**325**

СТИХИ  
О МАРТЕ МЕСЯЦЕ

**326**

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

**328**

**ДВОЙНИКИ**

*Стихи*

**328**

ГДЕ ЛУЧШЕ?

**330**

ДЕД И ВНУК

**331**

ПОМОРЬЕ

**332**

ЛЕСОВИК

**334**

КАК  
ДОЖИВУ  
ЛЕТ ДО СТА

**336**

ПОЧТАЛЬОН

**338**

ДВОЙНИКИ

**339**

ТИШИНА

**340**

КТО  
ОЧЕНЬ БОЛЕН

**341**

ЧЕРНО-БЕЛАЯ  
КОШКА

**342**

СОЛНЕЧНЫЕ  
ЗАЙКИ

**344**

ЛЕДОХОД

**345**

О ЧЕМ  
ДОЖДЬ ГОВОРIT

**346**

ЗАБЫТЫЙ  
ДЕД-МОРОЗ

**346**

СЕТЬ

**347**

ТЕНЬ

**349**

КАРТОФЕЛЬНОЕ  
ПОЛЕ

**349**

МАЯК

**350**

БЕЛАЯ НОЧЬ

**351**

РЕКА  
И ПАРОХОД

**352**

ПОБЕРЕЖЬЕ

**353**

СТОГА

**353**

ПАРОВОЗ

**354**

УЛЫБКА

**355**

ПОСЛЕДНЕЕ  
ЯБЛОКО

**356**

**ЧЕТЫРЕ СЕСТРЫ**

*Стихи*

**356**

ВЕСНА

**357**

ЛЕТО

**358**

ОСЕНЬ

**359**

ЗИМА

**361**

**О ЧЕМ БЕСЕДУЮТ  
ВЕТРЫ**

*Стихи*

**365**

**С ГОЛОВЫ ДО НОГ**

*Стихи*

**371**

**НАУЧИ, СТРАНИЦА,  
ХОРОШО УЧИТЬСЯ**

*Стихи*

*для первоклассников*

**371**

ТВОЕ  
ХОЗЯЙСТВО

**371**

БУКВАРЬ

**372**

ПЕНАЛ

**372**

ЦВЕТНОЙ  
КАРАНДАШ

**373**

ПЕРО  
И РУЧКА

**373**

ТЕТРАДЬ  
И ДОСКА

**374**

КАК СИДЕТЬ  
ЗА ПАРТОЙ

**374**

О ЯЗЫКЕ

**374**

ЗНАКИ  
ПРЕПИНАНИЯ

**375**

ХВОСТЫ

**376**

**КОЛЕСО**

*Стихи*

**388**

**СЕВЕРНЫЙ  
КОЛОБОК**

*Стихи*

**390**

**СТАРЫЙ  
ДОМ**

*Стихи*

**419**

**ПОЭМА  
О КОСТРЕ**

*Стихи*

ПЕРЕВОДЫ

447

КОЛДУН  
В ЧЕРНИЛЬНИЦЕ

*Переводы  
с немецкого*

447

РЕГЕНСБУРГСКИЕ  
ПОРТНЫЕ

*Народное*

449

ГЛУПАЯ ЛИЗА

*Народное*

450

В САДУ  
НА ГРУШЕ

*Народное*

451

ПРИВИДЕНИЕ  
НА МОСТУ

*Карл Шпиттелер*

454

НЕУЖТО У ПОРТНОГО  
ТАКОЙ ТЯЖЕЛЫЙ ВЕС?

*Густав Фальке*

456

КЁЛЬНСКИЕ  
ДОМОВЫЕ

*Август Копиш*

459

В СТАРОМ ДОМЕ  
ПОД ОСТРОЮ КРЫШЕЙ

*Народное*

460

МУДРЕЦЫ  
ИЗ БЮЗУМА

*Август Копиш*

462

КОСИЧКА

*Адельберт  
фон Шамиссо*

463

СКРИПОЧКА

*Елена**Гилле-Брандтс*

465

ТИМ

ТОПЕЛЬМАНН

*Елена**Гилле-Брандтс*

466

СПЯЩЕЕ

ЯБЛОКО

*Роберт Рейник*

468

ЛАДИСЛАУС

И МЫШКА-МАУС

*Петер Хакс*

469

СЛИВОПТИЦА

*Петер Хакс*

471

ПАРОМЩИК

ИЗ МАУТЕРНА

*Петер Хакс*

474

КОЛДУН

В ЧЕРНИЛЬНИЦЕ

*Джеймс Крюс*

475

АДЕЛЕ

*Джеймс Крюс*

477

КОРОЛЕВСТВО

НИГДЕ

*Джеймс Крюс*

479

СКАЗКА

О ЖЕЛТОМ ТРАМВАЕ

*Джеймс Крюс*

481

ПЕСНЯ

УМНОЙ МЫШИ

*Джеймс Крюс*

483

СНЕГОВИК  
НА МАСКАРАДЕ  
*Джеймс Крюс*

484

МЕДВЕДЬ И БЕЛКА  
*Джеймс Крюс*

486

ВЕЛИКАН И МЫШЬ  
*Альвин  
Фройденберг*

487

КОГДА БЫ СТАЛ Я  
КОРОЛЕМ  
*Джеймс Крюс*



ДЛЯ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО  
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

*Юрий Иосифович Коринец*

# ТОМ 2

ИБ № 5825

Ответственный редактор  
*Р. Н. Ефремова*  
Художественный редактор  
*А. Б. Сапрыгина*  
Технические редакторы  
*Г. Г. Седова и М. В. Гасарина*  
Корректоры  
*Л. И. Дмитриук и Е. А. Суксяян*

Сдано в набор 04.01.82. Подписано к печати 09.06.82.

Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Бум. типогр. № 1. Шрифт литературный. Печать высокая.

Усл. печ. л. 29,76. Усл. кр.-отт. 30,23. Уч.-изд. л. 23,65.

Тираж 100 000 экз. Заказ 192. Цена 1 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени

издательство «Детская литература»

Государственного комитета РСФСР по делам издательства,

полиграфии и книжной торговли.

Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени

фабрика «Детская книга» № 1

Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР

по делам издательства, полиграфии и книжной торговли.

Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотоплимерных форм

**Коринец Ю. И.**

**К66** Избранное в 2-х томах. Т. 1—2.— М.: Дет. лит., 1982.— Т. 2. Привет от Вернера: Роман; Стихи; Переводы/Рис. Б. Чупрыгина.—511 с., ил.

В пер.: 1 р. 20 к.

«Привет от Вернера» — автобиографический роман о детстве, об интернациональном братстве, о жизни нашей страны в 20—30-е годы. Во 2-й том также вошли стихи для детей и стихотворные переводы с немецкого.

К 4803010102—363 542—82  
M101(03)82

**P2**

